



ЖОРЖ СИМЕОН
ПАСКАНИ
«ПОЛЯРИОН ЛИМИ»

Издательство
Детская литература

МУ





**БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**



ЛЕНИНГРАД • 1985

ЖОРЖ СИМЕНОН



**ПАССАЖИР
«ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ»**

РОМАНЫ И ПОВЕСТЬ



Перевод с французского

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Предисловие Э. Шрайбер

Составители
Е. Кушкин и Э. Шрайбер

Рисунки К. Швец

Печатается по изданиям:

Je me souviens. Paris, Presses de la Cité, 1945.
Le Passager du «Polarlys». Paris, Fayard, 1932.
Le Port des brumes. Paris, Fayard, 1932.

СИМЕНОН ВСПОМИНАЕТ И РАССКАЗЫВАЕТ

Летом 1939 года писатель Жорж Сименон, к тому времени широко известный во многих странах, поселился с женой и родившимся в апреле первенцем Марком в небольшом селении неподалеку от французского города Ла-Рошель. Здесь его застала вторая мировая война. Бельгиец по национальности, Сименон не захотел вернуться на родину, оказавшуюся под пятой фашистов. По возрасту писатель не подлежал призыву в армию, всю войну он провел во Франции. В эти тяжелые годы подтвердилась гражданская честность Сименона, его преданность простым людям.

После вторжения в Бельгию гитлеровских армий сотни беженцев искали пристанища во Франции. И многие оказались в крайне бедственном положении. Сименон организует для них специальные (нередко фиктивные) мастерские, чтобы создать у оккупационных властей впечатление, будто беженцы обеспечены полезной работой, и тем самым предотвратить их угон в Германию. Многих он спас от нацистских преследований, судебного произвола и тюрем. В подвале его дома скрывались английские парашютисты. Сам он хозяйничал на небольшой ферме. Приходилось в эти голодные годы обеспечивать семью. В ту мрачную пору творчество было для Сименона формой протеста против чудовищной войны, развязанной фашизмом и его человеконенавистнической идеологией. В годы, когда фашистские мракобесы на практике осуществляют свои бредовые теории, глумясь над слабыми и беззащитными, преследуя «расово неполноценных людей», Сименон настойчиво защищает «человеческое в человеке». В романе «Дождь

идет, пастушка»¹, написанном в самом начале войны, он на примере своего героя, семилетнего Жерома, доказывает, что доброта, сочувствие к обиженным и слабым, жажда справедливости свойственны людям уже в раннем возрасте. Роман «Дождь идет, пастушка» в какой-то мере предваряет автобиографическую повесть Сименона «Я вспоминаю». По замыслу писателя эта рукопись должна была стать своеобразным завещанием сыну в том случае, если не удастся его вырастить. Порабощена большая часть Западной Европы. Миру грозит иго варварства. В случае его победы страшное будущее уготовано и маленькому Марку. Гнетущие мысли преследуют Сименона, и в эти трагические дни он настойчиво напоминает сыну, что тот плоть от плоти простых людей, что он связан с ними нерасторжимыми узами и об этом, в каких бы условиях он ни оказался впоследствии, никогда не должен забывать. Появлению повести способствовал также драматический эпизод в личной жизни Сименона. Зимой 1940 года он нечаянно нанес себе топором удар в левую часть грудной клетки. Острая боль не прекращалась несколько дней, и Сименон обратился к врачу. Тот объявил, что у него изношено сердце и он проживет года два не более, если не прекратит работу и не будет соблюдать строгий режим².

«Я смотрел на сынишку, — вспоминал Сименон, — и думал: «Не повезло тебе, дружок, ты не будешь знать своего отца». И тогда мне пришла в голову мысль, а почему бы сейчас не написать историю моего детства и попутно историю, пусть еще короткую, самого Марка». Сименон работал над повестью с 9 декабря 1940 по 12 июня 1941 года, а напечатана она была впервые в 1945 году.

«Я вспоминаю» — неполная и хронологически не всегда последовательная автобиография. Рассказ начинается со дня рождения Сименона, 13 февраля 1903 года, в городе Льеже и завершается рождественскими праздниками накануне 1910 года. Он объединяет разрозненные воспоминания, которые должны дать Марку представление о быте и нравах семьи, из которой он произошел, о его бабушках, дедушках и многочисленных родственниках. Сименон стремится воспроизвести атмосферу окружающего его в ту

¹ См. русский перевод в сб.: Жорж Сименон. Мегрэ сердится. — М., Дет. лит., 1975.

² Через два года выяснилось, что была допущена медицинская ошибка: затемнение на пленке врач принял за тяжелый порок сердца.

пору мира, который казался маленькому Жоржу неисчерпаемой сокровищницей чудес, часто не замечаемых взрослыми. Уже в раннем возрасте Сименон обладает незаурядной памятью, фиксирующей не только цвета, но запахи и звуки. Благодаря ей он воссоздает необычайно яркую, конкретную и точную обстановку, с которой связаны те или иные эпизоды первых лет его жизни. «Я до сих пор, — говорит писатель, — отчетливо представляю себе мельчайшие подробности тех мест, где я жил ребенком: розовые фасады домов, серебристые клубы пыли над мостовой и солнечные лучи, четко разделяющие улицу на светлую и темную стороны. Чередование белых и черных пятен отождествлялось в моем сознании со сменой радостных и печальных дней, хорошего и дурного. Все это пробуждает во мне множество воспоминаний, как будто навсегда забытые образы и события». Сименон уверен, что именно в детстве закладываются основы того характера, который проявится в человеке зрелого возраста, и потому во многих романах описывает юные годы своих героев, опирается на запас наблюдений, сохранившихся в его памяти. Он подробно делится с сыном разнообразными впечатлениями и грустными переживаниями, относящимися к той далекой поре. Он особенно подчеркивает, что многие из них были порождены страхом, вызванным ожиданием войны, начавшейся в 1914 году.

Детские годы Сименона отравлены размолвками, возникающими часто в семье. Они вызваны были несхожестью характеров родителей и материальными трудностями. Мать любой ценой стремится вырваться из бедности, попрекает за нее отца и требует, чтобы муж застраховал свою жизнь и обеспечил семью. Но покладистый во всем Дезире Сименон отказывается, и лишь когда он умрет в возрасте 45 лет, станет известно, что он болел грудной жабой и потому страховой врач отказался выдать ему свидетельство о здоровье. Дезире, зная, что его дни сочтены, скрывал все от семьи и как всегда был с виду весел и беззаботен. Слишком поздно раскрытая тайна отца потрясла Жоржа. Он навсегда запомнит, что внешний облик и поведение людей часто не отражают их душевного состояния. Со временем он передаст это понимание своему литературному герою — комиссару Мегрэ, — и тот включит его в свод основных правил, которыми будет руководствоваться при расследовании самых запутанных

преступлений. Сименон, очень привязанный к отцу, впоследствии указывал, что когда он создавал Мегрэ, то бессознательно придал ему некоторые черты Дезире.

Яркие впечатления связаны у маленького Жоржа с воскресными днями, посещениями совершенно чуждых семейных кланов — Сименонов, со стороны отца, и Брюлей, со стороны матери. «Среди них, — рассказывает Сименон, — имелись все представители рода человеческого. Мне оставалось только следить за поведением столь разнообразных типов. Когда я начал писать, то нашел среди них немало персонажей для своих романов».

Сименоны простые, трудолюбивые люди. «Здесь, — говорит писатель, — мне внушили: кто не работает, тот не ест. И поныне я придерживаюсь этого закона». У Сименонов чтут родственные узы, недоверчиво относятся к чужим, особенно к тем, кто, стремясь к новшествам, меняет ремесло и место жительства. Остро воспринимает впечатлительный мальчик атмосферу, насыщенную скрытым недоброжелательством, лицемерием, алчностью и эгоизмом, в которую он попадает, навещая родственников матери. Члены тоже большой, но давно распавшейся семьи лесоторговцев, коммерсантов, лавочников не питают друг к другу ни любви, ни уважения. Все подчинено интересам наживы, любые надругательства над личностью в этой семье совершаются во имя буржуазных добродетелей. Много лет спустя, вспоминая о детстве и отрочестве, Сименон запишет, что «истоки одной из центральных тем его творчества — обличение разных форм буржуазной морали, сковывающей человека и калечащей его жизнь, — следует искать в тех временах».

Маленький Жорж не сразу понял, что Сименонов и Брюлей разделяет не только образ жизни, но и язык, традиции и обычаи, связанные с тем, что они принадлежат к двум народам, издавна населявшим территорию современной Бельгии — валлонам и фламандцам. Валлоны, из которых происходит семья Сименона, говорят на валлонском диалекте французского языка, а Брюли — фламандцы, и их родной язык — фламандский — диалект нидерландского языка. В силу своеобразия своего исторического развития Бельгия стала суверенным государством лишь после революции 1830 года и в ней приняты два государственных языка — французский и нидерландский.

После тягостных визитов к богатой родне мальчик

постепенно осознает, что непонимание и отчужденность, разделяющие его близких, также прямое следствие кастовой разобщенности людей. Сама жизнь Льежа в первые десятилетия XX века, города шахтеров и металлургов, подводит его к этой мысли. Писатель не забыл, как конные жандармы с саблями наголо разгоняли даже мирные демонстрации. Тщетно допытывался он у родных, почему бастуют рабочие и чего они требуют. Правильно понять смысл шахтерского движения помогли Сименону студенты. Мать Жоржа начиная с 1907 года сдавала комнаты с дешевым пансионом приезжей молодежи. В начале века в Льеже училось много иностранцев. После поражения первой русской революции среди них появляются поляки и русские. Студенты сыграют значительную роль в судьбе подрастающего мальчика. Как знать, не стал бы он без встречи с ними кондитером или юре, о чем мечтала его мать. Вспоминая жильцов студентов, Сименон говорил: «...насколько отличались их идеалы и моральные принципы от прописных истин, внушаемых мне дома и в школе, как пренебрежительно относились они к личному благополучию, карьере и богатству. Они стали для меня носителями не только совершенно неизвестных мне нравственных понятий, но и научных знаний. Они пробудили во мне интерес к медицине и праву». Но главное — студенты первые ввели любознательного мальчика в мир произведений самой человечной и вольнолюбивой литературы XIX века — русской литературы. Он сам впоследствии признает, что гуманистический и демократический настрой его романов обусловлен влиянием русской классической прозы, и называет своими крестными отцами в литературе Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького. Он учился у них науке познания человека. А пока у пристрастившегося к книгам Жоржа возникает желание писать.

Первая мировая война и все то страшное, что ей сопутствует, приводит к быстрому повзрослению подростка. Жизнь в семье с каждым днем становится все тяжелее. Прихварывает отец. И тогда 15-летний Сименон за год до окончания оставляет коллеж и начинает работать, желая помочь родным и добиться материальной независимости. Ему повезло, так как его зачислили хроникером в отдел происшествий одной из льежских газет. Так совершилось в корне изменившее всю жизнь Сименона посвящение вчерашнего школьника в журналисты. Интересно, что Симе-

нон начинает с отдела происшествий, где, по его словам, в какой-то мере подводится жизненный итог, завершается столкновение человека с судьбой. Схватка с судьбой станет в дальнейшем ведущим конфликтом в его романах.

В 1921 году внезапно умирает отец. Мать настаивает, чтобы Сименон бросил работу в газете и нашел приличное место, которое обеспечит его. Но выбор Сименона уже сделан. Он знает, что посвятит жизнь созданию романов, которые будут помогать людям в критические периоды их жизни. Именно в ту пору у Сименона возникает замысел очень оригинального литературного персонажа, черты характера которого он позднее разовьет и углубит в образе комиссара Мегрэ.

«Я часто думал, — рассказывает он, — разве не существуют врачи, которые были бы одновременно целителями и тела и духа, иначе говоря, врачи, которые знали бы о больном все — его возраст, физическое состояние, нравственные возможности: такие врачи могли бы посоветовать, какой путь ему лучше избрать в жизни. Это было в тысяча девятьсот семнадцатом году. Вот таким я и задумал Мегрэ. Этим и занимается Мегрэ и поэтому необходимо было, чтобы он два-три года проучился на медицинском факультете. Для меня Мегрэ нечто вроде «le rascommodeur des destinées»¹. Вот такие мысли бродили в моей голове, когда мне было четырнадцать лет». Осуществить свой замысел Сименону удалось лишь через двенадцать лет. До этого предстояло добиться литературного признания и не гденибудь, а в Париже. Он приехал в столицу Франции 11 декабря 1922 года. Ему не было еще двадцати лет. Как многие знакомые ему по литературе герои, он преисполнен надежд и веры в себя.

* * *

В Париже на первых порах Сименону приходится туго. На собственной шкуре он испытывает жалкое положение жильцов в дешевых гостиницах или меблированных комнатах. Места, где он жил впроголодь, послужат фоном действия многих его романов, особенно цикла «Мегрэ». Он тяжело переживает одиночество, равнодушие окружающих людей. Но именно в этот период проявятся те качества Сименона, которые во многом способствуют его успеху

¹ Штопальщик судеб. (Франц.)

в дальнейшем. Ему присуща удивительная целеустремленность.

В девятнадцать лет он поставил перед собой основную задачу—в намеченный им срок добиться возможности полностью отдать себя большой литературе. Он размечает по этапам путь, по которому неуклонно идет к поставленной цели. Прежде всего нужны деньги. Он раздобудет их репортерским трудом и сочинением разных развлекательных романов и рассказов, пользовавшихся в 20-е годы большим спросом. Их выпускалось великое множество на все вкусы невзыскательной публики: любовные, трагические, таинственные романы ужасов и невероятных приключений. Первый небольшой развлекательный роман Сименон написал весенним утром 1924 года за столиком кафе на площади Константен Пекер и назвал его «Роман машинистки». С того времени начинается огромная по объему, поразительная по неизменному выполнению составленного расписания пора сочинительства. Сименон умел радоваться жизни, любил веселиться, принимать друзей. Но где бы Сименон ни был и как бы ни проводил накануне время, ежедневно он вставал в четыре часа утра, подкреплялся черным кофе и отпечатывал на машинке намеченное число страниц романа, а с 16 до 19 часов сочинял рассказы. Установленный распорядок не меняется и в дальнейшем.

* * *

С детства Сименона, росшего в условиях города, влекла природа. Особенно полюбил он море. Как только развлекательные романы приносят ему немного денег, он на весну и лето уезжает на море. Все остающиеся у него после работы над очередным романом часы Сименон тратит на изучение морского дела. Он овладевает профессиями матроса, штурмана и даже получает диплом капитана — водителя моторных судов. Теперь Сименон ежегодно какой-то период времени проводит на воде или у моря. Многие его произведения связаны с речной или морской тематикой. В них, как и в представленных в сборнике романах «Порт туманов» и «Пассажир „Полярной лилии“», поражает и привлекает детальная осведомленность автора во всем, что связано с нелегкой жизнью и опасным трудом на воде. Зорким взглядом подмечены колоритные бытовые сцены из жизни речников, лоцманов, моряков,

смотрителей шлюзов. К этим мужественным простым людям обращены полные симпатии и уважения строки.

В 30-е годы Сименон много путешествует. Дважды совершает кругосветное плавание. Он побывал в Африке, Центральной и Южной Америке, на Таити, Галапагосе, Маркизских островах, в Новой Зеландии, Австралии, Индии. «Мне необходимо было, — вспоминает он, — познать земной шар вдоль и поперек — во всем многообразии природы, климата, городов, нравов, получить доступ в разные социальные слои и одинаково свободно чувствовать себя в рыбацком кабачке, на ярмарке скота или в салоне банкира. Иначе не сделаешь верный вывод о состоянии данного общества». Сименон отправился в чужие страны не в поисках новых впечатлений. В первую очередь его интересовали те или иные человеческие характеры и их сходство с характерами других людей, живущих под разными широтами. Разобраться в этом сложном комплексе, установить контакты, добиться взаимопонимания помогали Сименону (и на этом он всегда настаивал) беседы с людьми об их труде. «Люди — это моя страсть, — неоднократно повторял он. — Если знаешь людей, нельзя их не любить». Где бы Сименон ни находился, он точно в срок отправляет издателям рукописи из удаленных уголков земного шара. Предполагали, что он пишет с большой легкостью, чуть ли не играя, поскольку он писал так много; а на самом деле Сименон напряженно работал, подчинив себя железной дисциплине. Сначала она сопутствовала написанию развлекательных романов, потом романов о комиссаре Мегрэ и, наконец, социально-психологических романов, которые Сименон называет «трудными», так как в них возникают особо сложные и трагические ситуации. Сименон никогда не причислял развлекательные романы к подлинным литературным произведениям, но, сочиняя их, он, в известной мере, постигал писательскую технику, которая затем ему пригодится. Разные по объему романы цикла «Мегрэ» и большинство «трудных» романов в какой-то степени — результат школы, пройденной в первые десятилетия пребывания в Париже. Он стремится отбирать основное, исключая случайные эпизоды, лишние диалоги, не связанные с действием описания. Много усилий он приложил к тому, чтобы писать ясно, предельно доступным для самых широких читательских кругов языком.

Проходит несколько лет. Накапливаются опыт, наблюдения над людьми, мысли о вопиющих противоречиях современной жизни и трагической участи, уготованной в ней «маленькому человеку». Сименон решает, что настало время испытать свои силы не в сочинении надуманных псевдодраматических романов, а в романах, изображающих реальные факты. Весной 1929 года на паруснике «Остгот» он поплывет по каналам Франции, потом по Маасу, дойдет до Северного моря и остановится в небольшом порту Делфзейл в Голландии. Знаменательным событием в судьбе Сименона окажется эта стоянка. Здесь он написал роман «Питер Латыш» с участием комиссара Мегрэ. Весной 1930 года на борту «Остгота» Сименон напишет еще несколько романов о комиссаре Мегрэ. Успех их превзошел все ожидания. Вскоре после выхода в свет этих романов Сименон получил разрешение от директора уголовной полиции Парижа познакомиться с работой всех ее отделов. Он бывал на допросах, принимал участие в розысках преступника, облавах и обысках. Сименон читает труды криминалистов, воспоминания знаменитых детективов. Все это позволило ему точно изображать атмосферу различных полицейских, судебных и карательных учреждений Франции. Даже ранние романы цикла «Мегрэ» отличаются от большинства произведений детективного жанра как в литературе XIX века, так и в современной. Своеобразие их в том, что раскрывается в них не столько преступление, сколько драматическая судьба обыкновенного, ничем не примечательного человека, страдающего от социальной несправедливости. За небольшим исключением действующие лица его романов не профессиональные убийцы, не неуловимые авантюристы или шпионы высшего класса, а рядовые люди, к искалеченным судьбам которых автор привлекает внимание читателя. Трудная жизнь приводит героев Сименона к столкновению с законами, и в отчаянии, не видя выхода, они порой совершают непоправимое. «Маленькие люди» в романах Сименона почти никогда не бывают убийцами, и основная масса преступлений в них совершается людьми имущими.

В романе «Порт туманов» комиссар Мегрэ расследует очень сложное дело. Мэр города обвиняет в убийстве матроса по прозвищу Большой Луи, потому что тот в прошлом каторжник. Найти подлинного преступника Мегрэ

помогают его независимость, честность, демократизм, а главное, его способность завоевывать доверие простых людей. Он устанавливает с ними контакт, потому что сам он обыкновенный человек; автор постоянно подчеркивает это и в его внешности, и в его привычках. Скромная жизнь Мегрэ походит на жизнь окружающих его рядовых людей со всеми их горестями и радостями: неприятности на службе, стычки с начальством, ожидание пенсии и страх уйти из гущи жизни на покой, мечты о собственном домике с садом, где он будет разводить цветы. Любящей и заботливой мадам Мегрэ отводится особая роль: ее присутствие выделяет все самое существенное, привычное в характере Мегрэ. Оригинальность образа Мегрэ именно в его обыденности. Метод его расследований ничего общего не имеет с методом прославленных детективов шевалье Дюпена, Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро — знаменитых героев Эдгара По, Конан Дойла и Агаты Кристи. Аналитическое мышление Мегрэ не свойственно: «Я не делаю предварительных выводов. У меня нет определенных суждений», — постоянно повторяет он. Всевозможным вещественным уликам Мегрэ придает мало значения. Главное для него — интуитивно понять суть разыгравшейся человеческой драмы. Чтобы узнать правду, Мегрэ необходимо самому почувствовать, мысленно пройти все этапы, которые, быть может, привели подозреваемое лицо к преступлению, оказаться в его «шкуре». А для этого следует изучить его прошлое: «Человек без прошлого для меня не существует», — утверждает комиссар. От романа к роману характер Мегрэ все время меняется и обогащается, в нем все больше начинают преобладать черты, присущие внимательному врачу или тонкому психологу. Сименон расширяет сферу деятельности комиссара, вводя его в высший свет, в кулуары министерств, конторы крупных буржуа, в среду артистической богемы и «золотой молодежи». Обостряется критика Мегрэ бюрократических и карательных учреждений буржуазного общества, современного судопроизводства, мнимого равенства перед законом, независимости судей. Комиссар, порой во вред себе, вступает в конфликты с прокурорами и судьями и нередко убеждается в своем бессилии добиться справедливости. Эволюция взглядов Мегрэ во многом отражает эволюцию взглядов самого писателя. Говоря о деятельности Мегрэ, Сименон подчеркивает: «Мегрэ никогда не имел дела с восстанием

или демонстрантами. Он никогда и никого не бил по голове. А в жизни есть подобные полицейские. Я знал таких. Кроме того, мне вообще не нравится полиция наших дней. На вопрос: «А мог бы на самом деле существовать Мегрэ?» Сименон ответил: „Нет, он бы подал в отставку”».

Как-то Сименона спросили, чем объясняет он популярность Мегрэ и любовь к нему читателей во всем мире. «Я полагаю,—не задумываясь ответил он,— Мегрэ такой человек, которого каждый хотел иметь бы своим другом».

* * *

«Пассажир „Полярной лилии”» — первый социально-психологический роман Сименона о воспитании чувств и становлении характера молодого человека. В нем намечен один из центральных тезисов творчества писателя — «быть человеком — трудное дело», развернутый им впоследствии во многих «трудных» романах и в цикле «Мегрэ». Юность, считает писатель, тот решающий этап, когда окончательно формируется человек. Тема молодежи — сквозная тема его творчества. В ряде романов Сименон прослеживает сложный психологический процесс возмужания подростка или юноши. Он делает это на примере девятнадцатилетнего голландца Вринса, получающего суровую моральную закалку на «Полярной лилии», где он держит трудный экзамен на «аттестат зрелости». Мучительный разлад в душе юноши, предшествующий свободному выбору, который он сделает между ответственностью перед людьми и личным счастьем, завершается нелегко одержанной победой чувства долга. «Зато одним мужчиной стало больше», — скажет ему капитан Петерсен, начавший морскую службу тринадцатилетним юнгой, повидавший много страшного и жестокого, но под грубой внешностью сохранивший, как и Мегрэ, отзывчивое сердце, непримиримость к трусости и подлости, отвращение к разврату и цинизму светских бездельников. Несмотря на веские улики против Вринса, он поверил в честность молодого офицера и поддержал его так, как это мог сделать лишь отец. Не окажись Петерсена рядом с Вринсом в критические часы его жизни, он мог стать таким, как кочегар Крулль, и совершить преступление. Крулль любопытный персонаж, который не раз встретится в последующих «трудных» романах Сименона, где писатель будет доискиваться до причин, приводящих к деградации личности.

Главной он считает одиночество, разобщенность людей, равнодушие их друг к другу, при котором однажды остывшему человеку никто не протянет руку и не поможет вернуться к честной жизни, как это произошло с Круллем.

* * *

13 февраля 1983 года Сименону исполнилось 80 лет. Он больше не пишет романов, объяснив свое решение состоянием здоровья. Чтобы писать, ему необходимо чувствовать себя совершенно здоровым. По словам Сименона, он устал перевоплощаться в своих вымышленных героев, испытывать их мучительные переживания и вместе с ними бороться с судьбой. Он решил обратиться к анализу и пересмотру собственной жизни и проследить длинный период, который отделяет журналиста Сима от писателя Сименона. Он рассказывает о нем перед микрофоном¹. Подробный самоанализ не оторван от происходящих за стенами дома писателя политических, социальных и культурных событий, за которыми он продолжает следить и чутко на них реагирует. Как всегда писателя волнует участь простых людей, особенно молодежи, в этом беспокойном, беспощадном мире и их будущее. С молодыми связаны надежды Сименона на восстановление прочного мира и справедливости на земле.

«Я счастлив, что живу в нашу эпоху, — пишет Сименон. — Несмотря на все ее несовершенство, я горжусь ею и вот почему: пусть, что ни день, еще творятся акты жестокости — большинство людей уже осуждает ее. Пусть человек еще не так свободен, как ему представляется — рабов уже почти нет. Пусть проблемы расы и цвета кожи еще часто служат трамплином для политиканов — сотни тысяч людей уже искренне убеждены, что всякий человек — это человек... Я верю в человека».

Э. Шрайбер

¹ В 1981 году вышел уже 21 том «устных» воспоминаний Сименона, объединенных общим названием «Я диктую»

Я ВСПОМИНАЮ



Печатается в сокращении





1

9 декабря 1940 года,
Фонтене-ле-Конт (Вандея)

Мой дорогой мальчик!

Мало ли событий произошло 13 февраля 1903 года? Забастовки, аресты анархистов, приезд иностранных государей в Париж, тираж лотереи... Стоит лишь покопаться в тогдашних газетах. А все-таки самые важные для меня, да и для тебя, события в тот день имели местом действия Льеж, улицу Леопольда, что соединяет Арочный мост с площадью Святого Ламбера.

Точнее, это произошло в доме шляпника Сесьона, на третьем этаже.

Направо — торговый дом «Озэ»; там делают и продают шоколад «Озэ». Кондитерское благоухание дает о себе знать за три дома до «Озэ» и преследует прохожего еще

через три дома. Здесь продается не только шоколад. Можно купить и пирожное с кремом, десять сантимов штука. Немыслимо дорого! А три штуки — двадцать пять сантимов. Из-за этой скидки мы потом, когда нас станет четверо, будем покупать к столу три пирожных: от каждого отрезается по кусочку — выкраивается порция на четвертого едока.

Итак, направо — дом «Озэ».

Налево — магазин готового платья, вернее, три магазинчика подряд, и все они торгуют одним и тем же, переманивая друг у друга покупателей.

Спору нет, улица Леопольда — одна из центральных, но за Арочным мостом уже начинаются предместья. На этой улице останавливаются трамваи, идущие из пригородов. Здесь торгуют зерном, грубой обувью — кожаной и деревянной, а также, само собой, готовым платьем.

На всех трех магазинчиках — шары газовых фонарей; в их синюшном дрожащем свете перед каждым входом топчется по субъекту — черный сюртук, пристежной стоячий воротничок, торчащий чуть не на десять сантиметров, шляпа-котелок, нафабренные усы. У такого типа вечно стынут ноги, нос, пальцы рук. Он шарит глазами в толпе, выискивая главным образом мамаш с детьми. Карманы у него набиты грошовыми картинками, глядя на которые требуется угадать, «где сидит охотник» или «где спрятался болгарин». Понятия не имею, при чем тут болгары, но я долго собирал такие загадочные картинки, где вся загвоздка была в болгарях.

Холод. Дождь. Липкий туман. Пять вечера, а все витрины уже освещены.

У Сесьона выставлены дюжины шляп. В магазине люди растерянно смотрят в зеркало, не в силах понять, нравится ли им собственное отражение. Поминутно проходят трамваи: зеленые следуют в Троз, Шене или Флерон, красные и желтые кружат по городу. Продавцы газет выкрикивают список номеров, выигравших в последней лотерее. Другие выкликают:

— Баронесса Воган — десять сантимов! Кому баронессу Воган?

Речь идет о любовнице Леопольда Второго ¹. Болтают,

¹ Леопольд II (1835—1909) — король бельгийский в 1865—1909 гг.

будто ее особняк связан подземным ходом с дворцом в Лекене.

— Кому баронессу Воган?

В доме Сесьона, на третьем этаже, в комнатке, которую освещает керосиновая лампа, молодая женщина, белокурая и растрепанная, надевает шляпку. Секунду помедлив, поправляет прядку и задувает лампу. На лестнице горит газовый рожок.

Молодая белокурая женщина выбегает из узкой, приткнувшейся между двумя лавчонками двери и со всех ног спешит к площади Святого Ламбера. Она волнуется. Всё это так непривычно. Прохожие, задевающие и толкающие ее, ни о чем не догадываются.

Крики газетчиков все громче... Через каждые пять метров — газовые фонари. Магазин «Большой универсальный». Потом другой, под вывеской «Вакселер Клаас». И третий, поскромней — «Новинка». Торговля тканями, галантереей, полотном, шерстью. Женщина входит в тепло. Здесь вкусно пахнет небеленым полотном.

В «Большом универсальном» всегда толкучка и продавцы нарочно выкрикивают цены во всю глотку.

А тут продавщицы неслышно скользят вдоль стеллажей. Сдержанно улыбаются, щупают сукна, шушукаются, пересмеиваются с видом заговорщиц.

Та, которая сейчас вошла, тоже всем улыбается: она знакома со всеми девушками из всех отделов. И не торчи у них над душой администратор, облаченный в сюртук, они тут же сбежались бы к ней. Все смотрят на ее большой живот. На лицах немой вопрос: «Скоро?»

Анриетте Сименон вот-вот стукнет двадцать. Год тому назад она еще работала здесь в отделе галантереи и уволилась из «Новинки», когда вышла замуж. Тем самым она как будто поднялась по общественной лестнице на ступеньку выше. Но это уравнивается ее нынешней бедностью. В магазине Анриетта уже чувствует себя посторонней, и от этого ей как-то не по себе.

Отдел кружев. Пигалица продавщица, личико, как печеное яблоко, на щеках багровые пятна, раскосые японские глаза, крошечный черный шиньон, талия перетянута черным лакированным ремнем так туго, что фигура напоминает восьмерку.

Вот она заметила Анриетту. Привычно покосилась в сторону кассы — администратора не видеть.

Подруги целуются над образцами кружев.

— Сегодня вечером?

— Не знаю... Дезире приходит не раньше семи.

— Погоди...

Надо обслужить покупательницу. Потом Валери устремляется к главной кассе и о чем-то тихо говорит с заместителем управляющего господином Бернгеймом. Он оборачивается, смотрит издали на свою бывшую продавщицу.

— Подожди меня у выхода. Я только оденусь.

И вот обе, взявшись под ручку, спешат по улице. Валери года двадцать три, а может, и все двадцать семь — не разберешь: у женщин такого типа нет возраста.

— Сперва надо предупредить акушерку. Ты как, можешь идти помаленьку?

Они торопятся. Уже почти стемнело. Улицы вымощены неровным булыжником.

«Третий этаж. Два звонка».

Они звонят два раза. Спускается акушерка в шлепанцах.

— Буду через час.

По дороге Валери уговаривает:

— Вот увидишь, Анриетта, ничего такого страшного тут нет!

— Я все думаю, может, съесть чего-нибудь...

Приторно-шоколадный запах. Валери затаскивает спутницу в кондитерскую «Озз» и выбирает ей пирожное.

Вверх по лестнице идти куда трудней.

— Я все думаю, не забыла ли чего. Как будто все есть, что нужно. Валери, может, сразу положить новые простыни?

Кухня, спальня. Над кроватью портрет почтенной старой дамы с несколько высокомерным лицом. Это мать Анриетты; разорившись, она жила на несколько франков в день, но никогда не выходила из дому без перчаток и капора, а если к ней звонили в дверь, спешила поставить на огонь пустые кастрюли.

— Лучше внушать зависть, чем жалость, дочь моя. Все равно помощи не дождешься!

Она умерла. Анриетта, тринадцатый ребенок в семье, одна оставалась с ней до последнего вздоха. В шестнадцать девушка сделала себе высокую прическу, удлинила

юбку и явилась к заместителю управляющего магазином «Новинка» господину Бернгейму.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

Валери из соседнего отдела стала ее ближайшей подругой.

Как-то раз Анриетта заметила у выхода высокого застенчивого парня, скромно одетого, с острой бородкой.

— У него красивая походка.

Росту в нем метр восемьдесят пять.

Анриетта совсем крошечная, голова из-за немыслимо пышных волос кажется непропорционально большой, как у куклы.

Она еще носит траур. На ней черная креповая накидка чуть не до пят.

Ночует Анриетта у сестры, которая замужем за богатым бакалейщиком. У них двое детей, Анриетта присматривает за ними по вечерам вместо няньки.

Валери волнуется куда больше подруги.

— Уверена, он ходит сюда из-за тебя.

Валери принимает на себя роль посредницы.

— Его зовут Дезире. Дезире Сименон. Двадцать четыре года. Служит бухгалтером в страховой компании.

До сих пор Дезире пропадал вечерами в благотворительном обществе: он участник любительского кружка — суфлер. На службе к его услугам пишущая машинка, поэтому он еще и перепечатывает роли.

Дезире представился старшей сестре Анриетты и ее мужу — бакалейщику Вермейрену. Оба нашли, что у молодого человека нет будущего.

Тем не менее Дезире и Анриетта поженились.

Скоро он придет. Уже идет — как всегда, неторопливым упругим шагом, с размеренностью метронома переставляя длинные ноги.

— Боже мой, Валери!.. Дезире пришел!

К счастью, акушерка следует за ним по пятам и выставляет его за дверь.

— Идите-ка погуляйте. Когда все закончим, я вам по сигналю в окно лампой.

Витрины, одна за другой, скрылись за железными шторами. Растаяли в темноте замерзшие зазывалы из магазинов готового платья. Трамваи проходят реже, зато грохоту от них больше.

По соседним улочкам разбросаны несколько кафе, прячущиеся за матовыми стеклами или кремовыми шторами. Но Дезире ходит в кафе только по воскресеньям, в одиннадцать утра, и всегда в одно и то же — в кафе «Ренессанс».

Он уже поглядывает на окна. Забыл думать о еде. То и дело лезет в карман за часами. Разговаривает сам с собой.

В десять на улице, кроме него, ни души.

Дважды он поднимался наверх. Прислушивался и убегал со сжавшимся от ужаса сердцем.

— Простите, господин полицейский...

Полицейский торчит без дела на углу под рекламой, изображающей огромные часы с неподвижными стрелками.

— Не будете ли вы любезны сказать, который точно час?

И смиренно, с вымученной улыбкой поясняет:

— Когда ждешь, да еще ждешь такого события, время ужасно тянется! Представляете себе, моя жена... У нас с минуты на минуту будет ребенок.

Время от времени мимо, подняв воротник, кто-нибудь проходит, и шаги еще долго слышны в лабиринте улиц. Под каждым фонарем, каждые пятьдесят метров, — желтый круг света, а по нему — косые штрихи дождя.

— Ужасно, что никогда до последней минуты не знаешь...

— Когда мы ждали нашего третьего... — начинает полицейский.

Дезире без шляпы, но он этого не замечает. Он носит целлулоидные манжеты; при каждом движении они сползают на руки.

Двадцать пять лет. Пачка папирос докурена, а идти за новой слишком далеко.

— Вдруг акушерка забыла про лампу!..

В полночь полицейский, извинившись, уходит. На улице теперь ни прохожих, ни трамваев, только звук далеких шагов и запираемых дверей.

Наконец-то сигнал лампой!

Ровно десять минут первого. Дезире Сименон срывается с места как бешеный. Длинноногий, он перепрыгивает чуть ли не через целые лестничные марши.

— Анриетта!

— Тс-с! Не надо шуметь.

И тут из глаз у него брызжут слезы. Он сам не пони-

мает, что делает, что говорит. Боится прикоснуться к младенцу.

Анриетта в постели, только что застеленной простынями, которые она сама вышивала к этому дню. Она слабо улыбается.

— У нас мальчик.

А он, отбросив ложный стыд, не обращая внимания на Валери и акушерку, говорит ей сквозь слезы:

— Никогда, никогда не забуду, что ты дала мне счастье, какое только женщина может принести мужчине.

Я помню эти слова наизусть — мама мне их часто повторяла. Она, не без иронии, поминала их и отцу в минуты размовок.

Я родился в пятницу, 13 февраля 1903 года, в десять минут первого.

— Который час? — спросила мама, на мгновение вырвавшись из забытья.

Ей ответили.

— Боже, он родился в пятницу тринадцатого! Не надо никому об этом говорить.

Она упросила акушерку молчать, и та ей пообещала.

Вот почему в понедельник, придя вместе со своим братом Артюром в муниципалитет регистрировать мое рождение, отец с невинным видом продиктовал:

— Родился в четверг двенадцатого февраля.

Такова, милый Ман, главная страница моей жизни: мне ее много раз рассказывали твой дед, бабушка и славная Валери.

Я говорю — Ман, потому что сейчас, в декабре 1940 года, тебя зовут именно так. Вернее, ты сам придумал себе это имя — Ман: тебе всего девятнадцать месяцев и ты еще не в силах выговорить «Марк».

Твоего деда, высоченного Дезире с такой красивой походкой, тебе не придется увидеть: он давно умер, но я все-таки постараюсь, чтобы ты его полюбил.

На собак, кошек, коров, лошадей и цирковых слонов ведется родословная. Но что толку? Они понятия о ней не имеют, и в сущности, их генеалогия — просто способ набить им цену.

Некоторые люди тоже обладают родословной и кичатся ею — дескать, их-то предков никогда не держали ни

на цепи, ни в клетке; но трудно отнестись с полным доверием к их дворянским грамотам.

А я, за неимением генеалогического древа, попытаюсь описать тебе среду, из которой ты вышел.

Как я уже сказал, сейчас декабрь. Говорят, Сименоны родом откуда-то из-под Нанта, но никаких доказательств у меня нет. Слышал я об этом от моего деда — я тебе о нем еще расскажу.

— Наш предок, капитан наполеоновской армии, во время русской кампании был ранен, при отступлении застрял на одной ферме в Лимбурге, где его подлечили, и он женился на хозяйской дочке.

Я предпочел бы, чтобы наш предок и впрямь оказался капитаном, как подобает персонажу семейной хроники, но не исключено, что он был простой солдат, — и это ничего не меняет. Ничто не изменится и в том случае, если он женился не на хозяйской дочке, а на служаночке!

И все-таки, хотим мы этого или не хотим, от Нанта нам никуда не уйти: писать свою хронику — и то я начинаю в Вандее, в Фонтене-ле-Конт.

Сейчас война, не очень-то, впрочем, обычная. В союзе с англичанами мы дрались против немцев. Точнее, немцы нас побили. Теперь они здесь, а англичане продолжают воевать.

Эту историю я расскажу тебе как-нибудь в другой раз: она отчасти и история твоего рождения, твоих первых шагов.

Так или иначе нам пришлось бросить наш дом в Ниэль-сюр-Мер, неподалеку от Ла-Рошели: там нас слишком часто навещали английские бомбардировщики.

Мы обосновались в Фонтене-ле-Конт, в доме, который принадлежит не нам. Мебель, чашки, стаканы — и те не наши. Это все равно как влезть в чужие ботинки.

А ты этого не замечаешь.

Сегодня после завтрака мы с мамой водили тебя гулять. Шел дождь. На тебе был голубой непромокаемый плащ с капюшоном, который тебе явно велик. Но с резиной теперь трудно — война!

Я купил тебе книжку с картинками.

Ты узнал корову, собаку и прочих животных, а потом сказал мне:

— Не хочу!

Посмотрел на меня и добавил, имея в виду собственное поведение:

— Нехорошо!

Нехорошо говорить отцу: «Не хочу!..» Не беспокойся! Что-что, а уж почтение к старшим я тебе прививать не собираюсь. Я сам достаточно настрадался от того, что в меня пытались вселить это самое почтение ко всем и вся — даже к тому, что никакого почтения не заслуживает. А все потому, что родился я в доме Сесьона, на третьем этаже, — кухня да спальня, ни воды, ни газа, и мама моя была продавщицей в «Новинке», в отделе галантереи, отец же всю жизнь оставался мелким служащим в страховой конторе.

Только не произнеси этого слова «служащий» при твоей бабке. Говори «доверенный служащий». В конце концов, это то же самое, что ей так приятнее, а у нее в жизни было слишком мало радостей, чтобы лишать ее еще и этого удовольствия.

2

*10 декабря 1940 года,
Фонтене-ле-Конт*

В воскресенье утром мой отец встал затемно. Зажег лампу, взял из стенного шкафа на лестнице два ведра и, стараясь не шуметь, пошел за водой на второй этаж, где был кран.

— Господи, Дезире... — вздохнула мама.

Для нее это была сущая мука. Видеть, как мужчина, человек умственного труда, не жалея воды, трет пол, выжимает тряпку, моет оставшуюся с вечера посуду, а потом, в мыльной пене по локоть, стирает мои пеленки, ей было невмоготу: это шло вразрез со всеми ее представлениями о приличиях.

Кухня и спальня — дел там хоть отбавляй, от человеческого тепла квартирка быстро согревается. Обычный будильник ухитряется оживлять все пространство своим тиканьем. При малейшем сквозняке пламя в камине начинает гудеть; время от времени что-то тихо потрескивает — такое услышишь только в подобных комнатенках. У нас, например, в пору моего детства, это потрески-

вание в самые неожиданные моменты издавал шкаф «под дуб».

— Господи, Дезире...

Когда первые трамваи продребезжали по улице, голубеющей в предутреннем сумраке, квартирka уже пахла чистотой и отец расстелил на полу старое, в коричневых разводах покрывало — оно у нас называлось «субботнее».

Дело в том, что по субботам делают генеральную уборку. Мама опускалась на колени и терла пол песком. После этого до воскресного утра на полу не ходили — для того и расстилалось покрывало.

Потом отец вымылся сам. Он нарядился в мундир Национальной гвардии — грубое синее сукно, красный кант — и надел невероятную шляпу — нечто среднее между закругленным сверху цилиндром и необычайно высоким котелком, как тебе больше нравится, увенчанное красновато-коричневыми с золотым отливом перьями; этот султан весьма напоминал петушиный хвост.

Несмотря на высокий рост, отцу пришлось встать на стул («Дезире, подстели газету!»), чтобы снять со шкафа свое оружие — винтовку системы Маузер с латунным колпачком на дуле.

— Ты вернешься к приходу своей матери?

Отец, снаряженный, как на войну, дождался акушерки, возвестившей о своем появлении двумя звонками, и ушел.

На Баварской площади, по ту сторону Арочного моста, он встретился с другими гвардейцами. По-воскресному принаряженные люди шли мимо них слушать обедню в церкви св. Фольена. На перекрестках тесных улочек голубятники тревожно следили из-под козырьков за полетом голубей: чьи взлетят выше?

— Национальная гвардия, становись!

Вот и капитан. Крошечный рост; мирная профессия — архитектор; лохмат, как спаниель; горласт, шумен; пять десятков горе-солдат, а вокруг них ребятня со всего квартала. Мой отец на голову выше остальных и портит весь строй.

— Смирр-на! На крраа-ул!

В одиннадцать учение кончено. Большая часть гвардейцев — ни дать ни взять школьники по звонку на пере-

мену — устремляется в ближайшее кафе. К полудню усы у всех пропитаются приторным запахом спиртного — этот запах неотделим от воскресенья.

А мой отец идет к обедне. Живет он на другом берегу, на улице Леопольда, но по воскресеньям всегда возвращается в родной приход, в церковь святого Николая. У Сименонов там своя скамья, последняя в ряду. Она самая удобная — с высокой деревянной спинкой. Скамья принадлежит Братству святого Роха. А вот, возле колонны, статуя самого святого, с псом у ног и кровоточащим коленом. И не кто другой, как мой дед, с пышными седыми усами, ходит во время воскресной службы по рядам, собирая звякающие монетки в медную кружку на длинной деревянной ручке.

Потом он возвращается на свою скамью, пересчитывает монетки и опускает их одну за другой в щель скамьи, под которой устроено нечто вроде сейфа.

Мой отец никогда не преклоняет колена: ему тесно в узком пространстве между скамьями.

Несмотря на то что я появился на свет только позавчера, он не отменит воскресного утреннего визита к родителям. И никому из его братьев и сестер в голову не придет пренебречь этой обязанностью; позже, когда я уже научился ходить и нас, двоюродных братьев и сестер, потомков старого Кретьена Сименона, стало уже тридцать два человека, мы каждое воскресенье тянулись на улицу Пюи-ан-Сок.

Эта тесная улочка — одна из самых старых в городе, на ней бойкая торговля; трамвай идет почти вплотную к тротуару, поэтому что ни день — несчастный случай.

Мой дед — шляпный мастер. У него темноватая лавка, все украшение которой составляют два высоких мутных зеркала. В сумрачной подсобке выстроились в ряд шляпные болванки.

Проходить через магазин невелено. Все шли узким, беленым известкой коридором. Он вел во двор, где пахло гнилью и бедностью.

Кухней служило большое помещение, застекленное с одной стороны — там было бы светло, не будь на стеклах красно-желтого налета.

В глубине, в кресле — Папаша, отец моей бабки.

Кожа да кости, вылитый отошавший медведь, весь ушел в себя. Руки длинные, чуть не до земли. Лицо кремнистое, без всякой растительности, глаза пустые. Огромный рот, огромные уши.

— День добрый, дети!

Он различает всех по походке. Все по очереди касаются губами его шершавой, как наждак, щеки.

Испеченные накануне двухкилограммовые хлебы ждут, пока соберется все семейство, все женатые и замужние дети. По воскресеньям каждый сын и дочка получают по хлебу.

Рассаживаются за длинным столом, накрытым коричневой клеенкой, — здесь долгие годы сидели тринадцать детей.

На плите томится неизменная вареная говядина.

— Как здоровье Анриетты? Около двух зайду ее проводить.

У моей бабки, госпожи Сименон, тот же кремнистый цвет лица, что у Папаши, да и характером она сущий кремнь. По-моему, ни разу в жизни ни приласкала меня. Никогда я не видел ее небрежно одетой, — впрочем, нарядной тоже. Платье на ней всегда серое, цвета графита. Волосы серые. Руки серые. Единственное украшение — медальон с портретом рано умершей дочки.

Это стопроцентная валлонка, дочка и внучка шахтеров. Шахтером был и Папаша, поэтому кожа у него вся в маленьких синих точечках.

Все молчат. Сходятся в кухне, но разговаривать никому не хочется.

Без десяти двенадцать. Отец поднимается, берет свой хлеб, винтовку и уходит.

Проходя мимо кондитерской, там, где тротуар совсем уж сужается, он вспоминает, что сегодня воскресенье, что у них обедает Валери, и покупает рисовый пудинг за двадцать пять сантимов.

По дороге уже попадают дети в масках и с картонными накладными носами: сегодня первый день карнавала.

А моя мама спрашивает Валери, пришедшую ее навестить:

— Ты-то как думаешь, будет война?

Это было в 1903 году. О войне говорили часто. Такие разговоры сопутствовали всему моему детству. По вече-

рам, когда отец при свете лампы читал газету вслух, мама всхлипывала и глаза у нее краснели.

А отец каждое второе воскресенье ходил в мундире Национальной гвардии на учения, на площадь Эрнеста Баварского¹.

Потом, в 1914 году, когда началась первая мировая война, национальных гвардейцев, охранявших бойни, отправляли по домам, да еще посоветовали побросать в реку с моста Брессу винтовки и патроны.

Прошлой ночью английские самолеты пролетали над Фонтене каждые десять минут. Куда они? На Бордо? На Ла-Рошель, где у нас дом? Не знаем. Знаем только, что эти самолеты до отказа набиты бомбами, которые где-нибудь да сбросят, и тогда будет много убитых — мужчин, женщин, детей. А может, это были бомбы для нас?

Ты спал. Мы спали. А наутро, во время завтрака, радио передало, что неподалеку от Бордо разрушен железнодорожный мост, по нескольким городам нанесен бомбовый удар и ПВО Ла-Рошели всю ночь вело огонь.

Как всегда по утрам, я пошел в комиссариат отметить. Твоя мама оденет тебя и тоже туда пойдет. Мы обязаны отмечаться в комиссариате каждый день и не имеем права выезжать за пределы коммуны. Почему? Потому что мы бельгийцы.

Иностранцы, лица без подданства и евреи считаются подозрительными лицами.

Чтобы купить тебе молока, нужна карточка. Хлеб, сахар, мясо, масло только по карточкам.

В Германии два миллиона заключенных мучаются от голода и холода. В мире — миллионы безработных. На Лондон и другие крупные английские города каждую ночь сбрасывается около тысячи тонн зажигательных и фугасных бомб. В морях корабли охотятся друг за другом и топят друг друга.

Продовольственные нормы сократились настолько, что из-за недоедания тысячи детей гибнут от малейшей болячки или на всю жизнь остаются калеками. Люди отнюдь не бедные — и те ходят дома в пальто: нет ни угля, ни дров.

¹ Названа так в честь Эрнеста, герцога Баварского, принявшего духовный сан и бывшего в 1581—1584 гг. епископом Льежским.

И все-таки каждый как ни в чем не бывало устраивает свои дела, обмозговывает свои повседневные заботы

Быть может, когда ты вырастешь, об этой войне будут говорить как о самой грандиозной в истории человечества (вечно так говорят, а потом ухитряются учинить нечто еще похлеще).

Сегодня мы в Фонтене.

Может быть, завтра нас вышлют отсюда в Бельгию, в Польшу, в Африку. Дадут двадцать четыре часа на сборы, разрешат взять пятьдесят килограммов багажа, и все, что стоило нам таких усилий, останется позади.

Целые народы перегоняют с места на место. Людей тасуют по расовому признаку. Одних отправляют сюда, других — туда на том основании, что они, мол, евреи или коммунисты.

Не исключено, что скоро белокурых будут селить с белокурыми, черноглазых — с черноглазыми, высоких отдельно, коротышек опять-таки отдельно.

Неслыханно! Бедная моя мама двадцать лет страдала, думая о возможной войне. Она пережила их две. И это еще не конец. И ничего не меняется.

Держу пари: спроси кто-нибудь у моей матери, какой день был самым тяжелым в ее жизни, она не назовет ни август 1914 года, ни дату прошлогодней бомбежки, когда разнесло ее дом, ни даже смерть отца.

Самое тяжелое ее воспоминание — это воскресенье, о котором я веду речь. Квартирка над лавкой Сесьона. По улице шествуют ряженые. Комната набита родственниками: сестры, невестки, братья, девери наклоняются над моей кроватью. Валери притулилась в углу.

Наконец появляется моя бабка — для такого случая она снизошла до того, что перешла мосты. Все смолкают. У бабки каменное лицо. Она брезгливо осматривает ребенка.

Наконец пугающе спокойный голос изрекает неподлежащий обжалованию приговор:

— Экий урод!

Все молчат. Мама в постели не смеет даже заплакать.

А бабка Сименон авторитетно — сама тринадцать человек детей родила! — добавляет:

— Весь зеленый!

Итак, объявлена другая война, беспощадная, но без убитых, без знамен, без музыки и лавров.



В сером платье и при медальоне, в серых перчатках, в капоре бабка — мать тринадцати детей — перешла мосты, чтобы увидеть сына чужачки, хлипкой растрепанной девчонки, бесприданницы, родом с другого берега Мааса, и даже не из Льежа, да еще говорящей со своими сестрицами на непонятном языке.

Как смеет эта самая Анриетта занимать, хотя бы только по утрам в воскресенье, место в кухне на улице Пюи-ан-Сок?

В пять лет, когда умер ее отец, она ни слова не знала по-французски.

На каком же языке она говорила? Да ни на каком. Фамилия ее отца Брюль, родился он в Херцогенрате, в Германии, почти на самой границе. Ее мать звали Лойенс ван де Веерт, она родилась в Голландии, тоже где-то на границе. На границе, где сходятся Голландия, Германия и Бельгия, где один и тот же дом стоит на землях двух стран, а из окна его, по ту сторону Мааса, виднеются земли третьей.

Дом ее родителей так и стоял на стыке бельгийского и голландского Лимбурга; она говорила на смеси всех наречий.

Сименоны — шляпные мастера. Кретьен Сименон поехал по Европе подмастерьем, а теперь он — коммерсант, и его лавка — неотъемлемая принадлежность улицы Пюи-ан-Сок. А шахтер — чем не ремесло?

Люди они крепкие, из народа. Небогаты? Что ж, на жизнь хватает, а Дезире даже выбился в люди умственного труда. Живут по ту сторону Мааса, любят говорить по-валлонски. Сименоны — люди негордые. Зато уж гордецов не терпят.

А эта девчонка Анриетта, кто она такая? Простая продавщица, а нос задирает, двух шагов от дома не сдает, не напялив шляпки да перчаток.

Ее братья и сестры — все зажиточные торговцы. Один живет в Хасселте, другой — в Сен-Леонаре, а муж Марты Вермейрен — один из самых богатых бакалейщиков в городе.

Но эти люди — не из их квартала. Такие где угодно пристроятся, хоть за границей, и будут благоденствовать, говорить между собой по-фламандски и еду готовить по-своему.

Мамаша Сименон предупреждала Дезире:

— Если хочешь, женись на ней. Но посмотришь, чем она будет тебя кормить.

Что за человек был этот Брюль, которого никто не знал и даже Анриетта почти не помнит?

Бургомистр Херцогенрата, он перебрался в самую низменную часть Лимбурга, в Нериттер, и завел ферму.

Почему ему там не сиделось? Зачем он с тринадцатью детьми (у него тоже было тринадцать детей) переселился в Херстал и принялся торговать лесом?

Сименоны не из тех, кто скачет с места на место и кидается от ремесла к ремеслу. Перемены вообще кажутся им подозрительными. За что взялся, того и держись, будь ты чиновник, столяр или шляпник, бедняк или богач.

Семейство Брюлей в Херстале разбогатело. Было у них чуть не четыре баржи, возивших по каналу лес, а в конюшне полно лошадей. Старший сын Альберт участвовал в дворянских охотах. А в это самое время его брат, сорвиголова Леопольд, работал в Спа официантом в кафе.

Уж официантов-то среди Сименонов не бывало!

Да и пьяниц тоже! А вот Брюль-отец пристрастился к спиртному. И в один прекрасный день спьяну поручился по векселю друга.

Через три месяца все пошло с молотка — и баржи, и лошади, все вплоть до барашка — живой игрушки моей мамы.

Но и тут они остались такими же гордецами. Пустые кастрюли на огонь ставили, чтобы пустить людям пыль в глаза. Может быть, и маргарин вместо масла покупали!

А все эти надутые братья и сестры, помогли они Анриетте, тринадцатой, младшенькой, когда она осиротела? Может, приданое ей собрали, с чем замуж выйти?

Куда там! Ее братец Альберт — он человек заметный в торговле лесом и фуражом, женат на аристократке! — этот самый Альберт забрал у нее даже остатки старинной фамильной мебели, а ей взамен отдал убогую дешевку.

— Я вам говорю, он весь зеленый! Если хотите меня послушать, бегите скорей за доктором!

Затем мамаша Сименон на несколько минут присаживается — пусть никто не скажет, что она в гостях у невестки даже не присела! От пудинга, оставшегося с

обеда, она отказалась. Когда сын выходит на лестницу ее проводить, мать вздыхает:

— Бедняга Дезире! Что-то у меня душа не на месте...

В пять, когда карнавал уже разгулялся в полную силу и улица Леопольда вся расцвечена конфетти, а деревянные трубы и дудки надсаживаются что есть мочи, доктор Ван дер Донк ставит на стол свой чемоданчик и начинает меня выстукивать.

У меня бронхит. Отец мечется по улицам в поисках аптеки. Мама плачет, а Валери всхлипывает, пытаюсь улыбнуться. Отец возвращается запыхавшись, в руках — пузырьки с лекарствами. Он обходит молчанием визит свекрови — как-никак сам с улицы Пюи-ан-Сок.

Он хочет поставить воду на плиту.

— Оставь! Валери все сделает.

Мой отец не знает, куда себя деть — в нем же метр восемьдесят пять росту.

3

*11 декабря 1940 года,
Фонтене-ле-Конт*

Утро, двадцать минут девятого. Соседка и не глядя на часы могла бы назвать точное время: лавочники, отпирающие свои лавки, знают наверняка, в срок они отодвигают засовы или с опозданием: долговязый Дезире проходит по улице, до того ритмично переставляя длинные ноги, словно мерит ими бег времени. По дороге он ни разу не остановится. Ни люди, ни предметы его как будто не интересуют, но с лица не сходит лучезарная улыбка. Он воспринимает, улавливает все: чуть слышные запахи, малейшее изменение влажности в воздухе, дальние звуки, движущиеся пятна солнца на тротуаре. Даже вкус у папиросы, которую он курит каждое утро, день ото дня меняется, хотя это всегда один и тот же сорт — папиросы «Луксор» с пробочным фильтром.

Одет он в пиджак, наглухо застегнутый на четыре пуговицы, очень длинный, совершенно неприталенный. Материал черный или темно-серый. Красивые карие блестящие глаза, крупный нос, вздернутый, как у Сирано ¹,

¹ Имеется в виду Сирано де Бержерак (1619—1655), французский писатель, герой одноименной пьесы (1898) Эдмона Ростана (1868—1918).

и закрученные вверх усы. Он носит узкую бородку, волосы откидывает назад, и лоб из-за начинающих залысин кажется выше.

— Это лоб поэта! — говорит мама.

Она сама выбирает ему галстуки. Яркие цвета вызывают у него отвращение: это вульгарно. Изысканны только оттенки сиреневого, фиолетового, бордового, мышино-серого с мелким рисунком, в чуть заметных узорах.

Когда галстук куплен — по одному на каждый день рождения отца — его натягивают на целлулоидный каркас, и отныне он всегда будет как новенький, словно вырезан из жести или просто нарисован на крахмальной манишке.

Дезире неизменно приходит на улицу Пюи-ан-Сок к тому часу, когда торговцы раскладывают товар и, не жалея воды, моют тротуар у входа в свои магазины. Мой дед стоит на пороге шляпной лавки, в руке — пенковая трубка.

— Доброе утро, отец.

— Доброе утро, сын.

Говорить им не о чем, но Дезире непременно постоит минутку рядом с Кретьеном Сименоном. Их знает вся улица. Всем известно, что Дезире больше не живет на улице Пюи-ан-Сок, что он женат и служит где-то в районе улицы Гийомен. Все одобряют его за то, что он зимой и летом каждое утро навещает родителей.

— Пойду поздороваюсь с мамой...

Соседняя лавчонка называется «Кукольная больница». В витрине полно кукол всех размеров. Старый Кранц курит немецкую фарфоровую трубку; он тоже, как старик Сименон, стоит на пороге.

По утрам эти старики смахивают на двух мальчишек, собирающихся в школу. Дезире уже вошел в дом — значит, пора.

Утюги уже греются, шляпы ждут. У Кранца сладко пахнет разведенным клеем и на рабочем столе громоздятся кукольные руки, ноги, головы. В дверях, в доме напротив, вытирая о передник белые руки, появляется булочник. Он щурится на солнце.

Дезире затворяет за собой застекленную дверь кухни. Мать одна; он ее целует, она его — нет. Она не целует

никого со дня смерти дочки, той самой, чей портрет носит в золотом медальоне.

Несмотря на ранний час, волосы у матери аккуратно причесаны и забраны назад; в ситцевом клетчатом переднике вид у нее такой же опрятный, как в выходном платье. Она умеет не терять невозмутимости и достоинства ни за чисткой овощей, ни за мытьем посуды, ни по пятницам, когда наводит блеск на медные кастрюли. И на кухне, где толчется столько народу и выросло столько детей, всегда образцовый порядок.

Папаша, воспользовавшись приходом внука, поднялся с кресла и улизнул во двор. Слепота не мешает ему расхаживать по дому и окрестным улицам, где все узнают его, как узнавали бы старого домашнего пса.

— Как вкусно пахнет! — роняет Дезире.

Пахнет действительно вкусно, а Дезире — изрядный лакомка, но кроме того ему еще хочется доставить матери удовольствие.

Бульон уже на огне. Он каждое утро стоит на огне еще до того, как поднимется семья.

Печь была сложена для Сименонов по особому заказу в те времена, когда в доме было тринадцать детей, тринадцать ненасытных утроб, — в этой семье каждый, распахивая дверь на кухню, выпускал, как боевой клич, громовое: «Есть хочу!»

Хотели есть в любое время — в десять утра, в четыре пополудни, — и каждый в начале трапезы отрезал и клал возле своей тарелки пять-шесть ломтей хлеба.

В плите есть духовки с поворотными противнями — там можно печь пироги диаметром в полметра.

С утра до вечера поет чайник, рядом с ним — белый эмалированный кофейник в синих цветах, с носиком, от которого с незапамятных времен отбит кусочек.

— Хочешь чашку бульона?

— Да нет, мама...

— «Да нет» значит «да».

Дезире только что позавтракал яйцами и шпиком. Тем не менее, сдвинув шляпу на затылок, он принимается за бульон, потом съедает кусок пирога, который оставили для него с вечера.

Мать не садится. Она вообще никогда не присаживается к столу — ест стоя, между делом.

— Что сказал доктор?

По звуку ее голоса сразу ясно, что нечего и пытаться схитрить.

— Молоко жидковато.

— Ну, кто был прав?

— Она всю ночь проплакала.

— Я так и знала, что она слабенькая. Сам видишь.

Часы... Дезире то и дело поглядывает на стрелки. Время его рассчитано до минуты. Ровно без четверти девять ему нужно перейти через Новый мост — там пневматические часы, они на две минуты спешат. Без пяти девять он на перекрестке бульваров Пьерко и Д'Авруа, без двух — в своей конторе на улице Гийомен, за две минуты до остальных служащих, к приходу которых должен отпереть дверь.

— Что ты вчера ел?

По правде сказать, верзила Дезире предпочитает разварное мясо, жареную картошку, горошек и засахаренную морковь. А его жена-фламандка любит только жирную свинину, тушенную с овощами, салат из сырой капусты, копченую селедку, острые сыры и шпик.

— Умеет она хоть картошку-то жарить!

— Уверяю вас, мама...

Ему совсем не хочется огорчать мать, но он с удовольствием ответил бы, что Анриетта жарит картошку ничуть не хуже, чем...

— Ты не принес воротнички?

Забыл. Раз в неделю женатые сыновья приносят матери пристежные воротнички, манжеты и манишки, потому что она одна умеет их отгладить. Никто не готовит так, как она, сосиски и домашнюю колбасу, рождественский гречишный пирог и новогодние вафли.

— Не забудь, принеси завтра... Еще бульону? Настоящий, твой бульон.

В налете, покрывающем стекла, — глазки, процарапанные ногтями детей. Сквозь них виднеется двор, лестница наверх. Над магазином живет беднота — женщины, вечно в черных шaliaх и без шляпок, в туфлях со сбитыми каблуками и с сумками в руках.

Направо — колонка, и когда качают воду, она шумит так, что за три дома слышно. Водосток, всегда влажный, с зеленоватой слизью по краям, похож на бычью морду.

Там же оцинкованная труба. Время от времени из нее что-то сочится, а потом она внезапно изрыгает целый

поток грязной, дурно пахнувшей воды — помой от жильцов сверху.

И наконец, подвал. В него ведут каменные ступени. Сверху отверстие накрыто дощатым щитом, который обит железом. Чтобы спуститься в подвал, этот тяжеленный щит, метра два длиной, каждый раз приходится убирать. Его сделали, когда дети еще были маленькие — они то и дело грохались в подвал.

Кто успел там побывать сегодня утром? Щит отодвинут, и Дезире видит, как из подвала выныривает Папаша, пытаясь незаметно скользнуть в коридор, ведущий на улицу.

Но мать заметила его одновременно с Дезире. Она все видит и слышит. Ей известно даже, что едят верхние жильцы, — для этого ей стоит только посмотреть на грязную воду, вытекающую из трубы.

— Папаша! Папаша!

Он притворяется, что не слышит. Сгорбившись, с бесильно опущенными руками, он пытается удрать, но она настигает его в узком коридоре.

— Зачем это вы лазили в подвал? Покажите руки.

Она почти силой разжимает его огромные лапы, которые переворочали в шахтах столько угля, что стали похожи на старые обушки¹.

Разумеется, в одной руке зажата луковица, большущая красная луковица, — прогуливаясь, Папаша сжевал бы ее как яблоко.

— Вы же знаете, вам это вредно. Идите!.. Нет, стойте, вы забыли повязать платок.

И прежде чем отпустить его, она повязывает ему красный шейный платок.

А Дезире покуда, стоя посреди кухни, ставит свои часы по большим, настенным. Он занимается этим каждое утро. Сейчас придет его брат Люсьен и сделает то же самое. Потом Артюр. Дети ушли из дому, но помнят, что медные часы на кухне — самые точные на свете.

Когда-нибудь они достанутся Дезире. Это решилось давным-давно, целую вечность тому назад. В доме мало ценных вещей, но все они уже поделены.

— Уходишь?

— Пора.

¹ О б у ш о к — шахтерская кирка.

— Ну, вот что...

Она произносит эти слова, как будто подытоживая долгий разговор.

— Ну, вот что... Если ей что-нибудь надо...

Она нечасто называет имена невесток.

Мать мешает кочергой в печке. Дезире выходит на улицу, набирает обычный темп и закуривает вторую папиросу.

И никогда, до самой смерти матери, не пропустит он ежедневного визита на улицу Пюи-ан-Сок. Ни он, ни Люсьен, ни Артур. Один Гийом, старший, оказался перебежчиком — у него торговля зонтами в Брюсселе.

С тех пор как уехал Гийом, на улице Пюи-ан-Сок Дезире считают за старшего.

Дезире — самый умный, самый ученый. По курсу классической школы дошел до второго класса¹. Пишет деловые письма для братьев и сестер, бывает, и для соседей. Работает в страховой компании — может дать полезный совет.

На улице Гийомен с ним тоже считаются — он старший среди служащих, хоть и молод. Его превосходство неоспоримо — недаром у него ключ от конторы.

Хозяин, господин Майер, живет на улице Гийомен, в большом унылом особняке из тесаного камня. Контора помещается во флигеле и выходит на улицу Соз. Между двумя зданиями разбит сад.

Господин Майер болеет. Он всю жизнь только и делает, что болеет. У него такой же унылый вид, как и у его матери, живущей вместе с ним и наводящей ужас — бывают же совпадения! — на продавщиц магазина «Новинка», куда она заглядывает каждый день.

Господин Майер приобрел пакет акций страховой компании, чтобы казаться при деле. Дезире работал в компании еще до него.

Два зарешеченных окна с видом на тихую площадь Соз. Дверь, обитая крупными гвоздями.

Распахивая ее без двух минут девять, Дезире, надо думать, чувствует прилив горделивого удовлетворения

¹ То есть предпоследнего: отсчет классов во франкоязычных странах идет от большего к меньшему.

и вообще становится немножко другим человеком, приобретает значительность, важность — ведь работа в конторе длится девять часов в день, и для него это отнюдь не лямка, которую надо тянуть, не отбывание повинности, не корпение ради куска хлеба, а нечто совсем иное.

Дезире вошел в помещение с зарешеченными окнами, когда ему исполнилось семнадцать и он только что покинул коллеж. Там он и умер один перед окошечком, когда ему было всего сорок пять.

Пространство, отведенное для посетителей, отделено перегородкой, как на почте, и оказавшись по другую сторону этой перегородки, уже испытываешь приятное чувство. Зеленые непрозрачные стекла в окнах создают совершенно особенную, ни с чем не сравнимую атмосферу. Еще не сняв пальто и шляпы, Дезире бросается заводить стенные часы — он не выносит, когда часы стоят.

Любую работу он выполняет тщательно и с одинаковым удовольствием. Руки перед умывальником за дверью моет радостно, с наслаждением. А какая радость — снимать чехол с пишущей машинки, раскладывать резинку, карандаши, чистую бумагу!

— Доброе утро, господин Сименон.

— Доброе утро, господин Лардан. Доброе утро, господин Лодеман.

Все служащие агентства обращаются друг к другу уважительно: «Господин такой-то». Только мой отец и Вердые по старой памяти называют друг друга просто по имени: они начинали вместе с разницей в какие-нибудь три дня.

Тут мы коснулись трагических событий, на которые моя мама не устанет намекать всю жизнь, попрекая отца отсутствием инициативы.

«Всё, как тогда...»

На моей памяти все попреки начинались с этих трех слов, суливших в дальнейшем потоки слез и приступы мигрени.

— Все, как тогда, когда тебе надо было выбрать между страхованием от пожара и страхованием жизни...

Что побудило отца склониться в пользу пожаров? Неужели привязанность к уголку у окна с зелеными стеклами?

Очень может быть. Во всяком случае, не исключено.

В ту пору, когда господин Майер приобрел пакет



акций, мой отец зарабатывал сто пятьдесят франков в месяц, а Вердье только сто сорок.

— Я не прибавляю вам жалованья, но буду платить проценты от каждой сделки, которую вы заключите. Один из вас займется страхованием от пожара, другой — страхованием жизни. Вы старше, господин Сименон, вам и выбирать.

Отец выбрал страхование от пожара — спокойное занятие, редкие визиты к клиентам.

А в это время страхование жизни вдруг приобрело невиданный раньше размах.

Внешне все по-прежнему. В девять мой отец входит в контору господина Майера. Ключ у него. Он остается доверенным служащим, знает шифр от сейфа, который сам и запирает по вечерам.

А Вердье — обычный служащий, пошловатый, шумливый балагур. Он частенько ошибается в расчетах. Еще чаще ему приходится просить совета у других.

Но Вердье получает сверх оклада до трех сотен франков в месяц, а мой отец не больше пятидесяти.

Мама возмущается:

— Не понимаю! Такой пошляк, и глупей тебя, и образование так себе, а вот...

Отец все так же безмятежен.

— Тем лучше для него! Разве нам на жизнь не хватает?

— Говорят, он пьет...

— Что вне стен конторы, то меня не касается.

Я убежден, что контора для моего отца всегда звучит с большой буквы. Он любит огромные конторские книги и когда, легонько шевеля губами и водя пальцем по колонкам цифр, производит подсчеты, глаза его теплеют. Считает он, по мнению сослуживцев, с нечеловеческой быстротой.

Кроме того уверяют, что он никогда не ошибается. И это не пустые слова, а дань восхищения.

— Ну, Сименону счетные таблицы ни к чему!

Мой отец в сорок лет радовался всякий раз, когда отпирал дверь конторы и открывал свой грессбух.

— Скажите, господин Сименон, допустим, я увеличу на пятьдесят тысяч франков страховую сумму и построю гараж со складом горючего...

Я думаю, в такие минуты его ощущения были сродни

радости записного краснбая, которого попросили что-нибудь рассказать. Секунда, не больше, на размышление — легко, с улыбкой, ни клочка бумаги, ни счетов — ничего.

Затем уверенным голосом называется цифра. И можете проверять сколько угодно — все окажется верно, с точностью до сантима.

Вот потому-то, мой милый Марк, твой бедный дед был счастливым человеком. Счастливым в семье, которую он считал как раз по себе; на улицах, где никому не завидовал; на службе, где чувствовал себя первым.

Думаю, что каждый день приносил ему часа полтора полного счастья. Это начиналось в полдень, когда Вердье, Лардан и Лодеман разлетались, как голуби, выпущенные на волю.

Отец оставался один, потому что контора работала без перерыва с девяти утра до шести вечера.

Он сам выговорил себе это дежурство, которое вполне мог доверить другому.

Посетители приходили не так уж часто. И контора принадлежала ему одному. У него в пакетике был намотый кофе. Он ставил воду на печку.

Потом у себя в углу, подстелив газету, неторопливо съедал бутерброд, запивая кофе.

Вместо десерта — работа потруднее или пощекотливей, требующая спокойствия. Я часто заходил к нему в это время, чтобы попросить денег по секрету от мамы, и видел, что он даже снимал пиджак. Так, в одной рубашке, он чувствовал себя совсем как дома!

В половине второго его ждало еще одно изысканное удовольствие. Сослуживцы возвращались на работу — наевшиеся, вялые. Теперь и он шел навстречу потоку служащих, спешивших с перерыва. Шел домой, где на конце стола его поджидал особый завтрак, который готовили для него одного, с непременно сладким блюдом.

И когда он возвращался обратно, на улицах уже не было служилого люда. Те, кто сидит в конторах, не знают, как выглядит город в три часа пополудни, и я уверен, что в это время улицы нравились моему отцу больше всего.

Что до меня, то несмотря на мамины слезы, — в том, что молоко у нее недостаточно жирное, она винила

себя, — доктор Ван дер Донк прописал мне детское питание «Сокслет».

Дом на улице Леопольда был холодный, квартира темноватая. Жить на большой торговой улице — значит, в сущности, не жить нигде. В нашем квартале вне магазинов не было никаких отношений между людьми. Что общего у молодой семьи служащего Сименона с третьего этажа, у четы рантье со второго и Сесьонов с первого? А обитателей соседних домов вообще никто не знал.

Здесь поселяются случайно, не навсегда, либо за неимением лучшего, либо поближе к работе. Целыми днями — гроыхание трамваев и безымянная толпа на тротуарах.

Я все время болел. Вечно был «зеленый», по выражению моей бабки. Все, что съедал, тут же из меня извергалось. Я не спал и плакал.

А маме некуда было деваться, чтобы успокоить нервы, — она же не ходила в контору. У нее не было никакой отдушины, никакого просвета на горизонте.

Сестры ее тоже были слишком заняты, чтобы ее навещать. Невесткам не было до нее никакого дела. Валери и Мария Дебёр по десять часов в день проводили в «Новинке».

В те времена еще не было складных детских колясок. Мой экипаж стоял на первом этаже под лестницей, и чтобы спуститься в погреб, приходилось всякий раз его отодвигать.

У госпожи Сесьон не хватало духу высказать свое недовольствие маме, отцу — тем более; она побаивалась его — вероятно, за высокий рост.

Но раза два-три в день в коридоре раздавался ее вопль:

— Опять эта коляска! Надоело! Повернуться из-за нее негде, а им хоть бы что.

Мама приоткрывала дверь, выслушивала, потом ударялась в слезы. Пухленькая, белокурая, кудрявая, мама напоминала поющего ангела у ван Эйков¹. Но вся была сплошной комок нервов.

— Послушай, Дезире, нам просто необходимо...

¹ Имеется в виду одна из фигур так называемого «Гентского алтаря», запрестольного складня в церкви святого Бавона в Генте (Бельгия), состоящего из ряда картин и созданного нидерландскими художниками Хубертом (ок. 1370—1426) и Яном (ок. 1390—1441) ван Эйками.

Отец, сидевший с вытянутыми ногами у огня, не замечал, что я «зеленый». По вечерам на улице Леопольда бывало не так шумно. Про громохание трамваев он говорил:

— Так даже веселей.

А про госпожу Сесьон:

— Пускай себе кричит. Тебе-то что?

Переехать в другой дом, в другой квартал, сменить обстановку, зажить по-новому — без этих витрин, без полицейского, вечно торчащего на одном и том же месте в одни и те же часы...

А он был привязан к коричневому пятну на обоях, и к царапине на дверях, и к солнечному зайчику, который дрожал на мраморе умывальника, когда он брился по утрам.

— Почему ты думаешь, что в другом месте нам будет лучше?

— Ты настоящий Сименон, — огрызалась мама.

Знаешь, малыш, у тебя уже сейчас проглядывает та же привязанность к окружающей обстановке, что и у твоего деда!

Чтобы ему со своим небольшим семейством перебраться через мост и поселиться на улице Пастера (расстояние в какой-нибудь километр!), твоей бабке пришлось, катя перед собой мою бордовую коляску (цвет бордо — сама изысканность!), пуститься на свой страх и риск на поиски новой квартиры.

Иначе все осталось бы по-прежнему.

Такой совет дала маме, конечно, не Валери. Она трепетала перед моим отцом — мужчиной, главой семьи. Когда мама позволяла себе выпад — даже самые невинные — по адресу мужа, Валери сразу пугалась:

— Господи, Анриетта, как ты можешь!

Слыханное ли дело? Заполучить мужа, такого мужа, он снизошел до тебя, а ты смеешь...

— Господи, Анриетта!

Совет наверняка дала Мария Дебёр, которая потом поступила к «Меньшим сестрам бедняков», — я видел ее в Баварской больнице, где она, с чепчиком на голове, переворачивала здоровенных больных на койках, как блинчики на сковородке.

— Надо поставить Дезире перед совершившимся фактом!

В этот вечер, поджидая отца у приоткрытой двери, мама трепетала и даже заранее всплакнула. И вот мерные шаги отца — нарушить их ритм окажется под силу только грудной жабе.

— Слушай, Дезире... Только не сердись. Я сняла...

Все это она выпалила одним духом и теперь не знает, что и подумать: отец не отвечает, даже бровью не ведет. Просто целует меня в моей кровати.

— Ты рассердился?

— А где это? — бесхитростно спрашивает он.

Она еще не поняла, что для него главное — не принимать решений, не брать на себя ответственность за мало-мальски серьезные изменения в судьбе. Когда тот, кто насылает столько несчастий на наш многострадальный мир, забывает о тебе и твоём уголке, к чему его провоцировать, лишний раз мозолить ему глаза, вопить: «Эй! Вот он я!»?

— На улице Пастера.

Отец довольствуется тем, что мысленно пробегает путь от улицы Пастера до улицы Пюи-ан-Сок. Получается еще ближе, чем от улицы Леопольда. И кстати, это по ту сторону Мааса, там уже приход святого Николая.

— Ты умница. Только придется предупредить госпожу Сесьон.

— Я уже... Она сегодня днем опять раскричалась из-за коляски, я и воспользовалась случаем.

— Тогда все в порядке.

И чтобы меня позабавить, он принимается изображать барабанщика.

4

*12 декабря 1940 года,
Фонтене-ле-Конт*

Утром в воскресенье, мой милый Марк, мы с тобой взялись за руки и пошли гулять по тихим улицам городка.

Интересно, замечаешь ли ты все картинки провинциального воскресного утра?

Не все ли равно! Поразительно вот что: мы с твоей мамой заранее любовно позаботились о том, чтобы ты впервые посмотрел на мир и первые свои впечатления получил в такой обстановке, какую мы с ней задумали. Мы-

то оба впервые открыли глаза в мрачных городских предместьях. И мы поклялись, что твои ранние воспоминания будут иными, чем наши.

Мотаясь двадцать лет по свету, по морям и столичным городам, по степям и девственным лесам, мы сочинили себе — не смейся! — *дом, где мы хотели бы родиться.*

Хотя бы тетушкин или бабушкин дом, куда можно приходиться по воскресеньям и четвергам или приезжать на каникулы.

Этот дом должен быть обязательно деревенским. Не замок, само собой, — это безумие нас миновало. Но пусть это будет настоящий дом, так сказать, самодостаточный: дом, где в шкафах полно еды, с огородом, с фруктовым садом, с чердаком, где, благоухая, медленно сохнут яблоки, с белоснежным постельным бельем в комодах, со стуком лопат в саду и шорохом грабель по гравию дорожек, с поливальной установкой на лужайке, и чтобы сопла поворачивались сами, и вода била во все стороны, радугой сверкая на солнце.

Все, о чем мы, городские мальчишка и девчонка, узнавали только понаслышке либо во время слишком коротких каникул: своя корова; масло, которое каждое утро сбивают в маслобойке; курятник с петухом, который будит тебя на рассвете; грозди мелкой красной смородины; виноград, вьющийся по стене, — его окуривают купоросом, и от этого известковая побелка местами посинела; скрипучая лестница; грушевое дерево, с которого можно сорвать грушу прямо через окно; два дрозда на заднем дворике — всегда одни и те же, и каменный стол под липой, за которым завтракает семья...

В глубине сада — ручей, а в нем, в ямках, живут угри. Два-три мостика, крошечный лесок — в нем я построил же тебе хижину из жердей для игры в трапперов¹.

Тут же ферма, как раз по тебе: барашек, козочка, пони. И все чистенькое, щегольское, как в Трианоне² или у графини де Сегюр³.

¹ Траппер (англ.) — охотник на пушного зверя в Сев. Америке, пользующийся чаще всего западнями.

² Два замка Большой Трианон и Малый Трианон в Версале.

³ Сегюр Софья Федоровна, графиня де (1799—1874) — французская писательница, русская по происхождению, автор нравоучительных повестей для детей.

...Бельевая, а в ней — белобрысая девушка: она бы обшивала тебя с утра до вечера и...

И все это осуществилось, за исключением каких-нибудь пустяков, была даже хижина в километре от нас, на скалистом берегу Атлантического океана — в этой хижине я не успел достроить только крышу.

Целый год ты, несмышлениш, жил, помещенный в эту рамку, и, еще не умея ходить, уже срывал травинки и протягивал их курам.

Тебя ждал еще другой дом — он ждет тебя и сейчас — на красивейшем из островов Средиземного моря. Пляж с тончайшим песком; вода так прозрачна, что видно метров на десять в глубину; лодки — мы бы выкрасили их в самые яркие цвета. Остров называется Поркероль. Он попал в так называемую свободную зону, и путь нам в нее заказан. Франция разделена сейчас на две части.

Что касается нашего дома в Ниёле, который мы устроили по образу и подобию «дома, где нам хотелось бы прожить детство», — он здесь, километрах в пятидесяти от нас, точно такой, как я его тебе описал. В нем живут немецкие солдаты, а мы не имеем права и носа туда показывать.

И вот ты здесь — на такой же набережной, какие были в нашем детстве, в доме, похожем на те ненавистные нам с мамой дома, каких мы изо всех сил стремились избежать.

Люди, построившие этот дом и населявшие его до нас, и думать не думали жить в свое удовольствие, жить потому, что жизнь прекрасна, жить с легкой душой, в мире гармонии, в кругу тех, кого любишь.

Крыльцо в четыре ступеньки понадобилось им не оттого, что у земли сыро, а оттого, что так роскошней. Двери слишком высоки по отношению к комнатам, потому что высокие двери тоже признак роскоши. Есть и гостиная, ею, правда, не пользуются, но в доме нужна гостиная. Есть и малая гостиная — будуар: это в иерархии социальных ценностей уже верх благополучия. В доме центральное отопление, но по комнатам натянуты декоративные каминные решетки, где, несмотря на медную решетку для дров, невозможно разжечь огонь. Рамы — подделка под резное дерево, лепка — подделка под камень. Линолеум «под паркет», электрические лампочки в форме свечей.

У нас в детстве все было беднее и так же безобразно, может, чуть-чуть получше, именно потому, что беднее. Но все принадлежало к тому же миру мелкой сошки — в иерархии этого мира есть множество ступеней, — к миру, повторяю, мелкой сошки, людей, которых заставляют питаться подделками — и духовно, и физически.

И подумай только, разве не поразительно, что именно в тот момент, когда жизнь открылась твоим глазам, события, не имеющие к нам отношения, переносят тебя в точно такую обстановку, какая была перед глазами твоих мамы с папой в их первые дни?

А наша утренняя воскресная прогулка! Ведь точно так же, еще нетвердо держась на ногах, гулял я каждое воскресенье с верзилкой Дезире, и он, усаживая меня на банкетку в кафе «Ренессанс», гордился не меньше, чем я теперь.

Мне, правда, неизвестно, когда свершится чудо и без всякой видимой причины действительность вдруг перестанет мелькать перед тобой в виде неустойчивых мимолетных образов. В какую минуту или даже секунду кусочек этой действительности укоренится в твоей памяти, чтобы остаться там навсегда?

Чему суждено стать твоим первым воспоминанием, малыш Марк? Может, это случилось вчера? Или только что, когда ты, как великую драгоценность, посадил на палочку оцепеневшую зимнюю муху? А может, завтра?..

Я знаю, что было моим первым воспоминанием, — мне тогда еще не исполнилось двух, как тебе сейчас.

Сименоны — Дезире, Анриетта и я — жили на улице Пастера. Дом был новенький, из нарядного красного кирпича, и тесаный камень вокруг окон еще не потемнел. Мы занимали две большие комнаты на третьем этаже, светлые, с отличной вентиляцией, а кухня наша выходила, как у нас говорили, «на зады».

Квартал был из новых. Между церковью святого Николая и Баварской больницей не было ни одного здания старше двадцати лет.

В центре квартала — площадь Конгресса, обширная, обсаженная вязами. От нее лучами расходились широкие улицы с просторными тротуарами. На улицах было

так спокойно, что между булыжников пробивалась трава. А тротуары, не знавшие толчеи, были истинным продолжением домов — настолько, что по субботам хозяйки терли их метелками из пырея.

Заметь, что мы хоть и жили в этом квартале, еще не были там вполне своими, — сейчас поймешь почему. На улице Леопольда нам сдавали «ничью» квартиру — просто осталось немного пространства, не занятого под торговые заведения, и надо было как-то его использовать. Мы жили обособленно и если бы не переехали, то понятия не имею, с кем бы я там играл.

На улице Пастера мы, напротив, оказались обитателями определенного квартала, что в условиях Льежа почти неизбежно означает — жителями третьего этажа.

И то еще случай помог. Большинство домов на нашей улице и вокруг было построено для определенных хозяев, по их вкусам и потребностям, чтобы они могли здесь прожить всю жизнь и умереть.

Почти все дома были двухэтажные. Некоторые с балконом. Самые богатые, например для мирового судьи, — с застекленной лоджией. Это высший шик — чтобы жителям буржуа было где посидеть вечером за шитьем или вышиванием, видя все, что делается на улице.

Однако некоторые домовладельцы пожелали добавить третий этаж — только непонятно было, что с ним делать. Вот так мои родители и сняли эти две комнаты на третьем этаже на улице Пастера. Не знаю, чувствуешь ли ты этот оттенок. На первый взгляд — не все ли равно, какой этаж. А ведь одно это способно изменить всю атмосферу детства.

Я сидел на полу между ножками перевернутого табурета, тяжелого деревянного табурета, мама чистила его с песком, и немного песка всегда приставало к дереву. Пол тоже оттирали песком. Как только мне в руки попадал гвоздик, заколка для волос, кусочек спички, я принимался часами выковыривать песок из щелей в полу, где он застывал, как замазка.

Окно было широко распахнуто, небо голубое. Мама гладила. Стук утюга, приглушенный тканью, ни с чем не сравнимый запах шипящего под утюгом влажного полотна...

В промежутках — другой шум, оглушительный, но все к нему настолько привыкли, что не замечают, позади нашего дома, в мастерской Кентена, молот бьет по железу.

Без четверти десять и без четверти три — взрыв пронзительных звуков. Они поднимаются, опадают, снова вздымаются, как волны: это отпустили на перемену пансионеров монастырской школы, на улице Закона, метрах в ста от нас.

Мой перевернутый стул — это, конечно, не стул, а тачка, тачка зеленщика, который каждое утро проходит по нашей улице, дуя в дудку и выкликая на местном наречии что-то вроде:

— Тошка цать пять тим кило.

Это значит: «Картошка двадцать пять сантимов килограмм».

Одновременно я играю и в другую игру. Это секрет, и я не выдал бы его ни за какие блага в жизни. Я пристально смотрю в васильковую голубизну неба. Смотреть надо по-особенному, сразу не всегда получается. Но в конце концов на фоне кусочка неба появляется нечто нематериальное — бесцветные, но отчетливые очертания, удлинённые, но всегда по-разному, и кольчатые, как дождевые черви. Они поднимаются, чертят зигзаги. Изредка на мгновение останавливаются, потом выходят из поля моего зрения. Долгое время я считал, что это ангелы.

А над красной черепичной крышей встает дрожащий пар, начинается неопишемое движение, приводящее меня в экстаз, и я таращу глаза, и в результате не могу разглядеть ни одного предмета, когда наконец перевожу взгляд внутрь нашей кухни.

Но самое главное, настоящее мое первое воспоминание — это мой первый друг, каменщик: я гордо зову его «мой приятель».

Рядом с нами на последнем свободном участке нашего квартала действительно строят дом. Посетив в последний раз Бельгию, я посмотрел дату его постройки: 1904 — 1905.

Что происходит внизу — не знаю: мне не разрешают высовываться из окна, да я и не могу. Шум сыплющегося песка, ломовые телеги, которые подъезжают и отъезжают, иногда ржание лошади или стук копыт, мужские голоса.

Удивительнее всего — видеть, как с каждым днем растут стены из розового кирпича и старик каменщик с лицом, розовым, как кирпичи, становится всё ближе и ближе — рукой подать. Так до сих пор и вижу натянутый шнур, корзины с кирпичами — он втаскивал их наверх на веревке, цементный раствор, сплюснутый под мастерком.

Иногда ему снизу что-то кричат. Тогда он бросает работу, достает из корзиночки, висящей на поясе, бутерброды, завернутые в клеенку, и голубую эмалированную фляжку с кофе и, царственно восседая на своей стене, свесив ноги над пропастью, неторопливо подкрепляется. При этом поглядывает на меня и порой мне подмигивает.

Можно сказать, это была полоса тети Франсуазы. Дело в том, что некоторое время мы бывали у тетки *со стороны моего отца*, как у нас говорят, а потом вдруг перестали с ней общаться и стали проводить воскресенья у другой тетки, *со стороны матери*.

Была у нас полоса тети Франсуазы, полоса тети Марты, полоса тети Мадлен, полоса тети Анны. Случались и полосы вообще без тети.

В воскресенье, сразу после завтрака, отец брал меня на руки. Связываться с коляской родители не любили — больно уж она была тяжелая. Хозяин дома, живший на первом этаже, не разрешал оставлять ее в коридоре, и маме с папой всякий раз приходилось спускать ее с третьего этажа, а потом втаскивать обратно. Коляска была маминым кошмаром — кошмаром той эпохи, потому что эпохи кошмаров менялись так же, как эпохи тетушек.

Мне ужасно нравилось смотреть на город с высоты, сидя на плечах у папы. Папе это нравилось не меньше, чем мне: он гордился мною. Мама, совсем маленькая по сравнению с нами, семенила рядом.

— Спусти его на землю, Дезире!

Я хныкал, и долговязый Дезире принимал решение:

— Когда перейдем Арочный мост.

А потом всё сначала:

— Если ты его уже сейчас избалуешь...

Бедная мама! Шесть дней в неделю она возилась со мной одна, и если я просился на руки...

Но поди уговори долговязого Дезире, который гуляет с сыном только по воскресеньям!

Мы добирались до церкви святого Дениса. Это был уже центр города. За церковью — небольшая старинная площадь, с прекрасной тенью и журчанием прохладной воды в фонтане.

Тетушка Франсуаза, старшая из дочерей Сименонов, замужем за ризничим церкви святого Дениса Шарлем Лодеманом. От него пахнет церковью, монастырем. И весь дом пропах, я бы сказал, буржуазностью, достатком, добродетелью.

Этот дом — не его. Тяжелые ворота, украшенные огромными медными молотками, — их, должно быть, чистят каждый день. Дубовые лакированные двери — ни пятнышка, ни царапинки. Фасад, чтобы его легче было содержать в чистоте, выкрашен масляной краской в кремовый цвет, который вполне гармонирует с запахом сыра.

Никто не идет открывать дверь. По звонку она растворяется сама собой, вернее, приоткрывается на несколько миллиметров, и надо ее толкнуть. За массивной дверью — пышный вестибюль: стены «под мрамор», пол вымощен серыми и голубыми плитами, как в церкви.

Дом принадлежит церковному совету. Часть дома по фасаду занята адвокатом, председателем этого совета.

Я ни разу не видел ни его самого, ни его жены, ни детей — если они у него были. Я замечал только служанку: вся в черном, она была похожа на монахиню в мирском платье.

По обе стороны вестибюля — площадка с дверьми, украшенными витражами. За дверьми — тайна: ни звука, ни голоса, ни кухонных запахов.

Тем не менее там живут.

Вторая дверь отделяет вестибюль от двора. Длинный, мощный небольшими круглыми камнями двор принадлежит монастырю бегинок. Зеленый забор огораживает часть двора, отведенную господину адвокату, который носа туда не жает.

В глубине двора направо два кокетливых белых, невероятно чистеньких домика. В одном живет привратник церкви святого Дениса господин Менар, здоровяк с пышными усами; в другом — ризничий Лодеман, мой дядюшка.

Перед тем как идти через вестибюль, мама предупреждает меня:

— Тише! Не шуми.

А отцу шепчет:

— Осторожнее с дверью.

Даже голос, обычный человеческий голос, здесь расценивается как шум и гам. И на следующий день ризничий получает от адвоката замечание в письменном виде.

Во дворе меня снова предупреждают, чтобы я не вздумал пискнуть:

— Тише!

Воздух здесь чист, как нигде. Можно подумать, всё вокруг — из фарфора.

Дядя и тетки Сименон, привыкшие на улице Пюи-ан-Сок к плебейской суматохе, сюда не ходят. Только мои мама с папой еще наведываются к Франсуазе. Она всегда в черном, с тех пор как вышла замуж.

Объятия, поцелуи. От дяди Шарля пахнет чернильницей и скукой. Он белобрысый, с волосами, как пакля, как овечья шерсть, — да, больше всего его волосы напоминают овечью шерсть; движения у него медленные, речь тоже медленная, тягучая.

На кухне, в спальне, во всем доме у них чувствуешь себя, как в церкви. И моего отца с его громовым голосом без конца приходится призывать к порядку:

— Дезире, потише!

У Лодеманов — дочка Лулу, моя кузина. Она родилась ровно за девять месяцев до меня. Мой отец — единственный, кто позволяет себе шутки на эту тему.

— Дезире, перестань!

Лулу — смешливая, бледненькая. У нее правильное личико, голубые глаза, прозрачная кожа; все детство ей придется изображать пресвятую деву во время процессий в день святого Дениса.

Хорошо бы посидеть во дворе, на солнышке, прислонясь к стене...

— Дети, вы будете паиньками? Не будете шуметь?

Усаживаемся. Мой отец откидывается назад вместе со стулом — у него слишком длинные ноги.

Мои родители принесли торт. Его съедают до начала вечерни и молебна. Первым уходит дядюшка. За ним следует господин Менар в полной парадной форме и, чтобы пройти в низенькую монастырскую дверь, ему приходится снять треуголку.

Говорят, иногда он прикладывается к бутылке. Об этом несчастье упоминают только вполголоса, за закры-

тыми дверьми. А сын привратника, пятилетний Александр, встретившись на днях с господином адвокатом, показал ему нос. И еще не известно, какие последствия...

Мы идем на молебен. Выходим из церкви.

— Да оставайтесь же, побудьте у нас!

— Мы тебя обеспокоим, Франсуаза.

Моя мама мучительно боится, как бы не обеспокоить кого-нибудь. Она и присесть не смеет иначе, как на краешек стула.

— Уверю тебя, Анриетта...

— Тогда пойдем купим чего-нибудь в колбасной у Тонгле.

— Четвертушку шпигованной печени.

Мы уносим ее на фаянсовом блюде. В другой лавочке, рядом, покупаем на пятьдесят сантимов жареной картошки, накрываем ее салфеткой. На ощупь она теплая. Теплая и жирная. Быстро идем в надвигающихся сумерках, от которых улица голубеет.

— Тише! Осторожно!

Вот и вестибюль, злосчастный вестибюль, через который надо пройти на цыпочках и который мы оскверняем запахом жареной картошки.

Тетушка накрыла стол, сварила кофе. После обеда дядя показывает фотографии — в свободное время он любит фотографировать. В будущее воскресенье он снимет нас, если погода не подведет.

Девять часов.

— Боже мой, Франсуаза, уже так поздно!

И меня, совсем сонного, теплого, взгромождают папе на плечи.

Взрослые прощаются с видом заговорщиков:

— До воскресенья!

— Приходите пораньше.

— Я принесу пирог от Бонмерсона!

— Тише! Осторожно!

Вестибюль.

— Дезире, ну что же ты...

Отец слишком громко затворил дверь.

Я покачиваюсь в вышине, с полузакрытыми глазами, и только подскакиваю, когда мимо проходит освещенный трамвай. Мама семенит за нами. Ей никак не поспеть за отцом. А он никогда не принаравливает свой шаг к шагу жены.

На улицах полным-полно таких семей, как наша, и перебрасываются они одинаковыми фразами.

— Ключ у тебя?

— У меня. Не шуми: хозяева, наверно, уже спят.

И конечно, на середине лестницы, в двух шагах от двери, за которой спят хозяева, я поднимаю рев.

— Жорж, тише... Боже мой, Дезире!..

Но вот наконец мы дома. Мама ощупью ищет спички на черном гранитном камине, снимает с лампы матовый стеклянный колпак.

А отец сбрасывает пиджак — это означает, что здесь он у себя. Но ходить все же надо потише: как раз под нами спят хозяева.

5

*21 апреля 1941 года,
Фонтене-ле-Конт, Шато де Тер-Нев*

Утром, перед уходом, Дезире без пиджака выносит мусор и приносит два-три кувшина воды. На душе у него легко: он делает все, что может и должен. Потом целует маму в лоб.

— До вечера, Анриетта.

Вскоре, вместо того чтобы называть ее по имени, он будет говорить:

— До вечера, мать.

Дело в том, что меня приучают говорить «мать» вместо «мама», «отец» вместо «папа». По вечерам, перекрестив мне лоб, как это было принято у Сименонов, когда его самого еще на свете не было, отец производит:

— Спокойной ночи, сын.

Он едва касается моей щеки темно-рыжими усами, а ведь ни один отец не любил сына больше, чем он меня.

Анриетта, сама до того чувствительная, что льет слезы по любому пустяку, часто будет упрекать его в бессердечии:

— Хоть бы раз ты сказал мне «дорогая»!

Дезире на это неспособен. Подобные выражения, на его взгляд, хороши на сцене или в романах, а в жизни неуместны.

Неужели Анриетта не видит, что его прекрасные карие глаза смотрят на нее с любовью, которая делает излишними все объяснения?

— Ты никогда не говоришь мне: «Я тебя люблю».

— Но я же на тебе женился!

И впрямь, о чем тут говорить? Он женился на ней, значит, любит и будет любить всю жизнь — нежно, тихо, преданно.

Когда мать была мною беременна, он не гнушался субботними вечерами надевать голубой передник и, опустившись на колени, мыть пол щеткой и песком.

Но если она не беременна, не больна, тут уж все наоборот. Вернувшись вечером, он роняет:

— Я проголодался.

Он ужинает. Он доволен. Снимает пиджак. Для тех, кто работает вне дома, снять пиджак — это ритуальное действие, знак того, что ты наконец-то у себя: захотел — и сидишь в одной рубашке.

Он разваливается в скрипучем плетеном кресле. Откидывает его к стене — чтобы удобней было длинным ногам. Кресло при этом скрипит еще громче. Отец закуривает трубку, разворачивает газету.

Керосиновая лампа горит, матовый абажур сияет, как полная луна.

Я засыпаю в соседней комнате, в своей детской кровати. Сквозь полуоткрытую дверь слышно, как хрустит под ножом картошка, которую мама чистит на завтрак суп, как стучат картофелины, падая одна за другой в ведро с водою.

— Не забудь вырезать мне продолжение романа.

Единственная проникающая к нам в дом литература — это романы с продолжением, вырезанные из газет: сшитые суровой ниткой, быстро желтеющие, они наполняют ящик пресным запахом старой бумаги.

Иногда доносится шепот, обрывки фраз, но они все дальше, а потом я засыпаю, и для меня сразу же наступает завтра.

Анриетта — последний ребенок в семье, где детей было тринадцать, и родилась она по недоразумению — родители вовсе ее не хотели: сестры ее были уже большие, старшие даже замужем, и у них самих были дети. Не потому ли Анриетта такая чувствительная, так отзывчива ко всякому горю, всякой беде?

Дезире представляет себе жизнь в виде прямой линии. Покинув улицу Пюи-ан-Сок и перебравшись через Арочный мост, он сделал небольшой крюк, но скоро вернулся на ту сторону Мааса. Конечно, учился он больше, чем родня. Но он остался одним из них — просто стал у них первым. И не все ли равно, что брат Люсьен — столяр, Артюр — шляпный мастер, а Селина замужем за наладчиком станков.

А вот Анриетта от этого страдает: недаром она в пять лет узнала, что такое бедность, жила вместе с мамой на пятьдесят франков в месяц и мама ставила на огонь кастрюли с водой, притворяясь, что готовит обильный обед; недаром в шестнадцать Анриетта убедила всех, что ей девятнадцать; недаром, впервые сделав высокую прическу, явилась к господину Бернгейму и была принята продавщицей в магазин «Новинка».

Когда они поженились, Дезире в тот же вечер вручил ей сто пятьдесят франков на месяц. Она принялась изощряться в стряпне.

Сто пятьдесят франков она положила в супницу на буфете. У маленьких людей супница часто служит сейфом, и это естественно: супницы очень хрупки, особенно ручки и шишечка в форме желудя на крышке. Если пользоваться таким сооружением по назначению, то супниц не напасешься.

И вот за первый месяц, представляешь себе, сынишка... Кстати, «сынишка» — самое ласковое слово, которое позволял себе мой отец. Так вот, за первый месяц... Представь себе, что в этом месяце, первом месяце ее замужества, числа двадцатого, если не раньше, моя мать, промучавшись целый вечер, с заплаканными глазами призналась Дезире, что от ста пятидесяти франков ничего больше не осталось.

Она никогда этого не забывала. С тех пор у нее уже не случалось подобных катастроф, она принялась считать, день за днем, каждое су, каждый сантим, потому что в те времена сантим тоже кое-что значил.

А сколько еще хлопот у двадцатилетней молодой мамы, живущей на третьем этаже в доме на улице Пастера! Я принимаю ванны. По утрам мне готовят ванну с морской солью для укрепления мускулов. А угольщик и зеленщик выбрали именно этот час, чтобы дудеть под окнами в свои дудки.



Можно завести в подвале запас угля. Но во-первых, для этого нужен подвал, а хозяин предпочитает пользоваться обоими подвалами в доме сам. Во-вторых, тогда надо покупать сразу целую тележку угля, то есть выложить одним махом изрядную сумму.

Ванночка с соленой водой, в которой я сижу, стоит прямо на полу. А вдруг я воспользуюсь этим и набедокурю? Анриетта спускается бегом. Соседки выстроились в очередь каждая со своим ведром. И Анриетта в страхе возводит глаза к небу, точно с минуты на минуту ждет катастрофы.

Нужно сходить на угол к мяснику. Я тяжелый. Я уже немножко умею ходить, но иду медленно. А если в магазине, набитом покупателями, отпустить меня хоть на минутку, то вдруг я доберусь до ножей?

Что знает обо всем этом мой отец? Он ведь, пожалуй, считает, что таков удел женщин: разве его собственная мать не вырастила тринадцать детей одна, без прислуги?

К его возвращению стол накрыт, обед томится на плите, в доме прибрано, а на маме чистый передник.

В определенное время, ни раньше ни позже, он вернется в контору. У него один мир, одна дорога.

А мы с мамой проводим долгие часы вдвоем в двух комнатах на улице Пастера — я на полу, она в хлопотах по хозяйству, — и для нее вне этих стен столько недосягаемых миров, сколько кварталов в городе, сколько родственников в семье, сколько братьев и сестер у Дезире и у нее, главное — у нее.

Она не видится больше со своей сестрой Мартой, которая замужем за богатым бакалейщиком Вермейреном. Анриетта была у них нянькой при детях, а теперь Марта не может простить сестре, что та вышла замуж за скромного служащего с того берега Мааса. Вермейрен занимается крупной коммерцией: у него телеги, лошади, кладовщики и склады, где полным-полно товаров в ящиках, мешках, бочках, прямо в грудах.

Другая сестра, Анна, старшая из дочерей Брюля, живет в квартале Сен-Леонар, напротив порта, набитого баржами, на берегу канала, ведущего напрямик в Голландию. Она замужем за старым Люнелем, корзинщиком. У Анны лавочка, где торгуют товарами для моряков. В углу, возле кассы, — стойка. Дочки у Анны берут уроки игры на рояле. Сын будет учиться на доктора.

Альбер, живущий в Хасселте, уже считается в своих краях воротилой: он из первых в торговле лесом и хлебом, каждый понедельник наведывается на биржу.

Куда пойти Анриетте? Остальные братья вообще стерлись из памяти — их вытеснили старшие; она с трудом припоминает, как их зовут, сколько им лет. У нее нет даже их фотографий.

Остается Фелиси, она всего на десять лет старше Анриетты и тоже была продавщицей. Фелиси вышла замуж за хозяина кафе «У рынка», и он запрещает ей видеться с родней. Анриетта гуляет, выгуливает меня, катит коляску по улицам: доктор говорит, что детям необходим свежий воздух.

Дезире нечувствителен к подобным тонкостям.

Он говорит:

— Твоя семья... Моя семья...

По мнению Дезире, его семья — истинные лжецы, с того берега Мааса, с улицы Пюи-ан-Сок, а ремесленники они или служащие — это уж не столь важно.

И не так уж важно, есть у тебя лоджия или нет, живешь ли ты в собственном доме или снимаешь квартиру.

Люди отличаются друг от друга, по его мнению, только тем, что одни из них хозяева, как господин Майер, а другие — служащие, как он сам.

Все остальное — мелочи.

Лишь бы поесть вдоволь и вовремя, а потом посидеть без пиджака и спокойно почитать газету.

Они любят друг друга и счастливы. Но Дезире сознает свое счастье и умеет его смаковать, как смакует по вечерам свою трубку, куря ее крошечными затяжками. А его жена не знает, что это и есть счастье.

Она страдает по привычке, страдать — ее призвание. Боится допустить какую-нибудь оплошность. Заранее переживает: вдруг подгорит горошек, вдруг она не доложила в него сахару, вдруг в углу комнаты осталась пыль. Она переживает, ведя меня в аптеку взвешиваться: что она скажет мужу, если вдруг выяснится, что я на несколько граммов похудел или хотя бы не прибавил в весе?

Она принаряжает меня и, поскольку отец в конторе и дома ее никто не ждет, ведет меня через Арочный мост в «Новинку».

Здесь она тоже страдала в свое время. Страдания были, во-первых, физические. У слабенькой Анриетты

после нескольких часов стояния на ногах начинало ломить поясницу. Правду сказать, поясница у нее и теперь болит по вечерам, оттого что она носит меня на руках, стирает, таскает воду и ведра с углем. Это недуг небогатых женщин, небогатых мамаш.

Все бы не беда, если бы покупатели входили в положение. Но вот госпожа Майер, например, — она каждый день является в магазин, присаживается во всех отделах по очереди, заставляет перевернуть весь товар, смотрит в лорнет, критикует, ничего не покупает, а потом еще зовет заведующего отделом, чтобы пожаловаться на продавщицу.

А чего стоит въедливое начальство! Один только раз отважилась Анриетта украсить свое черное платье маленьким кружевным воротничком. И тут же — вызов к господину Бернгейму.

— Я надеюсь, мадам, что причиной вашего легкомысленного поступка является только ваша молодость; в противном случае мне пришлось бы поставить вам на вид, напомнить что «Новинка» — солидная фирма, где не место барышням, одетым, как... как...

Бедняжка Анриетта! Конечно, в том, что веки у нее теперь такие тонкие и в морщинках, словно луковая шелуха, виноваты постоянные слезы.

Она входит в «Новинку», прогуливается по магазину, улыбается печальной и тонкой улыбкой. Она боится многого, но больше всего — выглядеть вульгарной.

Вдруг кому-нибудь придет в голову, что вот, мол, ей повезло, нашла себе мужа, а до товаров теперь и дела нет?

Даже ликуя в душе, она считала бы своим долгом притворяться, что грустит и скучает по прошлому.

А вдруг одетый в сюртук инспектор подумает: дескать, раз она здесь служила, то и воображает, что может теперь разгуливать по магазину в свое удовольствие! Еще скажет, чего доброго, что она отвлекает подруг от работы!

И Анриетта демонстративно покупает что-нибудь. Во весь голос рассуждает о катушке ниток или о мадаполаме. И тут же шепотом, украдкой, улучив минуту, когда никто не смотрит, пускается болтать, расспрашивает девушек о том о сем и все время тревожно поглядывает по сторонам.

Валери, Мария Дебёр и другие, чьих имен я уже не помню, тоже боязливо оглядываются, прежде чем взять меня на руки и расцеловать в обе щеки.

— Я продала бы тебе со скидкой... Если бы снять ярлык...

— Нет-нет, Валери! Умоляю!..

Еще не хватает, чтобы ее сочли мошенницей!

— Я хочу платить столько же, сколько все. У нас, конечно, лишних денег нет, но...

Единственное, что способно вывести Дезире из себя, это разговоры насчет отсутствия лишних денег. А мысли об этом неотступно преследуют мою мать.

— Слушай, Дезире, теперь Жорж уже подросток, ему два годика. Что, если я заведу небольшую торговлишку?

У нее это в крови. В ее родне все, или почти все, торговцы. И все преуспевают, кроме дяди Леопольда, который пошел по дурной дорожке.

Торговать! Чистенькая, хорошенькая лавочка, с приятным звонком на двери. И чтобы звонок был слышен на кухне, где можно спокойно хозяйничать. Сладостная музыка! Быстро вытереть руки, проверить, нет ли пятнышка на переднике, привычным движением поправить шиньон, приятно улыбнуться...

— Добрый день, госпожа Плезер. Тепло сегодня, не правда ли? Что вам угодно?

— Понимаешь, Дезире, если бы я завела маленькую лавочку...

— У нас бы тогда уже ни один обед не прошел спокойно. Зачем, если у нас и так все есть?

У отца всегда все есть. Анриетте вечно всего не хватает. В этом разница между ними.

— Через год-другой я буду получать сто восемьдесят франков в месяц. Господин Майер мне на это намекал еще на прошлой неделе.

Ему никогда не понять, что можно жертвовать покоем ради денег. Он будет бороться до конца, с улыбкой отстаивая свое право на инертность.

— Вот уж самый настоящий Сименон!

В семье и во всем мире отчетливо обозначаются два клана — Сименонов и Брюлей!

— Много тебе помогали братья и сестры, когда вы остались вдвоем с матерью?

— Я работала! А теперь, если с тобой что-нибудь случится, я останусь одна, без средств и с ребенком.

Правда ли, что Дезире жесток, что он чудовищный эгоист? Он сам постарается внушить это всем вокруг, и Анриетта не раз упрекнет его в эгоизме.

Снова утыкаясь в газету, он отвечает с видом человека, которому надоело спорить:

— Опять пойдешь работать.

Мне два года, ему двадцать семь, ей двадцать два.

«Что-нибудь случится» — на языке мелкой сошки значит умереть.

Итак, ему нипочем, что в случае его смерти жене придется вернуться в «Новинку», бросить дома ребенка и встречаться с господином Бернгеймом, и говорить ему... и унижаться перед ним...

Мать плачет. Отец и не думает плакать.

— Работаешь в страховой компании, а самому даже в голову не придет застраховать свою жизнь!

Сколько раз в детстве слышал я эти разговоры о страховании!

А Дезире молчит.

Он молчит, бедняга. Дело в том, что еще до моего рождения он надумал заключить договор о страховании собственной жизни. Однажды утром он ушел из конторы в неположенный час и занял очередь в приемной у врача, обслуживавшего компанию.

Долговязый Дезире обнажил свою слишком белую, слишком узкую грудь. Фальшиво улыбался, пока доктор его выслушивал. Ему было слегка страшно.

Страшно, несмотря на то, что в конторе Майера всегда посылают клиентов к этому доктору Фишеру и смотрят на него как на своего человека.

— Ну как, доктор?

— Гм... Да-а... Гм... Послушайте, Сименон...

Мы обо всем этом узнали куда позже, через двадцать лет, когда Дезире умер от приступа грудной жабы.

В тот вечер он вернулся домой своим широким пружинящим шагом и, как всегда, объявил с порога:

— Я проголодался!

А ведь ему отказали в страховании — рассыпаясь в любезностях, сердечно похлопывая по худым лопаткам.

— Ничего серьезного. Так, сердце слегка увеличено—

с этим до ста лет живут. Но правила Компании... Вы не хуже меня знаете, Сименон, как разумны наши правила.

Понимаешь теперь, сынишка? Со мной приключилась такая же история — или почти такая же — в прошлом году, за несколько дней до того, как я сел писать эти воспоминания. Может, потому я за них и взялся.

Мне было тогда не двадцать шесть, а тридцать восемь. У меня был ушиб в области ребер, а боль все не проходила.

Однажды утром, самым что ни на есть обыкновенным утром, я пошел на рентген. Прижался грудью к экрану. Улыбнулся вымученной улыбкой.

— До ушиба у вас никогда не бывало болей слева?

— Никогда.

— Гм... Вы много курите, не правда ли? Много работаете, много едите, вообще, себя не жалеете?

Меня прошиб холодный пот.

— Боже мой, конечно!

— То-то и оно!

Чего же ты хочешь, сын? Такая уж у врача работа: здоровый человек для него — животное, обитающее в неведомых ему краях.

А этот врач сам болеет, и мне кажется, что он бессознательно мстит мне за это.

— Много занимались спортом?

— Много.

— Больше никакого спорта! Сколько трубок в день выкуриваете?

— Двадцать — тридцать...

— Впредь не больше одной. Утром и после обеда по часу лежать в затемненной комнате, в тишине, а перед этим выпивать по бутылке минеральной воды «Эвиан». Или нет, пейте лучше «Контрексевиль». Или...

— А работа?

— Если уж иначе нельзя, работайте, но понемногу, без спешки, от случая к случаю. Прогулки пешком, медленным шагом. Есть как можно меньше.

— Грудная жаба?

— Я этого не утверждаю. Сердце расширенное, изношенное, усталое. Если не будете беречься, больше двух лет не протянете. Вот ваша рентгенограмма. С вас триста франков.

Он отдал мне красиво вычерченную красным карандашом схему моего сердца.

Я вернулся домой. Посмотрел на тебя и твою мать. Тебе было полтора года. Полтора да два будет три с половиной.

Понимаешь?

Но я не повел себя таким героем, как Дезире, который двадцать лет кряду выслушивал упреки в эгоизме из-за этого злополучного страхования жизни, от которого упорно отказывался.

Я поговорил с твоей матерью. Обратился к другим врачам, к так называемым светилам. Получил другие рентгенограммы. И меня уверили и поныне продолжают уверять, что рентгенолог из Фонтене допустил грубую ошибку.

Когда-нибудь узнаем, кто был прав. Так или иначе, в тот день я понял, что можно быть нормальным человеком, с улыбкой войти к врачу, минут десять листать старые газеты, дожидаясь очереди, а часом позже выйти и с холодным отчаянием посмотреть на улицу и на солнце.

Мама моя думала только о своей торговлишке.

А отец думал, что через несколько лет...

Он до последнего дня сохранил безмятежную улыбку, до последнего дня излучал вокруг себя совершенно ненаигранную жизнерадостность.

С тех пор как я последний раз писал эти записки, прошли месяцы.

Югославия пала под мощными ударами противника; Греция наполовину захвачена; сотни самолетов каждую ночь бомбят Лондон.

Неизвестно, останется ли завтра хоть что-нибудь из того, что было раньше; и сейчас, когда в муках рождается мир, в котором тебе придется жить, я цепляюсь за хрупкую цепочку, связующую тебя с теми, из чьей среды ты вышел, с миром маленьких людей, — теперь они беспорядочно мечутся, как и ты будешь метаться завтра, в поисках выхода, цели, смысла жизни, пытаюсь понять, что это такое — счастье и несчастье, надежда и безмятежность.

Была в магазине «Новинка» крошечная продавщица, малокровная и чувствительная, с копной растрепанных волос; был в конторе Майера молодой человек ростом

метр восемьдесят пять и с красивой походкой, по прозвищу Длинный Дезире.

Было это в те времена, когда люди боялись войны и Национальная гвардия стреляла в забастовщиков, добивавшихся права объединяться в профсоюзы.

6

22 апреля 1941,
Фонтене, замок Тер-Нёв

Гийом сходит с поезда на вокзале Гийемен, с потоком пассажиров пробирается к выходу, выныривает на залитую солнцем площадь и там на миг застывает, блаженно зажмурившись.

Сейчас часов девять, не больше. Из Брюсселя он уехал очень рано, когда его магазин зонтов и тростей был еще закрыт. Гийом заходит в парикмахерскую напротив вокзала, там его укутывают с шеи до пят в белоснежный пеньюар, а он сдержанно улыбается в зеркало своему отражению.

Выйдя из парикмахерского салона, он чувствует, что солнце сияет специально для него — чтобы освещать его бежевое пальто, сшитое по последней моде, короткое, как говорится, до пупа; чтобы отражаться в его лаковых ботинках, длинных, остроносых, со светлыми гетрами; чтобы играть на золоченом набалдашнике его трости, на массивном золотом кольце, на рубиновой булавке в галстук...

Гийом благоухает лавандой. Свежевыбритые щеки слегка припудрены. Указательным пальцем он небрежно подкручивает кончики усов, благодаря ухищрениям косметики твердых, как пики.

В его карих, блестящих глазах та же детская жизнерадостность, что у Дезире.

Он проходит несколько шагов. Официанты протирают мелом окна кафе и ресторанов. Вокруг сплошное мытье.

В девять часов утра Льеж моется, и Гийом, сам чистый, как стеклышко, вдыхает этот вкусный запах утренней свежести.

Он мог бы дойти до конторы Дезире — это в двух шагах от вокзала, но Дезире неспособен оценить брата

во всем великолепии. Можно наведаться в дом, принадлежащий церковному совету прихода св. Дениса, где живет сестра Франсуаза, но запах ладана едва ли удачно сочетается с благоуханием дорогого лосьона, исходящим от Гийома.

На улице Пюи-ан-Сок, куда надо бы сходить поздороваться с матерью, Гийома почти наверняка осмеют.

Сименоны враждебны всему, что существует по ту сторону мостов; брюссельские замашки могут вызвать у них только насмешку и презрение.

А Гийом теперь — плоть от плоти Брюсселя, и не просто Брюсселя, а его коммерческого центра, Новой улицы: там, в двух шагах от площади Брукер, находится его магазин

Он садится на трамвай № 4, окрашенный в желтый и красный цвет, причем кричаще-желтой краски пошло куда больше, чем красной. Трамвай № 4 трясется, словно пытаясь то и дело сойти с рельсов, дребезжит вдоль по улице и внезапно останавливается, взвизгнув тормозами и взметнув облачко песка.

Повсюду — в торговых кварталах, в тихих улочках — продолжается мытье и чистка. Солнце провело границу по каждой улице: одна сторона освещена, другая в тени. Едва заметная дымка, легкое дрожание воздуха обещают жаркий полдень.

Моя мать еще не одета. В наших двух комнатах на улице Пастера идет уборка. На подоконниках проветриваются матрасы, в ведрах плещется мыльная вода. И вдруг — два звонка у дверей. Анриетта свешивается из окна.

— Боже мой, Гийом!

Она кричит, не успев запахнуть:

— Сейчас спущусь!

Она творит чудеса. У нее отрастает десяток рук. Она распахивает неизвестно куда все, отдаленно напоминающее о беспорядке, хватает свой шиньон, прикалывает его при помощи шпильки, меняет фартук, усаживает меня получше.

И вот она внизу. Улыбается:

— Вот это сюрприз!.. Ты приехал без жены, Гийом?

Здесь триумф Гийома будет полным. Он — житель столицы, владелец магазина на Новой улице, одетый так, как не посмеет одеться ни один лжеец.



Потому-то он и выбрал для первого визита дом Анриетты, что знает: она оценит и от ее взгляда не ускользнет ни одна великолепная подробность.

— Садись, Гийом. Не обращай внимания на беспорядок. Если позволишь, я сейчас...

Она летит на площадь Конгресса. Объясняет бакалейщику:

— Мне на двадцать пять сантимов настойки. Это для моего деверя, он приехал из Брюсселя.

В доме никогда не бывает водки, вина, ликера. Кому-нибудь другому предложили бы чашку кофе, вечером — кусок торта. Но Гийом — дело иное.

— Будьте добры, сухих пирожных.

В этом доме Гийом может обозреть пройденный им путь и насладиться своим могуществом.

— Скажи, Анриетта, ты мне доверишь на часок вашего малыша?

Он — богач, чуть ли не американский дядюшка, снизошедший до простых смертных.

— Боже мой, Гийом, я уверена, что у тебя на уме какие-нибудь безумства.

— А как же иначе! А как же иначе!

Он уводит меня за руку. Я пока еще ношу платица. Мы переходим через Арочный мост, и все встречные, должно быть, думают так: «Вот идет брюссельский дядюшка. Сейчас малыш племянник с того берега Мааса получит от него какой-нибудь сюрприз».

Мы входим в «Новинку». Глядя на нас, барышни-продащицы, наверно, шушукаются: «Это брат Дезире, деверь Анриетты. Сейчас он купит племяннику подарок».

От нафабренных усов Гийома исходит смешанный запах парикмахерской парфюмерии и только что выпитого аперитива. Меня ставят на прилавок из светлого дуба. Здесь отдел трикотажа. Меня раздевают — а ведь все эти барышни знают, что мать никогда бы не позволила раздеть меня прямо в магазине.

Гийом, наверно, тоже об этом догадывается. Но он из Брюсселя, в церкви не венчался и не боится шокировать окружающих: для него это изысканное удовольствие.

Я влезаю в первые в жизни штанишки. Их оставляют на мне.

На улице Пастера мама высматривает нас из окна. Едва мы подходим к дверям, они тут же отворяются.

— Боже мой, Гийом!

Она улыбается, хотя в душе готова расплакаться. Лепечет:

— Ты хотя бы сказал дяде Гийому спасибо?

Он уходит, как актер, исполнивший свой номер и удаляющийся под гул аплодисментов. Дядя отмочил недурную шутку, и я убежден, что сам он это отлично понимает и испытывает демоническое удовлетворение, выслушивая поток маминых благодарностей.

Мы снова идем в кухню, мама со слезами раздевает меня. Она плачет оттого, что Гийом с макиавеллиевским коварством купил мне костюм красного цвета, а я ведь посвящен деде Марии. Это значит, что до седьмого года жизни я должен одеваться только в голубое и белое.

Вся «Новинка» видела меня в красном. И улица Леопольда тоже! Я прошел через целый город, выраженный в кричаще-красный костюм.

На меня вновь натягивают платьице. Я успел сделать пи-пи в новые штанишки, и мама тщательно их стирает, сушит на солнце, гладит.

Заметно? Или незаметно?

Возвращается Дезире.

— Приехал твой брат Гийом. Он потащил ребенка в «Новинку» и купил ему красный костюм.

— Как это на него похоже!

— Попытаюсь обменять. К сожалению, он уже...

Штанишки рассматривают.

— Нет, — утверждает Дезире, — уверяю тебя, ничего не заметно.

Продавщицы в «Новинке» не удивились, когда в три часа пополудни появилась моя мама со свертком.

— Бедненькая Анриетта...

— Представь себе, Мария, малыш наделал в... Но по-моему, совсем незаметно. А вдруг они все-таки скажут...

— Дай сюда!

Мария Дебёр отправляется испросить у господина Бернгейма разрешение принять назад покупку. Господин Бернгейм разрешает, даже не взглянув на вещь. Напрасно они волновались. Напрасно за десятью прилавками переживали эту драму и страдали из-за нее.

— Что ты возьмешь взамен?

Размышления. Долгие колебания. Какую жгучую проблему поставил этот непредвиденный капитал! Материю на фартуки? Простыни?

Мы возвращаемся с небольшим свертком глазированной шуршащей бумаги, по которой большими буквами идет надпись «Новинка». Что там внутри, я не знаю.

Во всяком случае, не мой первый костюм.

Я рассказываю тебе, малыш Марк, об этом случае потому, что с тех пор он не раз повторялся и такие истории доставляли мне немало огорчений.

К сожалению, все поступки делятся на пристойные и такие, какие не принято совершать, чтобы не опуститься.

Целых полчаса ярким весенним утром носил я прекрасный костюм из красного трикотажа, но его у меня тут же забрали.

Потом то же самое получилось с шоколадом, и это не менее печальная история.

Одновременно это история и о том, как я не получил наследства.

Каждые полгода Дезире ходил за очередным страховым взносом к одной старой даме, которая жила на бульваре Пьерко, в самом аристократическом районе Льежа. Разговоры об этом начинались еще за несколько дней. Отец одевался тщательнее, чем обычно. Мама говорила:

— Я, кажется, тебя уже к ней ревную.

Дезире, насколько я знаю, рассказывал обо мне старой даме, и она интересовалась:

— Как он поживает? Сколько зубов? Заговорил уже?

Отец возвращался от нее оживленный, слегка возбужденный тем, что очень богатая дама несколько минут беседовала с ним как с равным.

Всякий раз он приносил маленький белый сверток — килограмм шоколада «Озэ», который старая дама покупала накануне специально для меня.

А я этого шоколада ни разу не попробовал. Один бог знает, как мне хотелось его, именно этого шоколада, а не другого! Плитки состояли из отдельных, сплавленных между собой кубиков, и мне казалось, что такие кубики должны быть вкуснее.

Увы, у «Озэ» этот шоколад считался второго сорта, его называли «пансионерский».

Для мамы это составляло почти такую же трагедию, как костюмчик из красного трикотажа. Первый сверток

пролежал у нее месяц. Потом она бережно перевязала его цветной ленточкой и отважно пошла в магазин «Озэ».

— Простите, сударь...

Твоя бабушка, малыш Марк, всегда просит прощения у людей, которым не сделала ничего дурного. Наверное, это следствие привычки к неприятностям.

— Представьте себе, мы получили в подарок шоколад...

И она объясняет, объясняет. Пальцы у нее дрожат, на скулах красные пятна.

— Понимаете, сударь, я предпочла бы доплатить и...

Господин Озэ — приземистый человек в белом фартуке. Ему плевать на обстоятельства моей мамы и на ее тревогу. Он небрежно оборачивается к продавщице:

— Обменяйте этой даме шоколад.

Как все просто!

— Благодарю вас, сударь. Видите ли, если бы...

Бедная мама — такая гордая и такая смиренная, так вышколенная жизнью! И ей так хочется всем угодить, и чтобы никто не подумал о ней плохо!

Увы, шоколад первого сорта был обыкновенными длинными брусочками, а не кубиками. А мне хотелось кубиков.

Каждые полгода, пятнадцать лет подряд, богатая старая дама дарила нам одинаковые свертки, а потом и по два таких свертка: подарок удвоился, когда родился мой брат.

А мама пятнадцать лет подряд шла наутро в магазин «Озэ» менять «пансионерский» шоколад на первосортный.

— После моей смерти вас, господин Сименон, ждет приятный сюрприз.

Так сказала старая дама. Отец пересказал эти слова моей маме, а мама — мне.

— Она всегда принимала в нас участие, особенно в тебе. Наверное, хочет упомянуть в завещании.

Она умерла.

Но в завещании не оказалось о нас ни слова, да и шоколада тоже не стало.

Ты, наверно, удивишься, что в моих записках оказался такой перерыв: с самого Нового года до пасхи!

Только что ты заглянул ко мне в кабинет. Все вокруг изменилось.

Правда, война продолжается. Теперь она разворачивается на Балканах. В течение нескольких недель были разгромлены подряд две или три страны.

А ты об этом не ведаешь и безмятежно переходишь от радости к радости, от одного солнечного луча к другому. На все смотришь, все понимаешь, все замечаешь. Ты лакомишься жизнью в свое удовольствие.

Твоя бабушка пишет, что волосы у нее почти совсем побелели. Ей шестьдесят пять лет. Она живет воспоминаниями о днях, прожитых рядом со мной и моим братом, когда мы были такими, как ты, и копошились на полу.

«Как мы были счастливы!» — пишет она.

Наша двухкомнатная квартирка, улыбчивый Дезире, который приходил домой всегда в одно и то же время своей упругой походкой, напевая себе под нос. Как позже стали делать и мы, он объявлял с порога:

— Я проголодался!

Или:

— Обед готов?

А потом изображал мне барабанщика и таскал меня на плечах, так что я головой почти касался потолка.

Национальный гвардеец Дезире, он так радовался жизни, местечку, уготованному ему судьбой! Умел ценить каждую кроху счастья... Между ним и тобой, между тобой и Анриеттой — целый мир: и дядя Гийом, и дядя Артюр, и тетя Анна, и тетя Марта; вас разделяют две войны и нынешний исторический момент и то величественное усилие народов, те мучительные роды, последствий которых мы не в силах предугадать. Но мне хотелось, чтобы ты узнал обо всем этом не только из учебников.

Вот почему, сынишка (так называл меня Дезире в приливе нежности), вот почему с самого декабря я взвалил на себя всякие довольно скучные дела, имея в виду единственную цель: освободиться наконец, освободиться от всех обязательств и спокойно продолжать эти записки.

А ты между тем дожил уже до первых штанишек. Хорошо, что они у тебя не красные и тебе не грозит разочарование лишиться их после одной-единственной короткой прогулки по солнечным улицам.

Дядя Шарль, ризничий церкви святого Дениса, обладатель мягкой, как овечья шерсть, шевелюры, увлекается

не только фотографией. Он плетет из веревки сетки для продуктов. У каждой сестры или невестки есть сетка его изготовления.

Где только выучился этому моряцкому искусству человек, никогда не покидавший своего прихода и в глаза не видевший моря? По-видимому, двор монастыря бегиннок, где он живет, располагает к спокойным и молчаливым занятиям.

У меня тоже есть своя сеточка, совсем маленькая. Отец еще в постели, его усы смешно торчат из-под одеяла, дрожа при каждом вздохе.

Весна или лето. Мы с мамой выходим из дому в половине седьмого утра. Улица Пастера и весь квартал пусты.

Между Новым и Арочным мостами, на границе предместья и центра, есть широкий деревянный мост, который все называют просто «мостик». Так короче и привычнее. Обитатели того берега Мааса смотрят на мостик как на свою собственность: его переходят без шляпы, выскочив из дому на несколько минут.

Поднимаешься по каменным ступеням. Доски моста поют и дрожат под ногами. Спускаешься на другой стороне, и в семь часов утра этот спуск — все равно что приземление на другой планете.

Повсюду, куда только достанет взгляд, шумит рынок; налево идет торговля овощами, направо — фруктами; тысячи корзин из ивовых прутьев образуют настоящие улицы, тупики, перекрестки; сотни коротконогих кумушек в трех слоях юбок с карманами, набитыми мелочью, называют покупателей или переругиваются с ними.

Идти на рынок в шляпке не следует, не то попросят втридорога, а начнешь торговаться — прослывешь притворщицей.

Мама проталкивается вперед, а я цепляюсь за ее юбку, чтобы не потеряться в толчее.

Анриетта пришла сюда не из-за того, что здесь на скромном еще голубом с золотом фоне раннего утра разворачивается самое прекрасное зрелище на свете. Она не приноживается к влажной зелени, не чувствует острый аромат капусты и затхлый картофельный запах, заполонивший целые кварталы; даже фруктовый рынок Ла Гофф — буйство запахов и красок: клубника, вишни, лиловые сливы и персики — существует для нее в пересчете на сантимы; то она выгадала несколько сантимов,

то ее обсчитали на несколько бронзовых или никелевых монеток, которые она вытаскивает одну за другой из кошелька, пока торговка нагружает ей сетку и сует мне какой-нибудь плод впридачу.

На дороге сотни лошадей и телег; лошади провели в пути добрую часть ночи, почти у всех у них подвязаны к мордам мешки с овсом.

Весь этот люд наехал сюда из окрестностей, из ближних деревень. И скоро, едва зазвонит колокол, все они исчезнут, оставив после себя на булыжнике набережных и площадей разве что капустные листья да ботву от моркови.

В память об этих утрах я на всю жизнь сохранил любовь к рынкам, к их кипучей жизни, предшествующей обычной городской суете, к этой свежести, чистоте, которая приезжает к нам из деревни, укрытая влажной рогожкой, на телегах и двуколках, под*неторопливую трусцу лошадей.

Бедная мама предпочла бы не расставаться со шляпкой и перчатками. Иногда она замечала с опасливым презрением:

— Рыночная торговка!

Такое говорилось про языкатых краснощеких женщин с дубленой кожей и криво приколотыми шиньонами.

Хрупкая и чинная, подавленная предчувствием мигрени или неотвратимой боли в пояснице, боясь потратить несколько лишних монет, Анриетта покупала тут кучку морковок, там две-три луковицы, немного фруктов на вес — так мало, что любая слива была на счету. А вокруг нас громоздились целые горы даров земли, и возчики кормили лошадей ломтями ржаного хлеба, отрезая их от огромных караваев.

Каждый раз меня приходилось за руку оттаскивать от постоянных дворов, куда попадаешь, спустившись на несколько ступенек вниз по лестнице, и где, в тусклом свете, пронизанном редкими солнечными лучами, бесцеремонно положив локти на стол, сидели люди с лоснящимися губами и зычным голосом, поедая необъятные порции яичницы с салом и пироги, огромные и толстые, как тележные колеса.

Как я грезил этой яичницей, салом, пирогами! Я почти чувствовал их вкус на языке, и рот у меня наполнялся слюной. В первом моем романе — я написал его в шест-

надцать лет и он никогда не был напечатан — излагалась история длинного костлявого парня, очутившегося внезапно в этом изумительном мире солнца, пота, суеты и запахов всевозможной снеди.

А ты, бедная моя мама, ни за что на свете не купила бы кусок этого жирного непропеченного пирога. Мужичья еда!

Долгие годы мечтал я об этой еде; я мечтаю о ней до сих пор, вызывая к жизни эти воспоминания, и снова чувствую тот самый смешанный запах пирога, сала и кофе с молоком, который подавали в толстых фаянсовых чашках.

Гордая и чинная, ты протискивалась сквозь волшебный мир, без усталости подсчитывая расходы, а за твою юбку цеплялся малыш с завидующими глазами.

Почему ты так долго скрывала от меня, что в этом рыночном царстве у нас есть родня? Почему сотни раз мы проходили, не заглянув внутрь, мимо самого красивого кафе?

Однажды ни с того ни с сего мы вдруг забрели в это великолепие. Точнее сказать, сперва мы просто остановились рядом, как будто случайно, и ты робко, украдкой, заглянула внутрь.

В конце концов молодая женщина, задумчиво сидевшая за стойкой, заметила тебя. Она оглянулась по сторонам — точь-в-точь барышни в «Новинке», опасавшиеся администратора. Потом подошла к дверям.

— Заходи скорей, Анриетта!

— Он тут?

— Вышел.

Они расцеловались. Глаза у обеих были на мокром месте, обе вздыхали и лепетали дрожащим голосом:

— Бедная моя Анриетта!

— Бедная моя Фелиси!

И впрямь — бедная Фелиси: самая незадачливая и самая красивая, самая трогательная из моих теток. Так и вижу ее, застывшую за прилавком кафе в романтической и тоскливой позе.

По возрасту она ближе всех к моей матери, разница — всего в несколько лет. Старшие сестры в семье — дюжие женщины с жесткими лицами, полные спокойного

достоинства. А Фелиси и моей маме достались на долю вся нервность, смятенность, все печали большой семьи.

Обе младших словно расплачиваются и духовно и телесно за чужие грехи.

Изящные, миловидные, с влажными, слишком светлыми глазами, они отличаются только цветом волос: у Анриетты они льняные, светлые; у Фелиси — черные, шелковистые.

Улыбка у обеих горестная.

Девочки, которых слишком часто бранили, они не смеют жить так, как все, и в каждом солнечном луче им мерещится предвестье грядущих бед.

Фелиси тоже служила продавщицей. Потом вышла замуж за хозяина этого большого кафе. Я никогда не знал его фамилии, помню только прозвище — Кукушка. Говорили, что он обожает пугать людей. Спрячется в темном месте, а потом как закричит: «Ку-ку!»

И всякий раз чувствительная Фелиси трепетала с головы до пят, точно ее застигли на месте преступления.

Мне лгали все мое детство, и ложь продолжается по сей день. Анриетта и сестры ее не желают признать той истины, что у каждой семьи свое горе. Они ревниво скрывают фамильные тайны, боясь, что на них станут указывать пальцами.

Меня уверяли много раз, что мой дед Брюль запил с горя, потому что разорился.

Неправда! Он потому и вылетел в трубу, что спьяну поручился по векселю.

Стоит ли бояться правды? Не пил бы он долгие годы, разве стали бы алкоголиками с юности трое его детей, в том числе две дочери?

Несчастные, они скрывают свой алкоголизм и страдают от него.

Тетя Марта, жена Вермейрена, украдкой заходит в кабаки для возчиков, притворяясь, что ей надо в уборную.

Дядя Леопольд, проучившийся до двадцати лет, малярничает — и то только в те дни, когда в состоянии стоять на стремянке.

Фелиси, такая изящная, миловидная, романтическая, часто начинает пить еще до семи утра, до того, как мы приходим за покупками.

В те дни, когда Фелиси выпьет, она бывает еще



нежнее, еще печальнее, и ее жалобы на фламандском языке льются вперемешку со слезами.

— Бедная моя Анриетта...

Бедные Брюли, бедные мы! Бедные все! Бедное человечество, не ведающее ни душевного равновесия, ни счастья! Фелиси жалеет весь мир.

Ей хочется творить добро, одаривать, осчастливливать.

— Входи скорей! Он ушел.

Она запускает руку в кассу и вынимает наугад несколько банкнот.

— Держи! Скорей прячь в сумочку!

— Уверю тебя, Фелиси...

— Положишь в сберегательную кассу на имя малыша.

Она наливает мне стакан гранатового или смородинового сиропа.

— Пей скорее!

Дело в том, что над кафе витает тень Кукушки. Он где-то неподалеку — улаживает какие-то дела на рынке. И если внезапно вернется, скандала не избежать.

— Не желаю больше видеть твоих попрошаек-родственников!

Это неправда! Анриетте ничего не нужно. Она страдает, когда ей суют в руку деньги, и еще больше страдает, глядя, как я пью гранатовый сироп.

Но Фелиси — единственная, не считая Валери и Марии Дебёр, кого Анриетта понимает и кто понимает Анриетту.

Главная ее радость — делать подарки, у нее мания покупать тонкие фарфоровые чашки с блюдцами в цветах. Сверток, перевязанный ленточкой, приходится прятать.

— Сунь его в сетку.

Анриетте хочется сказать ей, что это уже десятая, двадцатая чашка, что напрасно она делает нам такие подарки — все равно ведь ими страшно пользоваться: уж больно хрупок фарфор.

Но Фелиси не помнит ничего. Это у нее, наверно, навязчивая идея.

Насчет Фелиси уже существует легенда, которая позже обрастет подробностями. Если, невзирая на все предосторожности, люди все же замечали, что она пьет, им объясняли:

— Молоденькой, она страдала малокровием, и врач прописал ей для поддержания сил крепкое пиво, крепкий портер с бычьей кровью. Она привыкла, а потом...

Но разве Марта была малокровна? А Леопольд?

По несчастному стечению обстоятельств Фелиси вышла замуж за владельца кафе, жила среди бутылок и стаканов, и спиртное всегда было у нее под рукой!

В семье говорили:

— У Фелиси опять мигрень.

Сестры и братья больше тебя не навещают. Только мы с Анриеттой украдкой заглядываем в это кафе, такое чистенькое и уютное.

И вот однажды осенним вечером на улице Пастера, едва Анриетта зажгла лампу под матовым абажуром, в дверь звонят два раза. Внизу шушуканье, мама возвращается, всхлипывая, и тащит меня по людным улицам с редкими желтыми или оранжевыми прямоугольниками освещенных витрин.

Ставни кафе закрыты. Мы входим через маленькую дверь, раньше я ее не замечал. На сей раз тетки и дядя в полном сборе, некоторых я никогда еще не видел. Они толпятся на лестнице, на площадке, в комнатах, освещенных дрожащим пламенем газовых рожков.

Объятия, шушуканье, слезы. Обо мне забыли; я, такой маленький, совсем затерялся в этом кошмаре и не понимаю, что происходит.

Ясно только, что все чего-то ждут.

На улице стук колес. Лошадь, фиакр. Дверь открывают без звонка, и я успеваю заметить широкий плащ кучера, тусклые фонари на экипаже, влажный круп лошади.

— Минутку...

Входит человек. Это врач, за ним идут два верзилы. В пугающей тишине они поднимаются по лестнице. Все застывают в полумраке, а из комнат раздаются животные крики, стук опрокидываемой мебели, удары, шум борьбы.

Дерущиеся все ближе, вот они уже на лестнице, и все вжимаются в стены, прячутся в дверях. Двое санитаров проносят извивающуюся и воющую женщину, укутанную в белое.

Фелиси сошла с ума в тридцать лет. Это ее увозят, и все Брюли тычутся наугад в стены и двери незнакомого дома.

Меня позабыли в каком-то полутемном коридоре. Вдруг рядом со мной раздается шум, которого мне никогда не забыть. Мужчина — я прежде его не видел — бьется головой о стену, потом закрывает лицо руками, и из мощной груди его вырывается рыдание.

Я вижу только содрогающуюся спину. Он не оборачивается, не глядит на диковинную процессию, которая выходит из дома и скрывается в сырой темноте фиакра.

Никто ни словом не перемолвился с этим отщепенцем, с Кукушкой. Сестры и братья Брюль уходят молча, не глядя на него. Меня обнаруживают, надеются, что я не понял.

Его оставили одного в пустом доме. Мы толпимся под дождем на пустынной улице, целуемся, вздыхаем и расходимся.

Фелиси отвезли в сумасшедший дом, и там она умерла три дня спустя от приступа белой горячки.

Вермейрен, уполномоченный всей родней как самая важная персона в семье, пошел в суд и пустил в ход все свое влияние, весь авторитет, чтобы добиться расследования.

В самый день похорон, которым предшествовало вскрытие, Кукушку арестовали, и дом на набережной окончательно опустел.

Кукушка в тюрьме Сен-Леонар.

На теле Фелиси нашли множественные следы побоев, что тоже помогло доконать мою бедную тетку.

Больше я его не видел. Только и запомнил спину, рыдание, крик, болезненно отозвавшийся у меня внутри, крик еще более душераздирающий, чем завывания Фелиси, на которую там, наверху, невозмутимые санитары натягивали смиренную рубашку.

Пройдет немного времени, малыш Марк, и ты, надеюсь, увидишь свою бабушку. Если ты заведешь с нею речь о Фелиси, не говори, что она умерла не в своем уме и что она пила.

«Фелиси? Да никогда в жизни!»

Анриетта столько убеждала в этом меня, брата, целый свет, что в конце концов сама себе поверила.

Семья должна быть приличной, все должно быть как у людей, чтобы мир походил на книжку с картинками. И если ты в один прекрасный день пристанешь к ней с расспросами, побуждаемый, как в свое время твой отец,

любопытством или бессознательной жестокостью, она ответит тебе, склонив, как все дочери Брюлей, голову немного влево:

— Боже мой, Марк!

Но ей будет бесконечно больно.

7

*25 апреля 1941,
Фонтене-ле-Конт*

Меньше недели тому назад тебе стукнуло два года. Вчера я вышел с тобой в город; из-за эпидемии дифтерии ты не был там больше двух месяцев.

Едва мы завидели набережную, где стоит дом, в котором мы жили нынешней осенью и зимой, ты сказал как ни в чем не бывало:

— Марк идет смотреть чайку на воде.

В декабре или начале января холода прогнали с берега чайку, и она поселилась перед нашими окнами.

Ты так точно помнил эту картину больше трех месяцев. Неужели она сотрется у тебя из памяти?

Мне из моих двух лет осталась память об утреннем уюте наших двух комнаток, где хозяйничала мама, о нежной пыли, миллиардом живых частиц танцующей в лучах, о солнечном зайчике — он тоже был живой и становился то больше, то меньше, то совсем умирал, а потом снова оживал в углу потолка или на цветке обоев.

Улицы, улицы без конца. Способны ли взрослые понять, что улицы разделены на две отдельные части, разные, как две планеты, как два континента, на два мира, один из которых на солнце, а другой в тени?

Теперь каждый день после обеда мы с мамой ходим на выставку. В Льеже открылась Всемирная выставка, она раскинулась по обоим берегам Мааса в квартале Бовери.

Построили новый мост, сверкающий позолотой.

От нас туда путь неблизкий: моим не слишком длинным ногам — полчаса пешком. Туда идет желто-красный трамвай, но нам он не по карману: проезд стоит десять сантимов.

Все дорого, видишь ли! Один Дезире этого не замечает и всем доволен.

Анриетта сшила из черного сукна сумочку, фасоном напоминающую мешочек и с металлическим замочком. В нее кладется мой полдник. У Анриетты есть абонемент — квадратик картона, перечеркнутый по диагонали широкой красной чертой, с ее фотографией на переливающимся фоне.

Анриетта ждет второго ребенка, но я об этом не подозреваю. Больше всего меня восхищает каскад возле нового раззолоченного моста и барки, которые плывут вниз по реке в изумительном облаке брызг.

Кое-что забылось, но я до сих пор помню некоторые запахи, в том числе запах шоколада — его изготавливали в одном из павильонов.

Негр, одетый как в «Тысяче и одной ночи», раздавал кусочки этого шоколада прохожим.

Увы! Меня заставили выбросить шоколад, вложенный негром мне в руку.

— Это грязь! — объявила мама.

По аллеям расхаживали толпы народу, в нагретом воздухе резко и в то же время пресно пахнет пылью.

Чуть подальше жарят кофе. Еще дальше повар в белом колпаке, болтающий с парижским выговором, делает и продает вафельные трубочки.

Я знаю их запах, это запах ванили, но вкус их мне не знаком.

— Это грязь!

Никогда я не усядусь под полосатым красно-желтым тентом на одной из террас, никогда не отведаю толстых брюссельских вафель с кремом шантильи.

Неужели они тоже грязь? Скорее всего, это нам просто не по карману. Точно так же мы не садимся на садовые кресла, покрашенные желтой краской, потому что старушка с полотняным мешочком на шее ходит и берет с сидящих плату в одно су. Мы сидим только на скамейках, если найдем свободное место.

Мы смотрим, но ничего не покупаем, и входим только в те павильоны, куда пускают бесплатно. Стоит мне захныкать, что хочется пить, мама отвечает:

— Скоро будем дома, там и попьешь.

Бутылка содовой стоит десять сантимов!

И только проспекты ничего не стоят, поэтому каждый день я ухожу домой не с пустыми руками. Помню потря-

сший меня прекрасный роскошно иллюстрированный альбом на глянцевой бумаге. В нем были фотографии самых разных спичек, зеленых — с желтыми, красными, синими головками, восковых спичек, ветровых и так далее.

Но за проспектами нужно долго брести по нагретой пыли. А ведь в Льеже, надо думать, не мы одни можем себе позволить только бесплатные развлечения!

К четырем часам хлеб в сумочке подсыхает, масло впитывается в мякиш. Этого вкуса мне тоже никогда не забыть. Какао в бутылке остыло; моя благовоспитанная мама долго ищет железную урну, чтобы выбросить замасленную бумагу.

Сама она ничего не ест, но не потому, что не голодна: в общественных местах есть неприлично.

У Анриетты ломит в пояснице, особенно в те дни, когда приходится брать меня на руки. Она постоянно боится потерять меня в толчее. Говорят, ежедневно на выставке находят не меньше дюжины детей, за которыми потом надо идти в канцелярию. Какой будет стыд, если с ней случится подобное! И что скажет Дезире про жену, которая не умеет последить за ребенком?

В шесть часов Дезире переходит мост и встречается с нами. Он не купил постоянного абонеента и ждет нас снаружи, на площади Бовери, за решеткой с позолоченными остриями поверху.

Он берет меня за руку или сажает на плечи. Улицы, подсиненные сумерками, кажутся длиннее, чем по пути на выставку; пахнет потом, пылью, усталостью; иногда я засыпаю прямо на плечах у отца, а мама семенит рядом.

У нее были прекрасные часики, золотые, инкрустированные бриллиантовой крошкой. Их подарил ей Дезире вместо обручального кольца: часы ведь гораздо нужнее. Мама носила их на шее, на цепочке, по моде тогдашнего времени.

Однажды на выставке, на сверкающем позолотой мосту, в густой толпе зевак мы смотрели на каскад, а мимо бежал мальчишка-пирожник. Он зацепил корзинкой за длинную часовую цепочку, и часики, инкрустированные бриллиантовой крошкой, сверкнув на солнце дугой, перелетели через парапет и упали в Маас.

Родители наняли за пятьдесят франков водолаза, но он не нашел часов.

С тех пор масов у Анриетты никогда уже не было. Теперь ей шестьдесят, а она так и узнает время по электрическим часам на перекрестках. По сей день вспоминает она о своих часах с бриллиантами и о злополучном мальчишке-пирожнике...

Бедная старенькая мама!

Мы подходим к дому. Мы уже на бульваре Конституции. Он обсажен каштанами, вечерняя тень под ними гуще. Прохожих почти не видно.

Летние сумерки — в Льеже их до сих пор называют сумерниками; ноги гудят от усталости, в горле пересохло, живот подвело от голода.

Кто несет наш ужин — небольшой промасленный сверток из колбасной лавки?

Завидев дом, ускоряем шаги, точно у всех разом закружилась голова. Вдруг отец останавливается.

— Кажется, это твой брат?

На краю тротуара стоит пьяный и, пошатываясь на широко расставленных ногах, преспокойно мочится прямо на мостовую.

— Дезире!

Она дергает мужа за рукав, указывая на меня глазами. Он понимает и поправляется:

— Ну какой же я глупый! Конечно, это не Леопольд.

Анриетте так хотелось бы, чтобы ее семья была, как в книжке с картинками!

Может быть, Леопольд нас заметил? Пошел за нами?

Ему неоткуда было узнать наш адрес. Тем не менее однажды утром в дверь звонят один раз. Из коридора слышится спор: услышав один звонок, хозяйка сама открыла дверь. Потом на лестнице раздаются тяжелые и неверные шаги.

— Боже мой, Леопольд...

Это тот самый человек, который при всем честном народе мочился на бульваре Конституции. Он коротконог, коренаст, с многодневной щетиной, в измятом котелке.

— Это твой сын?

Он садится у огня. Анриетта в ужасе.

— Леопольд...

Пятидесятилетний мужчина с отсутствующим взглядом, с медленной, затрудненной речью. Анриетта нали-

вает ему чашку кофе, а он, пока пьет, расплескивает половину себе на пиджак, даже не замечая. Она всхлипывает, потом принимается плакать. Непонятно, куда девать меня.

— Боже мой, Леопольд...

Он понял, что он тут не ко двору, некстати. Отодвинул чашку на середину стола, неуклюже встал. Анриетта идет за ним следом на лестницу. Она переходит на фламандский, во-первых, из-за хозяйки, а кроме того, с братьями и сестрами ей проще всего объясняться на этом языке.

Леопольд уже десять лет, а то и больше, не видался ни с кем из семьи, в которой он старший, а моя мать самая младшая. Никто не знал даже, в Льеже он или где-нибудь еще.

Назавтра он возвращается. Звонит два раза, как велела Анриетта.

Он выбрит, более или менее чист и при галстукке. Трезв, слегка смущен.

— Не помешаю?

Садится у плиты, на том же месте, что вчера, и мама опять наливает ему кофе.

— Хочешь бутерброд?

Их разделяет более чем тридцать лет. Они, можно сказать, почти незнакомы, но наш дом, наша кухонька станет отныне тихой гаванью для Леопольда, и он, чтобы часок передохнуть, будет часто заглядывать сюда по утрам, когда отец в конторе.

При этом вопрос «Не помешаю?» сменится другим: «У вас никого нет?»

Он наверняка сознает свое падение и не хочет вредить сестре.

Взгляд его говорит, что за себя ему не стыдно. Остальные Брюли, братья и сестры, думают всю жизнь только о деньгах и почти все пустились в торговлю.

Леопольд буквально начинен секретами. Он был первенцем в семье, когда Брюли жили еще в Лимбурге.

Однажды утром он принес маме под полой своего длинноватого пиджака картинку маслом, которую нарисовал по памяти. Перспектива, само собой, нарушена, но все детали родного дома выписаны необычайно тщательно.

Мама готовит завтрак, гладит или чистит овощи, а

Леопольд попивает кофе, вытянув свои короткие ноги, и сыплет рассказами на фламандском языке. Это история нашей семьи.

— Наш отец тогда был dijkmaster¹.

Пойми, Марк, маленький мой сельский житель, это о многом говорит. Значит, мой дед, который плохо кончил и умер от пьянства, был в свое время хозяином дамбы.

Когда ты увидишь Голландию, по-нынешнему Нидерланды, и польдеры², ты поймешь, что заведовать дамбой — это своего рода дворянская грамота и самая что ни на есть подлинная.

У меня нет той картинки маслом, нарисованной дядей Леопольдом; не знаю, сохранилась ли она у Анриетты.

Просторный дом среди плоской зеленой пустыни. Из этого дома в любую сторону надо идти и идти, прежде чем доберешься до другого жилья.

Канал, идущий из Маастрихта в Херцогенрат, течет прямо под окнами выше уровня земли, и скользящие по нему суда задевают за верхушки тополей. Когда ветер надувает их паруса, кажется, суда вот-вот упадут в поле.

Wateringen — ирригация... Куда ни пойдешь, вся земля — ниже уровня моря. От воды, от ее распределения, от того, потечет ли она в нужное время по узким каналам, вовремя ли затопит почву, зависит процветание или разорение всего края на много лье вокруг.

Брюль-старший был великим хозяином вод, подателем благоденствия.

Там и родился Леопольд еще до того, как отец, одержимый демоном авантюризма, приехал в Льеж, где занялся торговлей лесом, а потом умер вдали от своих польдеров.

Леопольд не просто старший из Брюлей. Он вообще самый старый из людей, все выдавший, все переживший. Он напрочь охладел ко всему, чем люди забивают себе голову: ему даже не стыдно мочиться прямо на улице, при всех.

Когда-то он был молод, недурен собой, сын богача. Учился в университете, водился со знатью и принимал приглашения поохотиться изо всех окрестных замков.

¹ Плотинный мастер (*фламанд.*).

² Осушенные участки земли ниже уровня моря, защищенные дамбами и плотинами.

Ни с того ни с сего ему захотелось пойти в солдаты. В армию тогда брали только по жребию, а Леопольд в двадцать лет вытянул счастливый номер.

В солдаты можно было и продаться, заменив собой какого-нибудь молодого человека, из тех, кому не повезло.

Так он и сделал. Натянул уланский мундир в обтяжку. Тогда еще существовали маркитантки. В его полку маркитантку звали Эжени, в ее жилах текла испанская кровь, как у императрицы¹, чье имя она носила. Эжени была замечательная женщина.

Леопольд на ней женился.

Представляешь себе, сынишка? Отпрыск такой семьи, сын богатого лесоторговца, владельца старинного замка в Херстале, женится на полковой маркитантке!

Леопольд разом сжег за собой мосты. Его видели в Спа — он работал там официантом в кафе, куда Эжени устроилась на один сезон поварихой.

Его обуюл не только демон любви — иногда он внезапно исчезал на полгода, на год, и никто ничего о нем не знал, даже Эжени. Он отправлялся в Лондон или в Париж и там для собственного удовольствия брался за самую неожиданную работу.

Эжени нанималась в какой-нибудь зажиточный дом, или в ресторан, или в гостиницу. Вернувшись, он ее искал, иногда, при необходимости, помещал объявления в газетах.

Она его не упрекала. И я думаю, что это был пример самой великой любви, какую мне довелось встретить в жизни. Она лишь говорила с непередаваемой интонацией, одновременно испанской и парижской:

— Леопольд!

Чтобы прожить, то есть заработать на еду и выпивку, он хватался за любую работу, какая подвернется.

Последние годы он чаще всего маляриничал — когда ему приходила охота потрудиться и если он чувствовал, что в состоянии взобраться на стремянку.

Он по-прежнему пропадал на два-три дня, а то и на неделю. Но Эжени знала, что он вернется, и вешала записочки на дверях их однокомнатной квартирki на

¹ Имеется в виду Евгения (Эжени) Монтихо (1826—1920), супруга Наполеона III, императрица Франции (1853—1870).

Обводной набережной: «Я работаю на бульваре д'Авр-
руа, 17. Постучись в подвальное окно, где кухня».

Он шел туда, измотанный после недельного загула, как пес после жаркого дня. Она совала ему в окно сверток с едой, которую он проглатывал тут же, на скамейке.

Целые годы он ходил к нам по утрам, на свой манер: то часто, то реже, то вообще исчезал на месяцы. Но вид у него всегда был такой, точно он расстался с нами накануне.

Садился он всегда на одном и том же месте, соглашался только попить кофе, в Бельгии чашка кофе — символ гостеприимства.

Ничего не ел. Не просил и не брал денег. А ведь в кармане у него часто не было ни одного су.

Он не ходил ни к кому из моих теток и дядьев. Старший в семье, он, похоже, стремился поддерживать отношения именно с Анриеттой, самой младшей, не знавшей ничего ни об отце, ни о предках.

Мама стеснялась говорить с Дезире о том, что к нам ходит Леопольд. Конечно, он знал, что дядя нас навещает. Но говорить на эту тему избегали.

Скажем, разве поверил бы отец, что с того первого раза Леопольд всегда являлся к нам трезвый и выбритый? Однажды он ушел, как обычно. Мы много недель о нем не слыхали — в этом тоже не было ничего особенного.

Как раз тогда подруга моей мамы по «Новинке» Мария Дебёр поступила к «Меньшим сестрам бедняков» в Баварскую больницу.

Ей нельзя было к нам ходить, и она прислала записку, из которой Анриетта узнала, что Леопольд уже давно лежит в больнице. У него был рак языка, ему предстояла третья операция, но надежды почти не было.

Прошло еще несколько недель, и к нам в дверь позвонила незнакомая женщина.

— Госпожа Сименон, требуется ваше присутствие. Я насчет вашей невестки...

Тем утром тело Эжени нашли в ее комнате. Она умерла с голоду на своей кровати.

Анриетта похоронила ее, и я слышал, как она говорила тете Анне:

— Несчастная весила не больше, чем десятилетний ребенок. От нее остались лишь кожа да кости...

Маркитантка Эжени умерла от любви в шестьдесят лет, лишь несколькими неделями пережив последнее исчезновение Леопольда, который исчезал так часто!

8

*Воскресенье, 27 апреля 1941,
Фонтене-ле-Конт*

На смену почти полной изоляции на улице Леопольда для нас настала полоса дяди Шарля, жившего возле сырного рынка за церковью святого Дениса, и эта полоса длилась два года.

Потом — год Всемирной выставки.

А потом у меня появился брат, его называли Кристиан, и почти сразу же после его рождения у нас вошло в привычку ходить по воскресеньям на улицу Пюи-ан-Сок, куда раньше забегал по утрам, чтобы поздороваться с матерью, один Дезире. Почему вдруг мы так туда зачастили? И вообще, почему все шло сменяющимися друг друга полосами: полоса тети Анны, полоса дяди Жана, полоса Сент-Вальбурга и, наконец, полоса монастыря Урсулинок, где жила в монахинях тетя Мадлен?

Полоса улицы Пюи-ан-Сок — это торжество Сименонов, торжество того берега Мааса, всего прихода церкви святого Николая, к которой жмутся крошечные ветхие домики, сбившиеся в паутину улочек и тупиков, где ни-почем не разобраться пришлому человеку.

Когда мой брат только что родился, а мне было три с половиной года, мы проводили воскресные вечера во дворе шляпной мастерской или в кухне, полутёмной из-за налета на стекле.

Сколько же нас было? Придется сосчитать.

Слепой Папаша в кресле, длиннорукий, как горилла; он угадывал вошедшего, чуть отворялась дверь: по звуку шагов, по тому, как тот поворачивал ручку.

Говорят, слепота поразила его внезапно. Однажды утром он спросил дочь, когда она к нему вошла:

— Почему вы не зажигаете свет?

Солнце стояло уже высоко, на окнах не было ставень. Она побоялась сказать ему правду. Он сам обо

всем догадался и спокойно, без жалоб, принял неизбежное.

Помню одно воскресенье, когда мы все собрались в доме на улице Пюи-ан-Сок, и ему, девяностолетнему старику, первый раз в жизни вырвали зуб.

Это взял на себя Артюр, шляпник Артюр; он у Сименонов был младшим любимым сыном: толстощекий, пухлый, румяный парень, светлоглазый, белокурый, с вьющимися усами.

Артюр хохочет, распевает, шутит с утра до вечера. Он свеж и смазлив, точь-в-точь влюбленный с почтовой открытки, одной рукой протягивающий букет цветов, а другою прижавший к сердцу.

Жюльета, его жена, такая же румяная, белокурая и смазливая, тоже словно сошла с наивной открытки. Среди Сименонов-внучат, заполняющих по воскресеньям двор, на ее долю приходится целых трое.

У столяра Люсьена тоже трое. Он поменьше ростом, поплотнее, посерьезнее братьев — законченный тип честного исполнительного мастерового, каких изображают в пьесах из народной жизни, где они, преисполненные чувством собственного достоинства и честностью, говорят хозяину всю правду в глаза.

Тетя Франсуаза приходит без Шарля — у него молебен и вечерня. У нее двое детей, и она ждет третьего.

Есть еще Селина, младшая дочка. Она недавно вышла замуж за Робера Дортю, наладчика. В скором времени она тоже обзаведется тремя детьми.

Вокруг Папаша и Кретьена Сименона представлены все поколения. Одному младенцу суют грудь, другому греют рожок с молоком — здесь вечно пахнет, как в яслях. Тут же стирают пеленки, вешают их на веревку над плитой, вытирают розовые попки.

Все, кроме Анриетты, чувствуют себя здесь как дома.

На улице Пюи-ан-Сок все лавки открыты: в те годы магазины работали и вечером, и по воскресеньям. Время от времени звонит дверной колокольчик, и Кретьен Сименон на минутку выходит.

Вот он в магазине — важный, неторопливый. Примеряет кому-то фуражку или шляпу. Вкусы покупателя его не беспокоят. Шляпник он или не шляпник? Даром, что ли, столько лет изучал ремесло?

— Не кажется ли вам, что эта шляпа мне велика?



— Нет.

— Как вы считаете, может быть, лучше...

— Эта шляпа прямо для вас!

В четыре часа на кухне обед. Обедают в две смены. Чудовищных размеров пироги, кофе с молоком. Сперва кормят детей, потом отсылают их играть во двор, чтобы не мешали взрослым, которым тоже пора за стол.

Во дворе неизменный запах застоявшейся воды и бедности.

Все Сименоны здесь у себя, в своем квартале, в своем доме, в своем приходе. Им понятно, о чем говорят с ними церковные колокола.

Никто ничем не занят, никто ни во что не играет. Разговоров тоже не ведут.

Мужчины сняли пиджаки и, за неимением кресел, слегка откинули назад стулья, прислонив их спинками к стене. Женщины занимаются детьми, обсуждают питательные смеси, детские поносы и запоры, кулинарные рецепты.

А рядом семейство Кранц, у которого нет своего двора, выставляет стулья прямо на тротуаре напротив «Больницы для кукол».

Прочие семьи на этой улице, в этом квартале тоже расположились поуютнее под сенью башни святого Николая, которая словно охраняет их покой.

Почти все они родились в этом же приходе, здесь пошли к первому причастию, здесь женились, здесь и умрут.

И только фламандочка Анриетта с ее оголенными нервами, с беспокойными глазами, последыш рассеявшейся семьи, хоть и носит фамилию Сименон, чувствует себя не в своей тарелке. Зато и окружающие никогда не признают в ней свою.

Может быть, ее коробит от вульгарных и шумных шуток Артюра? От синих точек на руках и лице у Папаши? От ледяной властности матушки Сименон?

Когда-то, когда дети еще не переженились, не повыходили замуж, за столом их бывало тринадцать. И под рукой у Кретьена Сименона, сидевшего во главе стола, всегда лежал пруттик.

Кто опаздывал к столу хоть на несколько секунд, шел спать не евши. Кто болтал, баловался за едой, получал удар прутиком по пальцам — без гнева, без лишних слов.

А матушка Сименон сновала, не присаживаясь, между столом и плитой.

В жизни, по мнению Сименонов, нет ни сложностей, ни тайн. Для них ничего не может быть скандальнее поведения Анриетты, у которой вечно болит поясница или живот, которая трудно рожала, а теперь, возможно, ляжет на операцию, и которая вдруг ни с того ни с сего раздражается рыданиями из-за какой-нибудь ерунды — просто потому, что она из породы неуравновешенных людей и все ранит или пугает ее. В таких случаях матушка Сименон смотрит на Дезире. Слов не требуется. Она смотрит, и он встает, смущенный, униженный.

— Идем, Анриетта...

Он ведет ее на улицу — пройтись до угла.

— Что с тобой такое?

— Не спрашивай!

— Никто тебе ничего не сказал, не сделал...

Это верно, и в этом-то весь ужас! Но разве Дезире поймет? Он ведь тоже Сименон.

— Ну-ну, постарайся же не портить другим настроение!

Она сморкается. Прежде чем вернуться, улыбается через силу, поглядевшись в зеркало у кондитера Лумо.

Она крошечная, молоденькая, слабенькая. Все в один голос твердят, что здоровье у нее никуда не годится.

И все же будущее за ней. На смену полосе Сименонов придет полоса Брюлей, и уже тогда будут сплошные Брюли: долговязый Дезире начнет ходить с женой на набережную Сен-Леонар, и к Вермейренам, и в Сент-Вальбург. И уж там он окажется чужаком: при нем, не церемонясь, станут даже говорить по-фламандски.

Тринадцатая, последыш. Комок нервов.

А когда почти все Сименоны умрут, сам Кретьен Сименон, глава династии, будет приходить к ней по утрам, выбирая те часы, когда она дома одна. Он будет садиться в уголке у огня, как Леопольд когда-то, и жаловаться ей, словно ребенок, а она украдкой будет кормить его кусненьким.

Анна, живущая в Сен-Леонар, богата: у нее два дома. Муж Марты Вермейрен еще богаче — он один из самых состоятельных людей в городе.

У них есть дети. Они застрахованы на случай болезней в старости.

Тем не менее все они, один за другим, придут за утешением в скромную кухоньку к той самой Анриетте, у которой всю жизнь глаза на мокром месте.

Четыре стены, выкрашенные масляной краской, вычищенная до блеска плита, суп на огне и на камине бу-дильник, тикающий как сердце; деревянный, вымытый с песком стол, плетеное кресло; за окном — дворик, где сохнет белье, да беленая известкой стена. В супнице — несколько пожелтевших бумаг, вместо картин — две ли-тографии.

Анриетта сама еще не знает, что ей нужно; ей всегда и всюду плохо. Она очень удивилась бы, скажи ей кто-нибудь, что эта кухня, которую она так терпеливо приби-рает, повинуюсь точному, почти животному инстинкту, станет чем-то вроде исповедальни для всей родни. Сюда будут ходить к самой беспокойной из женщин, чтобы об-рести немного покоя.

Есть в году один день, когда в жизнь Сименонов на улице Пюи-ан-Сок вторгается великолепие. Это совпада-ет с первым июньским теплом и с цветением роз.

Наверно, и в других приходах бывают такие пыш-ные, торжественные церковные праздники. Но где еще прихожане живут такой дружной семьей, как у святого Николая? Где еще люди так коротки между собой, как обитатели переулочков с коммерсантами улицы Пюи-ан-Сок?

Все начинается серенадой в субботний вечер. Весь квартал, мостовые, тротуары, стены домов чисты, как пол у прилежной хозяйки. Дети еще пахнут мытьем, которое им устроили накануне в лохани для стирки, и помадой, удерживающей их непослушные вихры в должном по-рядке.

Неужели найдется хоть один мальчик, который не обновит завтра синюю матроску или охотничий костюм-чик, берет или соломенную шляпу, ботинки со скрипом и белые нитяные перчатки?

Мужчины приготовили «Букет». Это огромное соору-жение, шест высотой в несколько метров, скорее даже мачта с реями, вроде корабельной. Эту махину, изукра-шенную тысячами бумажных цветов, несут стоямя не-сколько человек.

Впереди идут музыканты, позади — дети с цветными фонарями, укрепленными на концах палок.

Процессия движется от дома ризничего, что рядом с церковью, тут же останавливается перед кафе на углу улиц святого Николая и Иоанна Замаяского.

Она будет делать остановки перед каждым кафе, перед каждым магазином, и повсюду ее участников будут звать на рюмочку, так что вскоре за процессией потянется все более пронзительный запах можжевельниковой настойки.

В тишине темнеющих улиц мужчины и женщины готовят временные алтари для завтрашнего шествия. Каждое окно в каждом доме превращается в маленький алтарь с медными подсвечниками, с букетами роз и гвоздик.

На площади Эрнста Баварского, где обычно обучается по воскресеньям Национальная гвардия, пиротехник расставил сотни шутих. Когда народ пойдет с праздничной обедни, здесь начнется волшебное зрелище.

На этом празднике никогда не бывало недостатка в солнце. Небо чистое. Лето!

Шутихи доверху набиты черным порохом. Вот наконец и пиротехник — он тащит раскаленный докрасна брус, с которым поочередно спешит от шутихи к шутихе, и квартал оглашается грохотом канонады.

Шум и гам в самом разгаре, и в этот момент процессия выходит из церкви. Впереди бегут мальчики и девочки в вышитых крахмальных платьицах; они разбрасывают вокруг розовые лепестки и кусочки цветной бумаги, которые неделями нарезали специально к этому дню.

Все, что было вчера, исчезло. Мир преобразился. Город — уже не город, улицы — не улицы, и трамваи почтительно застывают на перекрестках.

Необычный запах опережает процессию и стелется вслед за ней; он будет царить до вечера и даже до завтрашнего дня — запах мясистых красных роз, истоптанной листвы, но больше всего — ладана. И конечно, пирогов, пекущихся в каждом доме, а также ярмарочного праздника, который грянет с минуты на минуту.

Шум, который, как шум морских волн, ни с чем не спутаешь, целая симфония звуков, поступь тысяч людей, следующих в процессии; гимны на разные мелодии, в разных регистрах, сменяющие друг друга по мере того, как шествие движется дальше; школьницы и воспитан-

ницы конгрегации пресвятой девы; едва они прошли, как слышатся басы мужчин, одетых в черное, не отрывающих взгляда от антифонариев ¹, духовой оркестр уже на углу, вот он заворачивает; все слышней пронзительные голоса диаконов и причетников: значит, скоро появится сам настоятель, неправдоподобно прямой в своем расшитом золотом одеянии и выступающий со святыми дарами в руках, под балдахин, который несут именитые граждане.

Это растянувшееся на два километра шествие обходит каждый переулок, извиваясь так, что голова соединяется с хвостом; иногда оно пересекает само себя и все же представляет собой единое целое, точно так же как сольются вскоре в единый нестройный хор звуки праздника, готовящегося на ярмарке: музыка десяти — пятидесяти каруселей, выстрелы в тире, выкрики торговцев сладостями.

Несут святыни: черную богородицу из церкви святого Николая, святого Роха, святого Иосифа; они проплывают на щитах, раскачиваясь так сильно, что боязно смотреть; впереди несут хоругви, идут, сгруппировавшись по братствам, мальчики, девочки, мужчины, женщины, старики.

Ураган звуков, красок, запахов. В каждом окне — горящая свеча. Мужчины и женщины опускаются на колени, крестятся. Потом хозяйки бегут домой — присмотреть, чтобы не пригорело жаркое.

Уже скоро, ровно в два часа, дети и внуки Сименоны соберутся, разряженные во все новое, во дворе на улице Пюи-ан-Сок.

Весь квартал пахнет праздником, пирогами, лакомствами, съеденными и еще не съеденными. В воздухе — неповторимое посверкивание пыли, поднятой шествием и оседающей на мостовых.

На площадях Делькур и Баварской, у моста Лондо уже закружились карусели.

Этим утром Кретьен Сименон был одним из восьми именитых граждан, несших балдахин над святыми дарами. У меня на шее на голубой атласной ленте висела изукрашенная корзинка, и я рассыпал розовые лепестки перед домом, а мама держала меня за руку.

¹ Сборник католических церковных песнопений.

Сегодня все красивы. Щеки разрумянились, глаза блестят. Одновременно происходит столько событий, что голова идет кругом. В колясках режут младенцы. Сегодня родителям некогда с ними возиться.

Теперь у каждого хлопот полон рот. Нас собралось человек тридцать всех возрастов, все толкуются во дворе и на кухне. Пирогов напекли столько, что не верится — неужели мы это все съедим. И после каждого пирога надо мыть посуду.

Детей разбирают. Старших взгромождают на карусели, покупают им мороженое, игрушки по два су — бумажные вертушки на палочке или воздушные шарик.

Чуть покончили с едой, как снова зовут за стол. Все разбредаются, в глазах почти лихорадочный блеск.

Обо всем надо позаботиться. Везде праздник. Со всех каруселей несется музыка, во всех тирах слышна стрельба.

— Наверное, уже время греть рожки?

Ужин длится с шести часов. Бабушка запекла окорок, его едят с майонезом, с салатом.

Мужчин сегодня не узнать — так их преобразили выкурные сигары и пропущенные стаканчики.

Праздничные запахи тускнеют, в воздухе все больше пыли. Солнце скрылось, и яркие краски, не спеша, уступают место фиолетовым сумеркам, но видно еще далеко-далеко вдаль.

В глазах пощипывает, во всем теле тяжесть, особенно у нас, детей. Но все равно никого не оторвать от сказочного зрелища.

— Еще чуть-чуть...

— Неси его, Дезире. А я повезу коляску.

Все целуются. Я — как пьяный, даже забыл чмокнуть Папашу в шершавую щеку.

Уходим с улицы Пюи-ан-Сок. Расстаемся с праздником и с огнями. Перед нами широкие безлюдные улицы.

— Ключ у тебя?

— Ты сам его взял.

— Нет, ты спрятала его в сумочку.

Еще немного, и Анриетта опять расплачется — от усталости и обиды: она весь вечер мыла посуду. Сама вызвалась, помня, что она всего лишь невестка. И теперь страдает, что никто не попытался ее удержать. Как будто у Сименонов было время вникать в эти тонкости!

— Нашел ключ?

— Я точно помню, что он был у тебя в сумочке.

Голоса на тихой улице Пастера звучат с неприличной гулкостью. Меня опускают на землю.

— Поищи в карманах.

В замочную скважину видно желтое пятно света, пробивающееся из конца коридора сквозь застекленную дверь хозяйской кухни.

Хозяева там. Они не катались на карусельных лошадках, не принимали гостей. Наверняка сжевали свой пирог, сидя нос к носу — двое старых эгоистов.

Если ключ не отыщется, придется звонить, и, открывая нам, они состроят кислые мины. Не преминут заметить, что жильцам третьего этажа не годится терять ключ.

— Вот он!

— Я же говорила, что ты сунул его в карман.

В доме потушен газ. Дезире чиркает спичкой.

Три лестничных пролета. Родители втаскивают коляску с моим братом Кристианом. Хозяин прижался носом к стеклу двери. Поднимаемся медленно. Нас с братом несут на руках. Зажигается керосиновая лампа, поправляется фитиль. Минуем кухню, оттуда пахнет остывшим обедом, запустением.

— Присмотри минутку за братиком.

Мать и отец вкатывают наверх коляску.

— Осторожнее, стена!

Не дай бог ее поцарапать!

Мама устала. Ей надо приготовить брату последний рожок с питанием, раздеть меня и уложить. Есть и другие дела, куча мелких хлопот, надо подлить керосину в лампу, а спину ломит и живот болит.

Тем временем Дезире снял пиджак и, посвистывая, идет за кувшинами — наносить воды на утро.

9

*28 апреля 1941,
Фонтене*

— Жорж, если ты не будешь слушаться, за мной придут и отвезут в больницу.

Бедная мама, ты сама не представляешь, какими кош-

марами оборачивался для меня твой невинный шантаж, какие ужасные картины одолевали меня вечерами, когда я засыпал.

Ты еще добавляла иногда:

— Если будешь дразнить братика, я попрошу, чтобы мне сделали операцию.

И я представлял себе сперва фиакр под дождем, на темной улице, с двумя желтыми фонарями и кучером в широком плаще, как тогда, у Фелиси. Придут два верзилы и уведут тебя, а я останусь в пустом доме вместе с братиком, и ты никогда больше не вернешься.

Бедная мама! Я знаю — плоть твоя жестоко страдала оттого, что Кристиан, весивший при рождении больше одиннадцати фунтов, был слишком тяжел для тебя. Знаю — тебе приходилось носить воду и уголь ведрами, а вечерами гнутья над корытом и утюгом.

Но Валери никогда не была замужем, а ведь она вздыхала так же тяжело, как ты. Стоило вам поговорить пять минут, и начинались потоки жалоб на все и ни на что.

Так уж устроены вы и вам подобные. Потому вы и тянетесь друг к другу, и выискиваете таких, как вы, чтобы вместе оплакивать людские страдания.

Дезире, вернувшись, хмурит брови: он издали чувствует слезы и они ему не по нутру.

Дезире сам болен серьезнее, чем все они, вместе взятые, но ни разу никому об этом не сказал. Кроме того, он инспектор благотворительного общества и раз в месяц обходит людей, живущих на самых грязных улицах, таких как Разночинная или Львиный ров. По таким улицам идешь через силу, потому что от сточной канавы прямо посреди мостовой исходят тошнотворные запахи, а из окон и дверей, черными дырами глядящих на улицу, плывет зловоние.

Там живут тысячи женщин и мужчин, детей и стариков, все больные, горбатые, увечные, в язвах, с туберкулезом: спят прямо на полу человек по десять—двенадцать в одной комнате.

Но их судьбы не волнуют мою маму. Она их не знает, не желает их видеть. Когда мы случайно проходим одним из таких переулков, мама подгоняет меня, ускоряет шаг. Она оттаскивает меня в сторону, если навстречу идет ребенок в лохмотьях, чтобы он ко мне, не дай бог, не

прикоснулся. Это всё уличные мальчишки, дурные женщины, подонки.

В газетах поговаривают о забастовках, митингах, демонстрациях. Льеж — город горняков и металлургов. На окраинах, куда ни глянь, — трубы, и по вечерам они плюются огнем прямо в небо. Возвращаясь после загородной прогулки, мы мельком замечаем, как в царстве терриконов, рельсов, мостовых кранов полуголые люди сражаются у пылающих печей с жидким металлом. По вечерам этих людей можно встретить на улицах. У них черные лица и руки, на лицах белы одни глаза, и это очень страшно.

Мама и Валери их боятся. Они не задаются вопросом, каково этим людям будет отмываться дома в их тесных конурах. Эти люди работают по тринадцать-четырнадцать часов в сутки. Их дети с двенадцати лет уже ходят с ними. А старухи с мешками на скрюченных спинах шаривают еще не остывшие терриконы в поисках куска угля, который может сгодиться.

Здесь просторнее, чем в остальном городе, и всюду копошатся люди. Их царство тянется от Серени и Флемалля до Херштала и Вандра.

В этих кварталах там и сям приткнулись подозрительные кабаки, пропахшие можжевелевой водкой. Тамошние женщины никогда не наденут шляпки, они ходят в стоптанных туфлях и с платками на плечах.

— Боже мой, Дезире! Неужели они объявят всеобщую забастовку?

Это такой же навязчивый кошмар, как угроза войны, и разговоры о нем тоже ведутся из года в год. Никто не знает доподлинно, что это такое: покуда видели только несколько демонстраций, во время которых по улицам ходили колонны молчаливых людей в рабочей одежде, с решительными взглядами.

Всеобщая забастовка — это, должно быть, куда страшнее: чудовищное наводнение, нашествие, наплыв, разгул десятков тысяч неведомых существ, которых никто не знает и не желает знать, которые живут в шахтах и у печей, где выплавляют медь и цинк, дети которых ходят в бесплатные школы. И все эти немытые, невоспитанные люди, которые сквернословят и пьют можжевелевую водку, вылезут из отведенных им трущоб — в глазах ненависть, на устах проклятья.

Тебе, малыш Марк, все это может показаться непостижимым, чудовищным.

Но твою бабушку нельзя винить. Она тут ни при чем. Она думает и чувствует так, как ее научили.

— Разве не позор, — вопрошает она, — что Дезире, такой образованный, такой прилежный, получает жалких сто пятьдесят франков в месяц?

Но господина Майера она в этом не винит: господин Майер богат. Она скорей готова обвинить мужа в том, что он не способен подняться по общественной лестнице ступенькой выше.

У рабочих, как видно, есть не только самое необходимое: иначе почему мы видим, как они выходят из кабаков, почему субботним вечером на улицах столько пьяных? Даже в убогих закоулках, которые инспектирует мой отец по поручению благотворительного общества, встречаются пьяницы. Мало того, многие женщины тоже пьют.

А нужна ли рабочему квартира за тридцать франков в месяц на чистой улице? Да ни один рабочий и не посмеет поселиться на улице Пастера, где целых два дома с лоджиями: в одном, по соседству с нами, живут рантье, обладатели прекрасной пиренейской овчарки; другой принадлежит судье. А что за дом у первой скрипки Королевского театра! Даже Люсьен Сименон ни за что не стал бы жить на улице Пастера, а ведь он не простой рабочий, а столяр-эбенист.

Рабочим, во всяком случае хорошим рабочим, платят пять франков в день, почти столько же, сколько моему отцу, а он служащий и учился до семнадцати лет. У рабочих почти нет расходов. Они одевают детей в кое-как перешитое старье. Их жены бесплатно рожают в родильных домах. Когда они болеют, их кладут в больницу. Их дети ходят в бесплатную школу.

— Всё тратят на еду да на выпивку, — говорит Анриетта недопускающим сомнений тоном.

Разве она не видела мясных и колбасных, где сама она так тревожно следит за весами, как простоволосые женщины, настолько убогие на вид, что им вполне можно подать одно су на бедность, покупают огромные бифштексы, даже не спросив о цене!

— Вот увидишь, Валери, в один прекрасный день они устроят всеобщую забастовку и разнесут весь город.

И больше всего меня беспокоит, что Дезире в Национальной гвардии.

Национальную гвардию несколько раз уже приводили в боевую готовность во время забастовок и митингов на отдельных предприятиях. Раздавали патроны — и холостые и боевые. Однажды на площади Святого Ламбера в мертвой тишине прозвучало первое предупреждение:

— Мирных граждан призываем разойтись по домам. Гвардия будет стрелять.

В ту ночь мать не спала. Дезире вернулся под утро, с винтовкой на ремне, с петушиными перьями на шляпе.

— Ну что?

Он ухмыльнулся. Ему было весело. Вот тебе разница между теми, кто участвует в драме, и теми, кто переживает ее в своем воображении.

— Стреляли?

— Мы не слышали — стояли слишком далеко. Был один выстрел где-то в районе «Попюлер» — там жандармы атаковали.

Дезире не знает, что ночью двое убито и несколько человек ранено. Он оказался слишком далеко.

Теперь понимаешь, сынишка? Рабочие просто слишком далеки от Анриетты. Она их не знает. Они грязные, а главное, совершенно невоспитанные.

А в жизни превыше всего ценится именно воспитанность. Воспитанность и чувствительность.

Анриетте не повезло: чувствительности у нее в избытке, она от этого даже страдает. К тому же она угодила в семью, где чувствительность не в почете.

Вот потому-то Анриетта повела борьбу. Эта безмолвная борьба, в которой у Анриетты есть тайные союзники, продлится два года и завершится полной победой моей мамы. Ей удастся преодолеть даже инертность Дезире и его эгоизм.

По пятницам после ужина Дезире ходит на вист к Вельденам, оставляя жену вдвоем с Валери, словно ему невдомек, что Валери — душа заговора.

Под силу ли ему отказаться от своего единственного развлечения? Тем более что он, этот лучший служащий своей конторы, чувствует, что на два часа поднимается еще на ступень выше.

Вельдены живут на улице Иоанна Замаасского, они производят медную посуду, и в мастерской под их нача-

лом состоит человек десять рабочих. Они почти такие же богачи, как господин Майер.

Мыслимое ли дело, чтобы господин Майер сел играть в карты с Дезире Сименоном?

В их компании состоит и Эмиль Гризар, румяный низенький человечек, но малый рост не мешает ему быть архитектором с государственным дипломом.

Наконец, есть еще господин Рекюле, начальник отдела на Северо-Бельгийской железной дороге, обладающий правом бесплатного проезда во втором классе.

Дезире у них душа общества, лучший игрок в вист, он ведет подсчет очков. Ему доверен на хранение ящик для денежных ставок. Братья Вельдены наливают гостям по стаканчику, но всегда только по одному: два — это уже пьянство. Дезире весел, усы у него влажные, глаза блестят, он и думать не думает о кознях, которые замышляются тем временем у него дома.

В конторе Майера он имеет право на три дня отпуска ежегодно. И каждый год он живет эти дни на деньги, выигранные в вист. Вельдены, Гризар, Рекюле и мой отец уезжают ненадолго — то в Остенде, то в Париж, то еще куда-нибудь.

Последний раз они ездили в Реймс, и это обернулось катастрофой, отзвуки которой будут сопровождать все мое детство. Из Брюсселя отец привез индийскую шаль; из Остенде — шкатулку, украшенную ракушками, из Парижа — пару длинных, по локоть, перчаток.

А в Реймсе у Гризара живет брат-виноторговец, и по этому случаю наши любители виста посетили подвалы крупной фирмы шампанских вин. День отъезда пришелся на воскресенье, и все магазины, как выяснилось, были закрыты.

Вернувшись, отец поцеловал Анриетту и извлек из кармана пробку, огромную пробку от шампанского — ее подарили ему в качестве сувенира. Он выложил пробку на стол. Мать молча ждала.

— Мне не удалось привезти тебе подарок, потому что...

Глаза у Анриетты расширились, и она ударилась даже не в слезы, а в самую настоящую истерику. Она захлебывалась горем и негодованием:

— Пробка!.. Пробка!.. Пробка!..

Она-то никогда не путешествовала. А он поехал с

друзьями в Реймс. Каждый год проводит три дня отпуска с друзьями. Побывал в винных погребах, пил там шампанское, и у него хватает дерзости, и наглости, и цинизма, и... и... привезти ей пробку!

Отныне эта пробка, все тяжелея с годами, будет влачиться за Дезире вплоть до его смертного часа.

Положительно, Сименоны — люди бесчувственные!

Попытаюсь теперь поподробней описать эту чувствительность, в надежде, что приоткрою тебе еще одну страницу в истории человеческих отношений, а может быть, что-нибудь в них и объясню.

Например, мама только что снесла вниз коляску. В коляске Кристиан, тихий, пухлый, безмятежный младенец, полная противоположность мне в его возрасте. Я иду с мамой, привычно уцепившись за ее юбку.

В двух шагах от нашего дома — дом с лоджией, принадлежащий супругам Ламбер. Они рантье, самые настоящие рантье, люди, с детства живущие на ренту: это их профессия. Они ничего не делают, но не потому, что уже состарились. Им не от чего отдыхать. Они никогда в жизни не работали.

Они владеют акциями, облигациями, ценными бумагами. Кроме того, им принадлежит несколько грязных домов на маленьких улочках, и это наилучшее помещение капитала, потому что бедняки в конце концов всегда платят за жилье.

Супруги проводят дни в лоджии. Старый господин Ламбер, если не выгуливает пса, греется на солнышке. Старуха госпожа Ламбер вышивает или вяжет крючком. Барышне Ламбер скоро стукнет сорок, она весьма изысканная особа и проводит время в тех же занятиях, что и мать.

Их пес, огромная, великолепная пиренейская овчарка с длинной шерстью, целыми днями полеживает перед домом.

Анриетта, выйдя на улицу, сразу же поднимает глаза на лоджию и сдержанно улыбается. Потом наклоняется погладить пса. Снова взгляд на лоджию и новая приветливая улыбка, в которой целая гамма оттенков, и гамма тем более богатая, что госпожа Ламбер кивает, а барышня слегка кланяется и даже машет мне рукой.

Дезире бы сказал (и говорит при случае):

— Такого огромного пса нельзя пускать на улицу без намордника.

Дезире недаром из семьи Сименонов: мелкие знаки внимания, идущие из лоджии на улицу, для него ничего не значат. А на самом деле значат они вот что: «Смотрика, опять молодая мама из соседнего дома, с третьего этажа вышла погулять с детьми. Нелегко ей воспитывать их на третьем этаже и содержать в такой чистоте! Какая она худенькая! Как устала, наверное? Какая гордая и какая храбрая! Надо бы показать ей, что она нам симпатична. Надо бы улыбнуться ее детям. Старший совсем худенький. Достойная женщина и отлично воспитанная!»

За этим следует немой ответ Анриетты: «Вы видите, я тронута вашим вниманием. Вы меня поняли. Я делаю все, что в моих силах. И все-таки должна ограничиваться самым необходимым. Вот вы — рантье. Вы богаче всех на нашей улице. У вас есть лоджия. Благодарю вас, что вы мне киваете. И чтобы доказать, что я умею быть благодарной и хорошо воспитанна, я глажу вашего огромного пса, которого в глубине души панически боюсь и который в любую минуту может броситься на моих детей. Благодарю вас! Благодарю! Верьте, что я умею ценить...»

Прости, бедная мама, но все это правда, и мне хотелось бы, чтобы твой внук не знал в жизни бремени, которое весь век давило на твои плечи. Все это правда, и не случайно, пройдя метров десять, ты устремляешь взгляд на второй дом с лоджией. Там ты не увидишь судьи, не увидишь и его жены: судья — холостяк. В лоджии только служанка судьи, но это почти одно и то же, потому что служанка у судьи не из тех женщин, какие ходят за покупками без шляпки, распатланные. Нет, это весьма почтенная особа; после обеда она тоже посиживает в лоджии и улыбается тебе оттуда.

— Какой хорошенький малыш! — сказала она тебе однажды, склонившись над коляской Кристиана.

Отныне сомнениям нет места: Кристиан и впрямь хорошенький малыш.

И наоборот, госпожа Лори может сколько угодно караулить тебя на пороге своего дома, нежничать со мной, припасать для меня сласти в кармане передника — ответом на это будет улыбка, говорящая приблизительно

следующее: «Благодарю! Я благодарю вас из вежливости, поскольку так полагается. Но мы с вами не одного круга. Ни Ламберы, ни служанка судьи не кивнули бы вам из своих лоджий. Всему кварталу известно также, что вышли вы из ничтожества, были приходящей прислугой и позволяете себе сквернословить, как никто в нашем квартале. Я благодарю вас. Но мне неудобно перед окружающими, что вы меня остановили. Я предпочла бы пройти мимо вашего дома, не задерживаясь».

Между прочим, Лори — инженер, живет в собственном доме. Он чудовищно толст, и жена не уступает ему в толщине. Как говорится, они живут, чтобы есть. Оба жирные, сытые, мокрогубые, глазки у обоих маленькие, как у откормленных поросят.

Они, не стесняясь, обращаются к людям на «ты». Госпожа Лори при всех заявила зеленщику:

— Сижисмон, ты ворюга! Опять всучил мне гнилую морковку.

Она выходит на порог бог знает в каком виде, в халате, в стоптанных домашних туфлях на босу ногу, и как ни в чем не бывало окликает людей, идущих по другой стороне улицы:

— Иди ко мне, малыш! Иди, толстуха Лори угостит тебя кусочком шоколада.

Анриетта не смеет меня не пустить.

— Иди, — говорит она, — и не забудь сказать госпоже Лори спасибо.

И губы ее кривятся в улыбке, которой ты никогда не поймешь, мой Марк, если не получишь безукоризненного воспитания. А я очень надеюсь, что ты его не получишь!

Улица Пастера невелика. За домом госпожи Лори — дом господина Эрмана, первой скрипки Королевского театра, щеголя с прекрасными белокурыми волосами, правда изрядно поредевшими.

Следующий дом, с вечно распахнутой дверью, принадлежит семье Арменго.

— Бедная моя Анриетта!..

Тощая и унылая Юлия Арменго — одна из сообщниц Анриетты.

Они обычно поджидают друг друга, чтобы вместе идти гулять. У Юлии двое детей: девочка немного старше меня, мальчик — мой ровесник.

Вот мы под вязами на площади Конгресса. Там стоят



скамейки, выкрашенные зеленой краской. Брата укачивают в коляске, чтобы он заснул. Нам, старшим, велят: — Ступайте играть и ведите себя хорошо.

И тут, в предвечерней тишине, нарушаемой лишь трамваем четвертого маршрута, громяющим мимо нас каждые пять минут, крепнет заговор. Валери бывает наперсницей только в пятницу вечером, да и разве она все поймет!

А госпожа Арменго — из нашего квартала. Ей знаком этот дом на углу улицы Общины, напротив которого сидят сейчас обе женщины.

— Она платит за жилье всего шестьдесят франков в месяц...

Она — это женщина лет тридцати, красивая брюнетка с матовым цветом лица, волосы у нее вечно выбиваются из прически, и я ни разу не видел ее одетой для выхода — вечно она в пеньюаре из бледно-голубого шелка, кое-как накинутом поверх кружевного белья.

В доме, излучающем радость, раскрыты все окна, в комнатах виднеются платяные шкафы с зеркалами, угадываются постели, гравюры по стенам. Служанка вытряхивает ковры, на подоконниках проветриваются матрасы.

— Пять комнат по тридцать франков в месяц... Мне говорили, что за ведро угля она берет с них пятьдесят сантимов; на каждом ведре двадцать сантимов зарабатывает!

Анриетта, не вставая, убаюкивает Кристиана в коляске.

— Идите играть, дети! Только не пачкайтесь... Я узнала, Юлия, что она позволяет принимать гостей. Но к студентам, например, никакие гости ходить не должны. Я бы ни за что не разрешила им принимать женщин. Либо не снимайте у меня, либо подчиняйтесь порядку... А если кормить жильцов завтраком или даже не только завтраком...

Дезире сидит в своей конторе, не подозревая, что здесь замышляется. И меньше всего предполагает, что скоро у себя дома окажется жильцом, да еще не самым выгодным.

— Если не будешь слушаться, меня заберут в больницу.

И тем не менее — будущее за ней.

30 апреля 1941 года,
Фонтене

Я думаю, каждому нужно сознание, что у него есть что-то свое, собственное. Для Дезире «свое» — это то, чего нельзя взять в руки: солнце, встречающее его, когда он проснется; запах кофе; радость оттого, что начинается новый день, который будет таким же спокойным и ясным, как другие; затем улица — он любит ее, как своей собственностью; контора, бутерброд, который он съедает в полдень в одиночестве, а вечером — газета, которую можно прочесть, сняв пиджак.

Сокровище Анриетты — частью в супнице, под квитанциями об уплате за квартиру и свидетельством о браке, частью — в глубине платяного шкафа, завернутое в старый корсет.

Когда она только училась хозяйничать, ей не хватило денег до конца месяца. Она об этом не забыла и не забудет уже никогда.

Кроме того, она знает, что мужчины, в особенности из породы Сименонов, не думают о возможных катастрофах.

Муравьи, чтобы запастись пропитанием на зиму, тащат на себе поклажу куда тяжелей, чем они сами, спуют без отдыха с утра до вечера, вызывая наше сочувствие.

Добыча Анриетты требует массу терпения, хитрости, плутовства, и все равно она ничтожна.

Например, утром на рынке, куда она ходит за овощами и фруктами, всегда можно поторговаться, здесь выгадать одно су, там два сантима. Еще два су выгадываются, если отказаться от поездки на трамвае. В теплом вкусном аромате кондитерской «Озэ», куда меня водят по четвергам полакомиться пирожным с кремом, Анриетта ослепительно улыбается продавцу:

— Нет, благодарю, только малышу. Я сейчас совершенно сыта.

Еще десять сантимов!

А если мясник утром в благодушном настроении бесplatно отдаст нам мозговую косточку — к сокровищу прибавляются еще пять сантимов.

С течением времени все эти сантимы превращаются в пятифранковую монету.

Сперва эти монетки достоинством в пять франков служили своеобразной страховкой на случай катастрофы: что нас ждет, если Дезире вдруг заболеет или попадет под трамвай? Но постепенно у них появляется вполне определенное назначение.

Можно ли винить мою маму в цинизме? Вечером она вздыхает, хватаясь за поясницу:

— Спина болит. Трудно с двумя детьми сразу. Занимаюсь Кристианом, а сама только и думаю, вдруг Жорж в это время что-нибудь натворит.

— Давай отдадим Жоржа в детский сад.

В своем ослеплении Дезире ничего не понимает. Он не знает, что не далее как сегодня на площади Конгресса, убаюкивая моего брата в коляске, Анриетта посматривала на дом, принадлежащий dame в голубом пенъюаре.

Начинать следует совсем скромно, скажем, с трех комнат. Одна получше — в нее поставить дубовую мебель, купленную после свадьбы, и гардероб с двумя зеркалами. И сдавать эту комнату не дешевле, чем за тридцать франков в месяц. Для двух других, по двадцать франков, можно подобрать обстановку на распродажах.

Отныне наш квартал для Анриетты уже не просто квартал близ площади Конгресса. Студенты, которых так много на улицах, не простые прохожие.

Анриетта на каждой улице высматривает дома, где сдают комнаты студентам.

С невинным видом совершает она первые шаги в задуманном направлении.

— Это у вас русские снимают, госпожа Коллар?

— Двое русских и один румын.

— Румын — такой высокий, элегантный брюнет?

— Еще бы ему не быть элегантным! У него родители богачи, присылают ему двести — триста франков в месяц. И он все-таки ухитряется делать долги. Но я за него не беспокоюсь. Русские — те победней. У одного мать прислуга, он живет на пятьдесят франков в месяц.

— А где же они питаются?

Анриетта — с виду воплощенное простодушие — жадно ловит каждое слово.

В секрет посвящены только Валери и госпожа Коллар.

— Надо бы поискать, где сдается небольшой дом.

Одно из главных препятствий устранено: я хожу в детский сад, к славной доброй сестре Адонии.

Нас, малышей, двадцать или тридцать; родители приводят нас утром, и сестра Адония, коротенькая, зато неописуемо толстая, тотчас берет каждого под свое крыло.

Сестра Адония — белолицая, нежная, мягкая, вся как будто съедобная. На ней длинное черное платье до пят, и кажется, она не ходит, а скользит по земле.

Каждый ребенок приносит с собой в бидончике кофе с молоком. У каждого — яркая железная коробка, а в ней бутерброды и кусок шоколада.

Все бидончики стоят рядышком на большой печи посреди класса.

Тут меня ждет первое в жизни разочарование.

Почти у всех красные или синие эмалированные бидончики, а у меня — простой, железный.

— Цветные бидоны — это безвкусица! — решила Анриетта. Впрочем, дело еще в том, что от эмали легко откалываются куски.

Анриетта снова хитрит, вечно хитрит; от этой привычки она не избавится до конца жизни. Эмалированные бидоны просто-напросто дороже, да и сама эмаль слишком хрупкая.

Безвкусами провозглашаются также бутербродные коробки, ядовито-красные и ядовито-зеленые, с картинками, на которых изображены дети, играющие в дьяболо¹, или сцены из сказок Перро.

На моей коробке — никаких картинок.

Никогда я не надену клетчатого передничка — одного из тех, что мне очень нравятся: в розовую клеточку на девочках, в голубую на мальчиках.

Так одеваются только дети рабочих!

Почему дети рабочих? Тайна! А я обречен носить черные сатиновые передники, немаркие и практичные.

У других детей на полдник шоколад с начинкой, белой, розовой, фисташковой, зеленой. А мне дают с собой шоколад «Антуан» без начинки, потому что «эту начинку неизвестно из чего делают».

Мой горизонт сузился. Теперь не я, а брат Кристиан принимает участие в утренней жизни на кухне, присутствует при том, как ставят суп на плиту: теперь его, а не меня, таскают к мяснику и колбаснику; с ним одним

¹ Игра, состоящая в том, то нечто вроде деревянной катушки подбрасывают вверх и ловят веревочку, натянутую между двумя палочками.

гуляют после обеда по улицам, на которых живет столько студентов.

Утром отец по дороге на службу отводит меня в детский сад. Мир упростился, он похож на театральную декорацию.

В хорошую погоду — сад, сад у Сестер; виноград, выющийся по кирпичной стене; ряды грушевых деревьев между грядок; старик садовник с граблями или лейкой; иногда в небе птичья стая.

В дождь, в холод — большой класс с белыми стенами, увешанными детскими поделками; там и канва, и плетеные коврики, и вышивки крестом, красными нитками по суровому полотну. Вокруг меня то солнечные пятна, пробивающиеся сквозь ветви сада, то волны жара, плывущие от необъятной печи. Но лучше всего я помню грохотание трамваев да перезвон колоколов, а когда в церкви кого-нибудь отпевали, до нас еле слышно доносились орган и церковное пение.

Еще помню зимние дни. Сестра Адония вооружалась витой восковой свечой, укрепленной на шесте, и уже в три часа пополудни зажигала два газовых рожка. В их резком свете мы все напоминали привидения, а печка грела до того жарко, что в четыре, когда мамы забирали нас и уводили в сырую мглу, мы выходили совершенно оглушенные, и нам казалось, что улицы пахнут как-то особенному.

На спокойных, широких магистралях по ту сторону Мааса, не считая улиц Пюи-ан-Сок и Антр-де-Пон, не увидишь настоящих магазинов. В обычных городских домах, в комнате на первом этаже устраивают прилавки и несколько полок — и магазин готов.

Витрины там тоже не настоящие: слишком высокие, освещенные одним-единственным газовым рожком. Издали видишь только желтое пятно света на тротуаре. Входная дверь распахнута. Две-три ступеньки, неосвещенный коридор.

Когда толкнешь внутреннюю дверь, зазвонит колокольчик или столкнутся с музыкальным звоном две медные трубки. Тем не менее придется еще и крикнуть несколько раз:

— Есть тут кто-нибудь?

Наконец слышится далекий шум. Выходит женщина, непохожая на настоящую лавочницу, или мужчина, про-

сидевший целый день на службе, и нерешительно спрашивают:

— Что тебе, малыш?

Кровяная колбаса на блюде, две-три головки сыра под колпаком, шесть банок сардин, бисквиты. Вам отрежут, взвешают. Медные трубки лязгнут еще раз, и на улице снова воцарится покой.

Дезире не согласился бы на такое ни за что в жизни.

— Ох, если бы только не бегать весь день на третий этаж и обратно!

Анриетта вздыхает, Анриетта устала, у нее болит поясница. Боли в пояснице будут ее мучить до того дня, когда она, наконец, добьется своего.

— Кстати, Дезире...

Чуя опасность, он не отрывается от газеты.

— Я подыскала дом. Это здесь, неподалеку: на улице Закона, прямо напротив монастырской школы. Когда Жорж пойдет в школу, будет очень удобно.

— Как же ты хочешь снимать целый дом, если мы и так вынуждены себя во всем ограничивать! Ты твердишь об этом целыми днями.

— Я справлялась о цене — пятьдесят франков в месяц. Здесь мы платим тридцать, а вечером у меня уже ноги не ходят. Я подумала, что если бы мы сдали второй этаж жильцам...

Дезире наконец поднимает голову, газета падает на пол.

— Зайди туда завтра после конторы. Обои почти новые, лестница выкрашена масляной краской... Опять эта лампа коптит!

Она прикручивает пламя.

— А там, между прочим, газовое освещение.

Анриетта вздыхает, потирая свою многострадальную поясницу.

— Госпожа Коллар мне говорила...

— Кто такая эта госпожа Коллар?

— Одна вдова. Живет на улице Конституции. Муж ей не оставил ничего, кроме долгов. У нее сын, ровесник Жоржу.

Бедняга Дезире! Где оно — спокойствие, столь милое твоему сердцу?

— А чем занимается эта твоя госпожа Коллар?

— Сдает комнаты жильцам — студентам, вполне

порядочным. Само собой, без права водить гостей! Худобедно, на жизнь себе она зарабатывает и после обеда всегда уже свободна.

— Ты хочешь, чтобы нам вечно мозолили глаза жильцы?

— Никто тебя не просит на них смотреть: они будут у себя в комнатах. Днем они вообще в университете. Дадим им ключ.

— А кто будет у них убирать?

— Застелить утром три постели — тут не о чем говорить. По мне это лучше, чем целый день бегать на третий этаж и обратно.

Он мог бы ей на это возразить, что не целый же день она бегаёт по лестнице, что ей придется бегать куда больше, если она должна будет не только застилать три постели, но и убирать в трех комнатах, зажигать три лампы, таскать наверх чистую воду, а вниз грязную.

Но время упущено. Жалобы на то, что приходится во всем себя ограничивать, звучали слишком часто, их слышали даже посторонние, и сопротивление Дезире сломлено.

— Ты будешь уставать.

— А может быть, я заработаю столько, что смогу нанять прислугу? А ты подумал, что я буду делать с двумя детьми на руках, если с тобой что-нибудь случится?

И отец идет смотреть дом на улице Закона.

— Если бы тебе, а не мне, надо было убирать, варить, стирать, бегать вверх-вниз с утра до вечера, я бы еще поняла твои колебания. Но ты просто-напросто эгоист, как все Сименоны. Тебе бы только газету вечером почитать, пока я чищу картошку и без конца мучаюсь с проклятой керосиновой лампой!

Керосиновая лампа тоже вероломно вступает в сговор с Анриеттой!

— Ну ладно...

Куда ему деваться?

— Поступай, как знаешь!

Потом Дезире хмурится:

— А на что мы купим обстановку?

— У меня отложено сто пятьдесят франков. Я присмотрела по случаю мебель для двух спален.

Если он станет допытываться, откуда у нее сто пятьдесят франков сбережений, если им приходится во всем

себя ограничивать, то за этим последуют сцена, упреки, приступ мигрени и так далее.

Он предпочитает снова уткнуться в газету, разжечь потухшую трубку, повторив еще раз:

— Поступай, как знаешь!

Дело сделано. Стоило ему сказать «да», и вот мы уже переезжаем.

— Кстати, Дезире...

Эту партию она выиграла и знает, что он не отважится протестовать.

— На время, на первые месяцы... Пока на первые же доходы я не куплю новую мебель...

Увы! Дезире вынужден уступить жильцам для лучшей тридцатифранковой комнаты всю свадебную обстановку своей спальни — платяной шкаф с двумя зеркалами, белый мраморный умывальник, изготовленную на заказ по его гигантскому росту кровать и все остальное, вплоть до фаянсового туалетного прибора в розовых цветах.

Своей прекрасной мебели Дезире назад не получит. Как, впрочем, и собственных четырех стен.

— Пойми, Дезире, чтобы нанять прислугу, троих жильцов мало. Вот если бы четверо или пятеро...

А на что две мансарды, чистенькие, беленные известкой, светлые? Они пропадают зря! Если сдать две комнаты в первом этаже...

Она их сдала, и дом на улице Закона сократился для нас до пределов кухни и двух мансард.

— Знаешь, сколько зарабатывает госпожа Коллар на одних завтраках?

Прислугу так и не наняли. Спина у Анриетты больше не болит. По утрам, с восьми до десяти, жильцы заполняют кухню, а мы завтракаем на краешке стола.

— Отодвинься, это место господина Зафта.

Господин Зафт, господин Богдановский, мадемуазель Фрида, студентка из России, — все они приходят зубрить в кухню: здесь им теплее.

— Если готовить им второй завтрак, по франку с человека...

Потом доходит и до ужина. В доме больше нет свободного уголка; Дезире вечером долго ищет незанятый крючок на вешалке. Жалобы на то, что приходится ограничиваться самым необходимым, разом кончились. Анриетта делает сбережения, никому не давая отчета.

*Пятница, 2 мая 1941 года,
Фонтене-ле-Конт*

Вчерашний день был словно лубочная картинка — один из тех дней, память о которых хранят всю жизнь, как хранят в альбоме портреты родственников.

Я думаю, если подсчитать, то окажется, что в жизни выдается совсем мало таких дней. Но они так чисты, так ярки, жизнь в эти дни так бьет ключом и в то же время словно неподвижна, что мы упорно представляем себе наше существование таким, каким оно бывает в эти чудесные мгновенья.

Вчера было первое мая, когда-то — день стычек, угрюмых шествий, конной полиции, сабель наголо, а теперь — день публичных речей и продажи значков в пользу благотворительных обществ.

Но дело не в этом — чудо заключалось в другом.

Да, конечно, произошло чудо. Бывают дни, когда небо по утрам особенно ослепительно, а закаты по вечерам особенно великолепны. Но вчера с самой утренней зари начался истинно весенний день; быть может, такую и запомнится тебе весна твоего детства.

Далекie раскаты грома, солнце, пробивающееся наперекор слоистым облакам, и сами облака, все освещенные по-разному и придающие небу какую-то трагическую пышность. Два-три раза из туч начинало капать, но по-прежнему без умолку пели птицы, и мухи тяжело перелетали от одного солнечного луча к другому.

Разве я мог угадать, просыпаясь, что сегодняшний день будет не таким, как другие? В воздухе пахло воскресеньем моего детства...

Я побрился тщательнее обычного, как будто уже что-то предчувствовал. Перебрал несколько галстуков и остановил свой выбор на зеленом. Новая тетя нарядила тебя в штанишки цвета морской волны — ты в них настоящий мальчишка! — и в рубашонку, расшитую красными и синими цветами.

Несколько дней назад мама подстригла тебе волосы, чтобы не падали на глаза; она завернула эту прядку белокурых, очень тонких волос в папиросную бумажку — так делают, наверно, все мамы в мире.

Мы пустились в путь вдвоем, только ты да я, рука об

руку; важно прошли всю длинную аллею, обсаженную каштанами, которые сейчас цветут. В них гнездятся сороки. На лугу пасутся коровы; кобыла и ослик провожают нас взглядами.

Дальше на равнине виднеются сáдики, похожие на ковры разных оттенков; пользуясь праздничным днем, там работают их владельцы.

Мир кажется необычайно просторным, и в то же время во всем чувствуется нечто домашнее, успокаивающее, какая-то гармония между миром вещей и миром живых существ.

Мы идем, и ты ничуть бы не удивился, если бы ослик, который поднял голову и смотрит на тебя, вдруг сказал:

— Доброе утро, Марк!

Как-то забывается, что молоко, выпитое тобою сегодня утром, досталось нам потому, что у коровы отняли теленка.

Быть такого не может! Для того и корова, чтобы давать тебе молоко и бродить светлым живым пятном по сверкающему лугу. Проходящий вдали поезд никуда не едет: он здесь лишь затем, чтобы свистеть и расстилать на заднем плане картины белое длинное облако дыма.

Каждая вещь уместна, как на гравюре: вечный драматизм, заложенный в природе, сменился мягкой, совершенной гармонией.

Мы идем, слушая, как шуршит под нашими подошвами гравий, потом выходим за решетку парка и оказываемся на пологой улочке, которая приведет нас в город.

Вот мы на улице Республики. На ней еще безлюдно, однако вскоре нам попадаются две девушки, вставшие сегодня, как видно, совсем рано: они предлагают нам ландыши в маленькой корзинке.

Улица оживлялась. Проходили другие девочки и мальчики, цепляясь за руки мам. Ты обменивался с ними внимательными взглядами.

Подошел к одной малышке в голубом платье и протянул ей свои ландыши.

— Девочка, возьми.

Но она не брала и смотрела на тебя с опаской, как смотрят люди, не доверяя великодушию ближних.

Идею насчет ландышей подал тебе я. Я дал тебе еще ландышей для других девочек: мне хотелось, чтобы

жизнь была прекрасна, потому что сегодняшний день — не такой, как другие.

В кафе ты уселся на банкетку, обтянутую бордовым бархатом. Я выпил стаканчик вина, тут же мужчины играли в бильярд.

Мимо прокатила за город на велосипедах, звонко переключаясь, компания девиц и юнцов.

К завтраку мы вернулись домой.

Вот и все. На закате я вновь спустился в город. Велосипедисты возвращались, их велосипеды были украшены цветами, ноги с усилием крутили педали.

Шли пешком семьи, выбравшиеся в этот день на пикники в лес Вуван. Сирень растворялась в сиреневых сумерках.

Мне почудилось, что на улицах больше нет отдельных людей, а в мире — отдельных живых существ: всё таяло, смешивалось; казалось, что в этот день люди и вещи жили одной жизнью, проникнуты одним и тем же блаженством. Соборная колокольня и колокольня церкви святого Иоанна, желто-белый вокзал в конце улицы Республики белые и более низкие, поблекшие, облака в глубине неба, всё, даже звон стаканов и блюдец, долетавший через распахнутые двери кафе, даже запах пива, даже холодный сапожник на пороге — все было идеально, все было прекрасно.

А ночью мне приснился сон. Вернее, сперва я спал, а потом видение продолжалось в полусне, хотя я уже сознавал, что это все мне снится.

Я смотрел на землю. Она была прямо передо мной — не слишком большая, так что я мог охватить ее взглядом, — и медленно, равномерно кружилась.

Она была не пестрая, подобно географической карте, а вся покрыта зеленым сверкающим мхом.

Нечто похожее мы видим, когда пролетаем в самолете над Шварцвальдом или Вогезами.

На этой приснившейся мне земле царила невероятно интенсивная жизнь. В гуще зеленого мха сновали, едва различимые, тысячи и тысячи существ. Подчиняясь неумолимой судьбе, они перебирались с места на место, стремились к каким-то своим целям.

Их копошение напоминало суматоху в улье перед вылетом роя. Существа металась из стороны в сторону в самых различных направлениях.

И я сказал вслух, глядя через лупу на этот зеленый дрожащий пласт жизни:

— Весь мир переплескивается...

Во сне эти слова содержали в себе точнейший смысл; ими все объяснялось. Сперва крошечные существа оставались на месте, не выходя за пределы очертаний, обозначавших, как видно, страны и континенты.

Потом по поверхности толчками прошла дрожь. Дальнейшее напоминало морской прилив, и существа начали перемещаться, но не по доброй воле, а потому что *надо было* переплеснуть куда-то всех людей.

Я уверен, что сон привиделся мне потому, что вчера в хрустальной тишине городка мы видели на улицах сотни немецких солдат в серой форме.

Придут ли американцы в Европу? Вступит ли Америка в войну? Это сейчас главный вопрос. Вчера англичане были в Греции, а сегодня их оттуда выгнали немцы. Японцы уже в Китае, австралийцы в Египте.

Целые народности: богачи и бедняки, мэры и полевые сторожа, старики, беременные женщины и грудные младенцы вместе с кошками, собаками и ручными канарейками — были переселены с места на место, из Польши в Румынию, из Греции в Турцию. Процесс идет все быстрее, и скоро это неостановимое движение приведет к тому, что на земле не останется неперемещенных людей.

По-видимому, все это началось войной 1914 года. Во всяком случае, именно тогда пустились в путь целые толпы, но еще гораздо раньше мы были свидетелями отъездов и приездов, предвещавших дальнейшее. Так отдельные пчелы вылетают из ульев на разведку новых земель, прежде чем вылетит весь рой.

Вот так году в 1907-м, таким же прозрачным, безмятежным днем, какой был вчера, перед нашим домом на улице Закона остановилась женщина.

В нашем квартале она казалась столь же чужой, как одетые в форму немцы вчера у нас в парке.

Она была совсем одна. Она была первая. Она опередила на несколько лет все дальнейшие переселения и бегство людских толп. Поэтому на ней, двадцатидвухлетней девушке, лежала печать значительности.

Только за два дня до того Анриетта с помощью облатки приклеила в окне первого этажа объявление,

купленное в писчебумажном магазине: «Сдаются меблированные комнаты».

И вот зазвенел звонок. Но Анриетта знала: это не простой звонок. Взглянув из-за шторы, она обнаружила перед дверью хрупкую особу в черном, явно не из нашего квартала, и не из нашего города, и вообще будто с другой планеты.

— Господи! Ну и уродина!

Нет, Фрида Ставицкая не была уродиней. Она была сама собой — до крайности, до дикости, до цинизма. Мама открыла не сразу, и она принялась звонить снова, да так, что чуть не оборвала звонок, «как дикарка, как будто ее никто никогда не воспитывал».

Когда дверь наконец отворилась, она не подумала поздороваться, улыбнуться, извиниться; она вошла словно к себе домой, оглядела желтые стены с таким видом, будто составляла опись, а потом спросила с ужасным акцентом:

— Где комната?

Вот так все и началось — для меня, для всех нас.

12

28 мая 1941,
Фонтене

Через час — да нет, что я! — через полчаса после того, как женщина родит, даже в самом убогом доме исчезают все следы только что отшумевшего события; роженница, боявшаяся смерти, улыбается, спокойно лежа на чистой постели; вокруг нее тоже все чисто, все разложено по местам, ничего не напоминает о той кровавой сумятице, что царит вокруг рождающегося человечка.

В тот миг, когда глубокую тишину улицы Закона нарушили шаги Фриды Ставицкой, когда она остановилась у объявления и позвонила, — наш дом тоже был чист, так скрупулезно вымыт, вылизан, так идеально убран, точно он вообще не предназначался для жилья.

Сама Анриетта тоже словно обновленная: она улыбается утомленно и робко, как человек, который завершил великий труд и отныне, оглушенный, опустошенный, ждет лишь небесного приговора.

Дом готов. Вот уже два дня Анриетта ждет, непре-

станно трепеща, как бы неосторожное движение или пыль не нанесли ущерба ее детищу.

На лестнице стены «под мрамор»; Анриетта мыла их столько раз, что они стали почти белыми, а прожилки на «мраморе» еле заметны. Ступеньки она терла песком, перила начистила воском, а в желтом медном шаре можно увидеть свое крошечное отражение.

В первой комнате, отведенной под гостиную, пахнет воском столовый мебельный гарнитур в стиле Генриха II; везде салфеточки, рамки, портреты, хрупкие дешевые безделушки — им суждено оставаться там, где их поместили, целый человеческий век.

На подоконниках — медные вазы с комнатными растениями; двойные шторы красиво подобраны — не столько для уюта в комнате, сколько ради прохожих: пусть восхищаются.

В пустом доме дважды прозвенел звонок, и нам предстала незнакомка, вся в черном; тугая темная коса уложена вокруг головы; на ногах — высокие ботинки без каблуков, почти мужские; ни одно светлое пятно, ни одна безделушка, ни одно украшение не оживляют строгого платья с высоким воротничком; это платье похоже на форму какой-то пуританской секты.

Она не улыбается. Нарочитая улыбка Анриетты Сименон, вводящей ее в гостиную, явно кажется посетительнице неуместной.

— Садитесь, мадемуазель.

— Нет.

Просто — нет. «Нет», которое значит «нет»: Фрида Ставицкая пришла сюда не садиться, не любоваться чистотой и порядком комнаты, не имеющей к ней отношения.

Анриетту это «нет» ранит в самое сердце: сама она никогда ни с кем так не разговаривала и так боится обидеть, ранить, задеть кого-нибудь.

— Вы студентка?

Фрида стоит в дверях, повернувшись в сторону лестницы. Она, очевидно, не желает отвечать на вопрос, поскольку род занятий — это ее личное дело. Она повторяет:

— Я хотела бы увидеть комнату.

— Пройдите, мадемуазель. Я вам покажу самую лучшую, окнами на улицу. Мебель вся новая.

Эта комната — розовая. Стены, абажур на лампе розовые. На мраморном умывальнике туалетный прибор сочного розового цвета.

Фрида Ставицкая не дает себе труда войти внутрь.

— У вас только эта комната?

— Эта самая лучшая.

Анриетте хочется рассказать обо всем сразу: что дом убран сверху донизу, а в кроватях нет клопов, а обои она наклеила собственными руками, а...

Но Фрида уже, не дожидаясь разрешения, сама открыла вторую выходящую на площадку дверь. Задняя комната меньше. Это «зеленая комната».

— Сколько?

— Большая комната — тридцать франков в месяц, включая освещение. А эта двадцать пять франков...

— Слишком дорого.

Все. Она собралась уходить. Лицо непроницаемо. У нее прелестные глаза, черные и блестящие, как спинка у жука, но взгляд их ни на чем не задерживается, они живут сами по себе, своей внутренней жизнью, и ничего не говорят этой женщине, которая улыбается, чтобы сдать свои комнаты.

— Послушайте, мадемуазель. У меня есть еще одна комната на антресолях.

Она спешит: нельзя отпускать посетительницу ни с чем.

— Эта будет поменьше и не такая веселая. Окно только одно, выходит на двор, так что темновато.

К тому же крашенные масляной краской стены — грязно-зеленого бутылочного цвета.

— Сколько?

— Двадцать франков.

Тут на лице Фриды Ставицкой впервые появляется нечто, напоминающее нормальное человеческое выражение. Сожаление? Пожалуй, нет — просто она остановилась, молниеносно оглядела комнату и, быть может, почувствовала, что здесь ей было бы неплохо.

Но в тот же миг она поворачивается и начинает спускаться по лестнице.

— Я могу платить только пятнадцать франков.

— Знаете, мадемуазель, я могла бы сделать вам скидку. Вы первая, кто пришел по объявлению, и я...

Анриетте хотелось бы все ей рассказать — как долго

она воевала с Дезире, в какие расходы пришлось ей войти, какую бешеную энергию развить, а теперь все уже готово, объявление висит целых два дня...

— Мы могли бы договориться на восемнадцать франках.

— Я могу платить только пятнадцать франков.

— Ладно, согласна.

Фрида смотрит на нее и как будто не догадывается о драматизме положения.

— Когда вам угодно въехать?

— Сегодня.

— Мне еще нужно кое о чем вас предупредить. Не будьте на меня в обиде, это вопрос деликатный. У меня дети, сестры...

Покраснев, Анриетта договаривает:

— У меня не допускаются посещения.

Фрида и бровью не ведет, но в глазах у нее вопрос.

— Я хочу сказать, вы не должны приглашать в гости неизвестно кого... Понимаете? Крайне нежелательно, чтобы у вас бывали мужчины, это не принято и...

Анриетте, наверно, начинает казаться, что она объясняется с существом, прибывшим с другой планеты. Фрида не возмущается. В уголках ее тонких губ разве что промелькнуло презрение.

— Ладно! Я плачу.

Она извлекает из потертой сумочки пятнадцать франков.

— Зайдите же на минутку. Выпьем чашечку кофе?

— Нет.

— Кофе уже на огне. Я быстро.

— Я же сказала, нет. Вы мне дадите ключ?

Ушла. Вернулся Дезире.

— Сдала!

О цене Анриетта умалчивает.

— Кому?

— Девушке. Она из России. Скоро придет.

Когда все сидели за столом на кухне с застекленной дверью, в замке повернулся ключ. Анриетта бросилась зажигать газ в фонаре с цветными стеклами.

— Дайте ваш чемодан, мадемуазель Фрида.

— Благодарю, я сама.

Она отнесла чемодан к себе в комнату, и моя мама не посмела пойти за ней.

Зайдя в комнату, Фрида тут же закрылась на задвижку.

Нам было слышно, как она ходит взад и вперед как раз над нами.

— Я уверена, что она не обедала.

Все прислушиваются. Что она делает? Где она ест?

— Куда ты? — спрашивает Дезире.

Мама поднялась по лестнице. Немного волнуясь, постучала в дверь.

— Что такое?

— Это я, мадемуазель Фрида.

Дверь не открывается. Молчание.

— Я пришла узнать, — может, вам что-нибудь нужно. Я ведь понимаю, в первый день...

— Нет.

Мама в замешательстве желает жилище спокойной ночи, но ответа не получает. Готовая расплакаться, спускается по лестнице. Отец поднимает голову от газеты.

— Ну что?

— Ей ничего не надо.

Отец отрешенно выдыхает табачный дым. Мама убивает со стола и бормочет себе под нос:

— Кажется, лучше было бы сдавать только мужчинам.

13

29 мая 1941,
Фонтене

Позже в наш дом, в нашу жизнь на более долгий или более короткий срок войдут другие лица, явившиеся с разных концов света, но Фрида Ставицкая — самая первая из всех. Этим вечером мы слышим, как она, невидимая и загадочная, рассказывает у себя на антресолях, и кажется, что в доме сгущена атмосфера, что газовый рожок под абажуром с бисерной бахромой светит как-то безжизненно, а в полутемном коридоре по ту сторону застекленной кухонной двери таятся ловушки.

Дезире помалкивает. Он читает газету и по своему обыкновению курит трубку. Смотреть на потолок избегает, но ясно, что ему стыдно позволять собой



командовать, стыдно за себя и за нас, словно мама взяла да и продала нас всех за пятнадцать франков в месяц этой явившейся из России особе.

Анриетте, пожалуй, тоже стыдно, да к тому же и страшно, но она изо всех сил это скрывает.

— Пора укладывать детей.

— Спокойной ночи, отец.

— Спокойной ночи, сын.

Дезире чертит большим пальцем крестики на лбу у меня и брата — так крестил его самого на ночь старый Кретьен Сименон, а того — его отец.

— Не шумите на лестнице.

Мы минуем загадочную дверь, за которой происходит какое-то движение. Поднимаемся в нашу мансарду, где всю ночь горит ночник, похожий на лампаду дарохрани-
тельницы. От его пламени по комнате пляшут тени, как на хорах пустой церкви.

Мы с Кристианом спим в одной постели. Жмемся друг к другу, как цыплята. Мама спускается: родители спят на первом этаже, так что теперь нас с ними раздели-
ла эта иностранка.

В шесть утра Анриетта уже на ногах. На весь дом гремит уголь, потом кочерга в кухонной печи.

Сколько помню, в наших печах вечно не было тяги. Сколько помню, я всегда слышал, еще лежа в кровати, отзвуки ежеутренних схваток моей мамы с печью, а потом чуть позже до меня доносился характерный незаб-
венный запах керосина, который лили на не желавший разгораться огонь. Это сопровождалось вспышкой, силь-
ным притоком воздуха, иногда язык пламени даже выры-
вался из поддувала, и я знал, что бывали случаи, когда женщины, лившие керосин в огонь, сгорали живьем. По-
мню «Малую иллюстрированную газету» с кошмарными
цветными картинками — я ее видел в киосках:

«Мать семейства превратилась в живой факел...»

Но я опять погружаюсь в дрему, и скоро в мою ман-
сарду проникает уже другой, тоже привычный запах. Пахнет кофе, который мололи перед тем в кофейной
мельнице, потом доносится запах шипящего на сковоро-
де сала. К нашему появлению на кухне Анриетта зали-
вает его яйцами.

Интересно, встала ли иностранка? Завтракала или нет? Невольно напрягаем слух, стараемся говорить по-

тише. Слышно, как над головой ходят мелкими мышинными шажками, потом внезапно дверь наверху отворяется и с грохотом захлопывается.

Мы не привыкли к тому, чтобы двери грохотали.

Жилица спускается. Может быть, заглянет к нам? Анриетта уже растянула губы в улыбке и подбежала к кухонной двери, убедившись сперва краем глаза, что на кухне как следует прибрано.

Но мы видим только спину и черную шляпку. Снова грохнула дверь — на сей раз входная.

Наверно, сдавая комнату женщине, Анриетта надеялась, что та хотя бы сама будет у себя убирать. Она открывает дверь к жилице и ее охватывает внезапное разочарование и чувство унижения: она чувствует запах, запах чужой женщины, спавшей на этой разобранной постели, мывшейся в этом тазу, полном мыльной воды, разбросавшей по мрамору умывальника скрученные шарики черных волос.

На столе несколько книг, все по медицине. Расческа с обломанными зубьями. Зубная щетка с остатками неизвестной Анриетте розовой пасты. Анриетта заглядывает в шкаф, но там обнаруживается лишь одна грязная, без вышивки, без кружев, сорочка, пара дырявых чулок да стоптанные домашние туфли.

За раму зеркала засунута фотография: на пороге странного деревянного домишки женщина необъятной толщины, вне всякого сомнения, мать Фриды, какая-то девушка, застывшая в напряженной позе, и наша жилица в возрасте пятнадцати лет или около того.

Каждые пять минут Анриетта стремглав летит вниз, чтобы убедиться, что Кристиан спокойно сидит в своем креслице, а обед не подгорает.

Проходит угольщик, потом зеленщик, потом разносчик молока. При их появлении на порогах возникают хозяйки. Анриетта еще мало с кем знакома.

— Ну как дела? У вас уже появилась жилица?

Это соседка, госпожа Петерс.

— Да, госпожа Петерс! Боже мой, надо же что-то зарабатывать, не так ли?

Анриетта смущена: во взгляде соседки читается осуждение и даже как будто беспокойство — у госпожи

Петерс собственный дом, не рассчитанный на посторонних, построенный по вкусу и потребностям хозяев. На улице Закона почти все живут в собственных домах.

Нет надобности ходить друг к другу в гости: соседки и так между собой знакомы и, как члены большой семьи или, того лучше, как обитатели одной деревни, встречаются вокруг тележки зеленщика.

В квартале, правда, изредка селятся иностранцы, но на этой улице их еще не бывало.

Поэтому женщины на порогах вытягивают шеи и косятся на дом № 53 и на эту белокурую госпожу Симеон, у которой двое детей и которая ищет жильцов.

Этим утром, несмотря на уборку, обед и Кристиана (к счастью, толстого, спокойного, задумчивого малыша), Анриетта нашла время сбегать на улицу Пюи-ан-Сок и купить цветов. Она выбрала самую свою красивую вазу в форме фужера из радужного поддельного хрусталя и поставила Фриде на стол.

Девушка вернется около половины двенадцатого. Быть может, заглянет на кухню поздороваться? Или хоть из коридора кивнет через застекленную дверь?

Не тут-то было! Она проходит по коридору, словно по улице, где полным-полно незнакомых. Интересно, знает ли она хотя бы, что у Анриетты двое детей? Ей это безразлично. Она входит, в руках — учебники, кроме того, маленький белый сверток.

Значит, она ест у себя. Но в комнате нет плиты, а камин по летнему времени не топится; следовательно, она сидит на сухомятке.

Отца дома нет. Будь он здесь, Анриетта не отважилась бы выполнить то, что задумала. Она наливает в чашку бульон и, убедившись, что мы с братом не шалим, поднимается к жилище.

Перед дверью в антресоли она медлит, наверняка борясь с искушением пойти на попятный: на полу перед дверью стоит ее ваза с цветами. Там же валяется портрет Валери — он был повешен в комнату ради золоченой рамки.

— Что такое?

— Откройте на минутку, мадемуазель Фрида.

Дверь на задвижке. С какой стати запирается? Можно подумать, что дом внушает жилище недоверие.

Дверь приотворяется. На столе, среди медицинских

учебников, мама видит початый кусок хлеба и надкушенное яйцо вкрутую.

— Простите, я подумала... Взяла на себя смелость...

Черные глаза сурово в упор смотрят на дымящийся бульон в чашке.

— Это еще что?

— Я решила, что капелька горячего бульона...

— Вас что, просили о чем-нибудь?

— Но в вашем возрасте, да если еще учиться, непременно нужно...

У Фриды исхудалое лицо аскета.

— Я сама знаю, что мне нужно.

— Я позволила себе поставить к вам цветы, чтобы немножко оживить вашу комнату.

— Терпеть не могу цветы. А насчет портрета — ненавижу, когда перед глазами торчат лица незнакомых людей.

— Прошу прощения! Дело в том, что это моя подруга.

— Ваша, но не моя. Кстати, уберите заодно все эти ненужные вещи.

Она имеет в виду салфетки и безделушки, которыми Анриетта, как любая хозяйка, украсила комнату, чтоб было повеселей и поуютней.

— Вы питаетесь не в семейном пансионе?

— Я питаюсь там, где мне угодно.

Ей ничуть не стыдно за ломоть хлеба и крутое яйцо на столе.

— Позвольте хотя бы предложить вам чашечку кофе?

— Мне не надо кофе.

«Она слишком гордая, — утешает себя Анриетта. — Русские вообще такие».

Она ретируется с улыбкой и, спустившись вниз, думает о фотографии за рамкой зеркала.

До сих пор она считала, что студент, а уж тем паче студентка, — это непременно дети богатых родителей: кто же еще в силах оплатить образование сына или дочери!

Так обстоит дело в Бельгии. Могла ли Анриетта предположить, что там, в России...

Мать Фриды — толстуха с фотографии — явно деревенщина, неотесанная женщина. А уж эта их деревянная лачуга...

В два часа в замке поворачивается ключ. Пришел Де-зире. Анриетта хватает лежавшие на столе цветы и

поспешно швыряет их в огонь. Как прикажете объяснить мужу появление цветов? Для себя мы их не покупаем. Маме не хочется признаваться, что какая-то там пятнадцатифранковая квартирантка...

Эта Фрида... Молодая девушка, а похоже, нарочно старается себя обезобразить. Скромный белый воротничок на платье — и тот сделал бы ее помиловиднее. И прическу выбрала себе самую что ни на есть строгую и совсем не к лицу. И не улыбнется никогда. Никакой любви. Цветов не любит. Что у нее на уме, то и на языке. А ведь сделать приятное людям так нетрудно!

Она не ходит в ресторан, обед ее состоит из крутого яйца. Пьет воду из-под крана. И все же когда-нибудь станет врачом.

Анриетта не предчувствует, что это еще не вся правда, и долго не будет знать, что на все про все Фрида получает почтовым переводом пятьдесят франков в месяц и на эти пятьдесят франков ей нужно снимать квартиру, одеваться, есть и, кроме того, покупать или брать напрокат учебники, платить за обучение в университете...

Для Анриетты жилец — это некто заведомо богаче, чем она сама.

Но если все иначе... Если бывают такие, как Фрида... Что, если все жильцы такие же, как она? Куда в таком случае годятся все ее расчеты?

Ее вера в будущее поколеблена. Опереться не на кого. Дезире ответит:

— А что я тебе говорил?

Или так:

— Ты сама этого хотела!

Неправда! Она хотела завести скромное дело, все равно какое, зарабатывать понемножку, избавиться от неотвязной мысли о самом необходимом, стряхнуть с себя кошмарный страх перед тем, что будет с нею и с детьми, «если что-нибудь случится».

Глядя на студентов нашего квартала, она подумала...

А весь этот дом, который она столько скребла, чистила, скоблила, подновляла? Дом, который сама обставила, украсила шторами, медными блямбами, цветными абажурами, салфетками?..

Где это видано отправлять детей учиться, если не имеешь возможности их обеспечить?

Разве может Анриетта себе представить, что на Востоке Европы живут миллионы мужчин и женщин, несокрушимо верящих в то, что образование ведет к освобождению?

Анриетта не знает, что отец у Фриды в Сибири. И как недоверчиво воззрилась бы моя мать своими голубыми глазами на того, кто сказал бы ей, что Фрида принадлежит к группе нигилистов и в один прекрасный день в новой России ей, может, суждено стать народным комиссаром!

Мама сказала бы, покачив головой:

— Не может этого быть!

Нигилисты? Это что-то вроде анархистов! Как тот молодчик с улицы Святой Веры, который подложил адскую машину под кровать своих родителей, кстати сказать, вполне добропорядочных людей — тетя Анна их знала. Кто бы мог подумать!..

Бедная, бедная мама, со всей своей мебелью, с купленными по случаю тазами, с литографиями, медными подставками для цветов, салфетками и цветными абажурами!

К счастью, появился господин Зафт, снявший зеленую комнату, а потом госпожа Файнштейн из Варшавы — она поселилась в розовой комнате.

Но госпожа Файнштейн неряха, по ее комнате там и сям валяются волосы.

А на робкие замечания моей мамы она возражает:

— Ведь я же вам плачу!

14

*Пятница, 6 июня 1941 года,
Тер-Нёв*

В духовке шипит поливаемое соусом жаркое; из глубины кухни раздается женский голос:

— Не запирай!

Маленький мальчик, засунув руки в карманы, оглядывает пустую улицу сперва в одном направлении, потом в другом и хмурит брови, совсем как взрослый. На нем матросский костюмчик, короткие штанишки, оставляющие икры открытыми, широкополая соломенная шляпа, сдвинутая на затылок и окружающая его голову подобием ореола.

Мать уже побывала у заутрени: по воскресеньям нужно управляться с уборкой комнат пораньше. Мальчик

идет к восьмичасовой мессе один; колокола вызывают первый раз без четверти восемь, во второй — пять минут девятого.

Впрочем, по воскресеньям колокольный звон не смолкает: он доносится не только от церкви святого Николая, но и от святого Фольена; порой слышен и тонкий пере-звон на больничной часовне.

Мальчик оказывается лицом к лицу с восхитительным пустым пространством, которое он волен заполнить чем угодно.

Маленький человек серьезен и преисполнен важности; он размеренно шагает, попадая то в пятна тени, то в пятна света, с разумной экономией расходуя чудесные мгновения воскресного утра

Напротив детского сада — лавочка, где торгуют сладостями: узкая витрина, а в ней конфеты и шоколад в разноцветных бумажках. Всех этих богатств вполне хватает по будням, но по воскресеньям явно недостаточно.

На углу улицы Пюи-ан-Сок остановилась канареечно-желтая тележка мороженщика с резным навесом, похожим на балдахин настоятеля во время шествия, и разрисованными стенками; с одной стороны — Неаполитанский залив, с другой — извержение Везувия

Проходя мимо кондитерской Кентена, попадаешь в облако сладкого запаха. У «Черной девы» открыто, над стойками благоухание кофе, поджариваемого весь день в присутствии посетителей. Везде открыто. Вот потому-то Дезире был против того, чтобы жена связывалась с торговлей. Желтоватый свет витрин не гаснет в такие дни до самой ночи даже на самых пустынных улицах предместий

Ребенок прохаживается, похожий на маленького старичка, гуляющего каждый день по одному и тому же маршруту с остановками в одном и том же месте. Он знает уже всех жителей квартала, и люди здороваются с ним ради удовольствия услышать его степенный ответ.

Вот огромный красный цилиндр, отделанный золоченым шнуром, — это вывеска деда Сименона. Через магазин входить нельзя, не велено. Надо пройти беленым известкой коридором, где со двора пахнет гниющей водой.

В остекленной кухне томится на огне разварная говядина. Говорят, настоящую разварную говядину умела



приготовить только бабка Сименон. Она умерла, но ее дочка Селина унаследовала от матери и рецепт, и сноровку.

Умер и Папаша, кресло его опустело.

— Добрый день, тетя.

— Здравствуй, Жорж.

Селине двадцать лет — совсем взрослая. Но мальчуган усаживается и честно отсиживает положенное для визита время. Когда ему стукнет пятнадцать, болезнь обречет Селину на неподвижность, и она будет сидеть целыми днями, опустив в лохань опухшие, раздутые ноги; тогда он станет навещать ее каждый день, просиживая по часу, а то и по два.

А теперь Селина, захлопотавшись у плиты, освобождает его словами:

— Дедушка в магазине.

Мальчик и сам это знает. Он идет в магазин, проходит через коридор и вечно темную подсобку, где торчат в ряд шляпные болванки. Дед Сименон, вооружившись утюгом, придает форму шляпе, от которой валит пар.

— Добрый день, дедушка.

Этот визит ненадолго. Старый Сименон достает из кармана монетку в одно су. Он заранее приготовил по одной такой монетке для каждого внука, и этим утром каждый придет за своей долей. Щеки у деда шершавые, щетина седая. Губы хранят запах ликера, которого он только что успел отведать со своим приятелем Кранцем.

Теперь остается выбрать. Мальчуган получил пять сантимов от родителей и пять от деда.

Рядом — магазин Лумо. Кондитерская Лумо — самая большая в городе.

На два су можно купить шоколадку, обернутую фольгой, но это выйдет слишком мало. Зеленые и красные леденцы можно сосать часами, но для воскресенья они слишком обыденны. А мороженое, что продают на углу, съедается так быстро, что и не заметишь.

— Дайте мне вот этих на десять сантимов.

До полудня еще далеко.

Когда сам ты невелик, улицы кажутся длиннее, дома выше. Дни — и те тянутся дольше, особенно воскресенья. Мальчишка успевает насмотреться и послушаться досы-

та. Когда он все так же степенно возвращается на тихую солнечную улицу Закона и толкает незапертую дверь, он словно опьянел.

Входит он не сразу. Сперва кричит в приотворенную дверь кухни, которая после улицы кажется полутемной:

— За стол не пора?

За стол садиться еще рано, и он может еще немного побродить, пососать конфеты, вытаскивая их из кармана одну за другой.

На углу улицы показался долговязый Дезире. Анриетта накрывает на стол.

На обед — бульон, жаркое с яблоками и жареной картошкой. Таково воскресное меню. В доме, как и на улицах, пусто. Жильцы поехали за город. Двери и окна открыты. В комнатах пятна света перемежаются пятнами тени, островки зноя — островками прохлады. Но через несколько минут вспыхнет ссора.

Ну, не странно ли, что все мы предвидим эту ссору, чувствуем ее неизбежность, бесполезность, нелепость и все-таки не умеем ее предотвратить?

Анриетта убрала со стола посуду.

— Одень Кристиана, все равно тебе делать нечего.

Двери комнат и дверцы шкафов то открываются, то закрываются. Свободная голубая блузка сзади закаляется брошкой.

— Застегни мне блузку.

Вспышка все ближе, и вот она раздражается по самому ничтожному поводу. То ли Кристиан, уже одетый для выхода, сразу обмочил нарядные штанишки? То ли я выпачкал воскресный костюмчик? То ли виноват Дезире с его ворчанием:

— Анриетта, уже два часа! Так мы никогда не уйдем!

Анриетта сражается со своей шевелюрой, зажав во рту шпильки. На ней розовая нижняя юбка. С самого утра, с момента, когда она встала к заутрене, ей приходится спешить, метаться, выходя из себя от мысли, что семейная сцена неотвратима.

— Что у меня, десять рук, что ли? Занялся бы лучше печкой.

Крак! У нее лопается шнурок или отскакивает пуговица.

— Ну что, Анриетта?

Она срывает с себя блузку и ударяется в слезы.

— Уходите без меня! Пожалуйста. Мне все равно. Мама страдает мигренями. Без мигрени не обходится ни одно воскресенье. А нас ждут залитые солнцем улицы, утопающие в воскресном покое.

— Что же это такое! Опять Жорж играет с чернильницей...

Слезы. Гнев. Стрелка будильника движется. Анриетта раздевается, снова одевается.

— Возьмем коляску?

Это для брата.

— Не надо! Я его понесу.

— Ты только так говоришь, а сам потом будешь заставлять малыша идти, как в то воскресенье. Или вообще захочешь ехать трамваем, а проезд стоит тридцать сантимов.

Десять сантимов на человека — за брата еще не надо платить. А иногда удастся схитрить, уверив кондуктора, что мне еще нет пяти.

В ушах у меня звенит. Тепло и свет обволакивают и оглушают меня, во рту — вкус ростбифа и жареной картошки.

Проходим мимо нашего бывшего дома на улице Пастера. Площадь Конгресса, улица Провинции, мост Маген, перешагнувший через Маас.

Для меня набережная Сен-Леонар, которая тянется без конца и края, — это уже чужбина. Со смешанным чувством страха и удовольствия смотрю на людей и предметы.

Почти на всех этих огромных домах — медные таблички, иногда по несколько на одной двери:

«Судостроение», «Речное и морское страхование», «Перевозки», «Фрахт».

Тут же мастерские. Их широкие железные ворота по случаю воскресенья закрыты.

Нас обгоняет трамвай — мы садимся в него только на обратном пути, и то изредка: десять сантимов — не пустяк.

Счастливы ли родители? Ведь воскресенья должны были бы стать для них днями счастья, во имя которого они трудятся всю неделю. И вон они наконец вместе, и дети с ними. Они идут и молчат.

Дезире слегка улыбается людям и улицам. Анриетта ни на миг не забывает, что на полдороге брату надо сделать пи-пи; она вспоминает, что ей хотелось сказать сест-

ре, и в то же время голова у нее забита жильцами и очередными планами.

— Об одном прошу, — говорит Дезире, — не надо говорить им про то, как мы ограничиваемся самым необходимым.

— Не могу же я сказать Анне, что денег у нас куры не клюют!

— Об этом вообще не стоит говорить.

— Анна — моя сестра...

— Но мне-то она не сестра.

— Послушай, если ты опять намерен...

Осторожно! Мимо проходит какой-то отдаленный знакомый, и мама тут же улыбается, любезно кивает.

Но вот позади осталась самая неприятная часть набережной, та, где ни одного деревца, никакой тени — только широкий сверкающий Маас. Начинается другая набережная, а с ней — канал, пристань, где покачиваются впритирку, чуть не в десять рядов, сотни барж, на которых сохнет белье, играют дети, спят собаки, и надо всем царит живительный запах дегтя и смолы.

На другом берегу, между каналом и рекой, в запущенном парке выглядывают из густой листвы красные кирпичные стены городского тира. Оттуда поминутно доносятся сухие щелчки выстрелов.

Вот и витрина, старомодная на вид, загроможденная товарами: там и крахмал, и свечи, и цикорий в пакетиках, и бутылки с уксусом. Вот застекленная дверь, на стекле — рекламы: белый лев рекламирует крахмал Реми, зебра — тесто для выпечки, другой лев, черный, — сорт сигар.

На дверях колокольчик, его не спутаешь ни с каким другим колокольчиком.

Но самое главное — это неповторимый, чудесный запах, царящий в доме у тети Анны.

Да, запах неповторимый, но здесь вообще все — исключительно, все — редкость. Здесь совершенно особое царство, и складывалось оно долгими годами.

В двадцати метрах от дома кончается трамвайная линия, кончается город, и набережная, забитая баржами, переходит в бечевник, по которому тянут волоком суда, — там пасутся белые козы.

— Не беспокойся из-за нас, Анна!

Чем это так пахнет? Можжевельниковой настойкой? Или

пресный запах бакалеи все же сильнее? Здесь торгуют всем понемногу, здесь найдешь все, что угодно: бочки, из которых сочится запах американского керосина, снасти, фонари для конюшен, кнуты, корабельный деготь. Тут же банки с дрянными конфетами, которые мне запрещено есть, и застекленные выдвижные ящики, набитые корицей и гвоздикой.

Край стойки покрыт цинком, там устроены круглые отверстия, из которых торчат горлышки бутылок, увенчанных изогнутыми оловянными наконечниками.

Проезжающие мимо возчики, не останавливая лошадей, забегают пропустить одним духом стаканчик можжевеловой водки. Матросские жены по дороге за покупками тоже осушают по стаканчику, краем глаза опасливо косясь в окно.

Свет на кухню попадает не через окно, а через верхний фонарь, и стекла открываются с помощью сложной системы блоков.

— Добрый день, Анна! Представь, мы уже собирались уходить, как вдруг Кристиан намочил штанишки и пришлось его переодевать.

Тетя Анна склоняет голову в знак сочувствия. Эта манера — общая для всех сестер Брюль, равно как и преисполненная смирения улыбка. Вдобавок Анна сокрушенно вздыхает:

— Иисус-Мария!

О да, Иисус, Мария, вы свидетели, что я добродетельна и добросердечна, что я делаю все, что в моих силах в этой юдоли слез. Вы знаете, что, останься на земле одна-единственная праведница, этой праведницей окажусь я! Вы читаете в моем сердце — оно чисто. Оно стремится лишь к вечному спасению, а пока, на земле, я — ваша смиренная слуга, которой вы велите не держать зла на заблудшие души...

Если Леопольд — старший из сыновей старого Брюля, то Анна — старшая из его дочерей. И, подобно Леопольду, она знает много подробностей, неизвестных остальным.

— Добрый день, Дезире. Садись. Выпьешь чашечку кофе?

Но Анриетта поспешно отвечает за мужа:

— Спасибо, Анна! Ты слишком добра! Но мы только что пили кофе.

— Может быть, Дезире все же не откажется?

— Уверяю тебя, нет! Жорж, осторожно, не толкни дядю.

Мой дядя Люнель тоже здесь, он спит в плетеном кресле, защищенный от шумного мира своею глухотой.

У него прекрасная белоснежная борода, и весь он похож на патриарха с церковного витража. Вот-вот, проснувшись, он улыбнется нам ласковой всепрощающей улыбкой святого.

Весь дом излучает доброту и христианское милосердие. Здесь царство покоя и добродетели. В гостиной рассыпаются фортепианные пассажи. Девичий, похожий на ангельский голосок напевает чувствительный романс.

Звонит колокольчик. Тетя идет в лавку, притворяя за собою дверь. Она не бросается со всех ног, а движется с достоинством, немного выпятив живот, — ей ведь уже под пятьдесят. В лавке покупатель, явно из простых, в руке у него кнут.

Похоже, покупатель этот знаком тете Анне: едва он привычным жестом опрокинул в рот прозрачную жидкость, как она тут же наливает снова. Потом открывает ящик. Слышится позвякивание мелочи. Снова звенит колокольчик, и тетя Анна возвращается к нам.

— Ну, как твои жильцы, Анриетта?

Мама отвечает ей по-фламандски, и судя по тону, жалуется. Сестры Брюль, стоит им собраться вместе, всегда переходят на фламандский. Мужья не в счет — Люнель глух, а Дезире не знает по-фламандски и молча дымит папиросой.

Фортепиано смолкает. Входит моя двоюродная сестра Лина, целуется со всеми по очереди. У нее крупные черты лица, крупная фигура, но причесана она по-девичьи и одета в скромное серое платье, точь-в-точь ангел на стенной росписи в часовне.

Другая дочь, Эльвира, — худенькая, хрупкая, белокурая, с острым носиком и тонкими губами — занимается у себя в комнате: ей скоро сдавать экзамен на звание учительницы.

Я жду, пока мне разрешат встать. Жду, пока проснется дядя. Отец ничего не ждет — он поддразнивает пышногрудую Лину, а сестры в это время болтают по-фламандски.

Этот дом не похож ни на один другой; кажется, что в нем много разных домов сразу и покупателям,

входящим в лавку, открывается лишь самое банальное из его лиц.

Уже на кухне, которую освещает, словно люстра, окно в потолке над столом, воздух густо пахнет семейным бытом; никогда я не видал, чтобы какая-нибудь вещь лежала там не на месте. А заглянуть с фасада — увидишь витрину, решетки, садик с пышной растительностью: настоящий буржуазный дом, дубовые двери, гостиная, где Лина только что играла на рояле.

Все это великолепие связывается с внутренней частью дома путаницей коридоров, пахнущих мастикой; один из коридоров упирается в дверь, ведущую в мастерскую, где сидят старый Люнель и подмастерье.

Они сидят очень низко, почти на полу, широко расставив ноги. Подмастерье — почти карлик, горбун с огромным ртом и пылающими глазами.

С утра до вечера оба они, мой дядя с бородой патриарха и горбун, плетут корзины из ивовых прутьев. Прутья вкусно пахнут. Их запах царит в одной части дома, а дальше смешивается с запахом мастики, добирается до кухни с ее смешанными ароматами и, наконец, вносит свой особый оттенок в сложную атмосферу лавки.

Старый Люнель овдовел, и ему было пятьдесят, когда он женился на Анне. Дом уже в ту пору обладал своей нынешней физиономией. Тетя вошла в него тихо, смиренно склонив голову.

Наверняка Люнель в согласии с Евангелием решил, что нехорошо человеку быть единому!

И все-таки он один у себя в доме, один в мастерской, один с горбуном, один на кухне, где спит или притворяется спящим, улыбаясь в бороду с утра до вечера. Улыбка тети Анны — это ужасная улыбка праведницы: в ней читается нарочитое милосердие, доброта, которая знает себе цену и восхищается собою.

А улыбка старика Люнеля? Она говорит о том, что он предпочел самоустраниться, схорониться в уголке под уютным прикрытием собственной глухоты!

Он нас не целует. Когда мы, племянники или племянницы, подходим к нему, он делает мягкое, но непреклонное движение рукой, как бы отстраняя нас. А если мы заглянем к нему в мастерскую, он тут же выдает нам по белому ивовому прутику, чтобы мы поскорей ушли играть.

— Иисус-Мария! — вздыхает тетя, косясь на Дезире. О чем это напела ей Анриетта? Снова о «самом необходимом»?

Варят кофе. Лину посылают за пирожными.

— Ну нет, Анна! За нас я заплачу сама...

Анриетта роется в кошельке.

— Не то в следующий раз мне совестно будет к тебе идти.

После полдника на тротуар перед домом вынесут стулья.

— Не сыграешь ли нам, Лина? — жеманится Анриетта. — До чего же я люблю музыку!

Окно гостиной отворяют, чтобы слышать, как Лина играет и поет «Пору черешен».

Воскресенье течет дальше. На воде канала играют блики. Мимо идет пьяный. Тетя Анна вздыхает, потом заговаривает о сыне Эмиле. Он студент-медик и нынче вечером куда-то ушел с друзьями. Снова вздох.

— Я каждый день молюсь, чтобы он не утратил добродетели, — говорит она по-фламандски. — Вот вырастут у тебя сыновья, тогда ты меня поймешь.

Мама смотрит на меня. Тени в глубине листвы густеют. Выстрелы в тире все реже. Люди с букетами полевых цветов ждут трамвая: он приезжает из города и после остановки разворачивается в обратную сторону.

А мы — поедem ли мы сегодня на трамвае? Или, чувствуя во рту привкус пыли, потащимся пешком через всю набережную, потом через мост Могэн, улицу Провинции и площадь Конгресса?

Мой братец опять намочил штанишки. Анриетта вне себя.

— Боже мой, Анна, тебе от меня одна морока. Придется их подсушить.

В доме зажигают газ.

15

9 июня 1941,
Фонтене

День уже кончился, ночь не наступила. Мир непоравимо сер, и кажется, что это уже навсегда — не переход от света к тьме, а вечная серость, на смену

которой не взойдет ни солнце, ни луна, ничего не будет, кроме бесцветной пустоты, в которой витают утратившие устойчивость предметы и живые существа.

Краски становятся грубей, линии четче, углы резче. Шиферная крыша на монастырской школе остра как лезвие и отливает сталью. Зеленые ворота школы бездонны. Можно сосчитать по камушку весь песчаник в мостовой и тротуарах даже издали, потому что он обрисован, словно тушью, тонкими черными линиями.

На желто-красных трамваях, проходящих каждые пять минут по улице Иоанна Замаасского, зажглись большие желтые фонари. Появляется фонарщик с длинным шестом; на его пути, пыхнув, зажигается газ, и в фонарях рождается бледное, чахлое пламя.

Несколько человек отворили дверку в воротах монастырской школы. Выходя на улицу, они по очереди пригибаются, съеживаются, а выйдя, распрямляются, пыжятся по-птичьи; их длинные черные плащи расправляются; на них шляпы с загнутыми по бокам полями, похожими на крылья.

Уличные мальчишки дразнят воспитанников воронами, орут им вслед: «Кар! Кар!» В этом неосязаемом мире, в этой пустоте, где плавают люди и вещи, непрочные, как осенние облака, четыре ворона удаляются в ряд по улице, и внезапный порыв ветра задирает с хлопаньем четыре черных плаща.

Четыре маленьких воспитанника не улетят. Улица Иоанна Замаасского схватит их и не отпустит. Фонарщик уже добрался до бульвара Конституции. Улица пустынная. На ней теперь ни одной живой души; газовые фонари, чересчур бледные в серых сумерках, светят безжизненным светом.

Но вот в доме № 53 два окна окрасились в розовый цвет — теплый, нежный, женственный. На них ни ставней, ни жалюзи, и сквозь прозрачные гипюровые шторы можно разглядеть розовый шар люстры, свисающий с нее бисер, розовые стены и белые рамы двух slashавых олеографий.

Если заглянуть в замочную скважину дома № 53, — а она как раз вровень с моими глазами, — увидишь в глубине темного коридора застекленную дверь кухни.

Там тепло. На сияющем металле плиты никогда ни пятнышка ржавчины, ни следа жира. В любое время дня

на плите поет белый эмалированный чайник. Посреди плиты — круглое отверстие, чтобы мешать угли. Одна из двух духовок всегда открыта — для тепла; в ней лежат огнеупорные кирпичи, которыми вечером согревают постели.

В круглое отверстие видно огненно-красное нутро печки. Когда оно бледнеет, Анриетта принимается мешать угли кочергой, и порой ни с того ни с сего из него вырывается дождь раскаленных искр.

На столе, покрытом клеенкой, я размалевываю акварелью картинку для раскрашивания. Мазки вылезают за контуры рисунка, вода в блюдечке становится сперва розовой, потом сиреневой, потом вообще непонятно какой, все более безобразной на вид. Тогда, чтобы не выпачкать кисточку, я мою ее, сунув в рот.

За окном — темный двор, однако в темноте угадывается свет из другого окна над кухней — там живет Фрида Ставицкая.

Есть еще третье окно — за ним зеленая комната, в которой поселился господин Зафт.

Все ячейки в сотах заполнены, три комнаты сданы. В каждой мурлычет печка, рядом с печкой — ведро с углем, кочерга да совок. И в каждой комнате живут жильцы, окруженные зоной пустоты; стоит кому-то из них встать, чтобы подбросить угля в огонь, как мама инстинктивно вскидывает голову.

Где-то там есть шумные улицы, вроде улицы Пюи-ан-Сок, с бесконечными пешеходами, чьи силуэты, как в театре теней, движутся на фоне освещенных витрин.

На улицах Пастера, Закона, Образования, Конституции огни реже и если кто-нибудь пришел или ушел, звук распахиваемой и затворяемой двери слышится на противоположном тротуаре.

В розовой комнате мадемуазель Полина пишет диссертацию по математике. Полина Файнштейн не случайно снимает самую дорогую комнату: она самая богатая из всех жильцов.

Сперва она питалась в семейном пансионе и платила там один франк двадцать пять сантимов за обед и франк за ужин; да еще ей приходилось каждый раз уходить из дому.

Анриетта сказала ей однажды:

— Боже мой, мадемуазель Полина, вам было бы

проще и выгодней ужинать здесь у нас, как все остальные!

Кстати, Фрида Ставицкая уже почти приручена. Правда, чтобы этого достичь, пришлось прибегнуть к угрозе:

— Послушайте, мадемуазель Фрида, я не могу допустить, чтобы вы впредь ели у себя в комнате. Везде валяются хлебные крошки. Это, наконец, неопратно.

В первый вечер Фрида сошла вниз с напряженной миной. Не садилась, дожидаясь, пока ей укажут место. Потом развернула бумажку, в которую были завернуты хлеб и яйцо вкрутую.

Молча кивнула хозяевам, молча поела и ушла.

Теперь у нее на кухне есть своя коробка, жестяная коробка из-под бисквитов, выданная ей моей матерью. Там она держит хлеб, масло, колбасу.

— Вы даже могли бы покупать себе кофе. Я вам его смею и дам кипятку.

Так все и устроилось. Фрида принесла в дом маленький голубой кофейничек, который занял свое место на плите по соседству с нашим большим белым кофейником в цветах.

Зеленую комнату снял господин Зафт. Это белокурый стройный поляк, отличный гимнаст. Чтобы заработать на плату за лекции, он дает уроки физкультуры.

— Ужинать вы можете на кухне. Я дам вам коробку — держать в ней хлеб и масло.

В первый вечер, когда пришла пора ужинать, мать позвала с нижней лестничной площадки:

— Господин Зафт! Господин Зафт! Идите кушать!

Господин Зафт беден. Его мать живет в Кракове в двухкомнатной квартирке на скудный пенсион, который выплачивает ей богатая невестка.

Господин Зафт дает уроки гимнастики, по пять-шесть часов в день, и заниматься ему приходится до двух ночи. По утрам глаза у него красные, как у альбиноса.

Фрида тоже бедна. Отец ее — учитель в деревне, где нет никаких других домов, кроме одноэтажных деревянных изб.

— Если бы ты знала, Анна, какие они гордецы! — изливается мама перед тетей Анной. — Белья нет, чулки дырявые, живут впроголодь. Иной день я просто уверена, что господин Зафт не обедал. Но даже чашку кофе

ни за что на свете не согласятся от меня принять! Работать руками для них бесчестье. Все хотят учиться, выбиться в люди...

Выбиться в люди!..

Неужели Анриетта не понимает, что она той же породы и порода эта — маленькие люди, безвестно борющиеся с собственной посредственностью, — населяет большую часть земного шара?

Она и сама чересчур горда, чтобы принять помощь от кого бы то ни было, пусть даже от сестер. И разве она не сражалась годами против инертности мужа, чтобы отвоевать себе право держать жильцов, а значит, вырваться из тисков ежемесячных ста сорока или ста восьмидесяти франков и из двухкомнатной квартирки на верхнем этаже?

Ради того чтобы сын сделался врачом, Лина училась музыке и пению, а младшая стала учительницей, тетя Анна, вся проникнутая чувством собственного достоинства и рожденная быть не меньше, чем канониссой, наливает на углу стойки можжевеловую водку косноязычным возчикам.

На всей улице, во всем квартале, за каждым освещенным окном, вокруг каждого стола люди живут, воодушевляясь одной и тою же надеждой.

Если сесть на поезд на вокзале Гийомен, путь твой на много километров проляжет через местность, полную кошмаров, — там в темноте угадывается гигантское переплетение балок, подъемных кранов, гремят копры, пылят двигатели, и порою перед раскаленными печами удаётся разглядеть страшные полуголые фигуры — как ни странно, это люди, мечущиеся среди языков пламени, в испарениях расплавленной меди или цинка.

Иногда они устраивают уличные шествия с флагами, а против них бросают национальную гвардию и жандармов.

Как-то на днях мальчишки-газетчики кричали по улицам, перед «Большим универсальным» и «Новинкой», где в свете потрескивающих газовых фонарей мелкие рантье расхватывают газету с тиражом последней лотереи:

— Казнь Феррера! ¹ Покупайте казнь Феррера!

¹ Феррер Гуардия Франсиско (1859—1909) — испанский анархист, расстрелян при подавлении республиканского восстания в Барселоне.

Анархист — он ведь тоже хотел чего-то добиться в жизни.

Всему миру не по себе. Но это еще смутно, как неназревший нарыв.

Анриетта диву дается, глядя на эту Фриду Ставицкую, такую гордую в своей нищете, приехавшую с другого конца Европы ради образования. Зачем?

И зачем господину Зафту?..

А вот и мадемуазель Полина вразвалочку спускается по лестнице, донельзя довольная собственной персоной. Она здоровается с господином Зафтом, и он отвечает ей сквозь зубы. У нее на кухне своя коробка, роскошное содержимое которой она выкладывает на стол.

Однажды она объявила:

— Не могу есть на клеенке.

Ей выдали в единоличное пользование красно-белую клетчатую скатерть. Каждый вечер ее толстые, как сосиски, пальцы с ухоженными ногтями перебирают содержимое коробки; там копченый гусь, присланный ей из дому, ливерная колбаса, сыр, яйца.

Кухня невелика. Мы все сидим нос к носу. Наша семья ест на ужин бутерброды с тонким ломтиком сыра или вареньем. Дезире ждет конца трапезы, чтобы поскорее приняться за газету, в которой пишут про Вильгельма II и неизбежность войны.

Пока все спокойно и мирно до омерзения. Но в университете города Льежа учится не меньше двух тысяч иностранцев. На улицах попадаются китайцы, японцы, румыны, русские — русских больше всего, и все они бедняки, все ожесточены.

Вчера Анриетта водила меня на почтамт. Там она завела на меня и на брата по сберегательной книжке и на имя каждого положила по двадцать пять франков.

— Главное, не рассказывай отцу.

Вернувшись, она спрятала две желтые книжечки в буфет в стиле Генриха II.

Эти русские добиваются ученых степеней. А если вдуматься — одно и то же.

Но трагично, что все эти маленькие люди не понимают друг друга. Каждый живет в отдельной ячейке, в кругу света от собственной лампы. И в каждом из светлых кругов тепло от трепетных надежд.

Но люди не знают, какая сила влечет их и куда.



Для тети Анны весь смысл жизни сосредоточен на ее чувстве собственного достоинства, и все-таки она изо дня в день, принося себя в жертву, улыбается пьяным посетителям, у которых за голенища сапог заткнуты кнуты.

Анриетту точит навязчивая идея обеспечить себя и детей. Она слишком хорошо узнала нищету, когда жила с матерью и кипятила в кастрюлях пустую воду.

Обеспечить себя — значит владеть собственным домом, не ведать о кошмаре квартирной платы, жить у себя и знать, что это навсегда, что у тебя есть, где жить и умереть.

На глазах у Фриды ее отца, учителя, теснили и унижали царские чиновники, презирали тамошние богатеи — кулаки; Фрида верит, что новую Россию можно построить, лишь вооружившись образованием и знаниями.

Господин Зафт трудится во имя освобождения Польши.

А Полина Файнштейн, чей отец вышел из гетто, станет со временем университетской преподавательницей, всех заставит забыть об узкой и длинной, как коридор, лавке с коптящими масляными лампами, где ее родители сколотили себе капитал, торгуя готовой одеждой, развешанной на рейках с вырезанными картонными головами, торчащими из воротников костюмов и платьев.

У всех разгораятся глаза на лучшую жизнь, все предвкушают какое-то совсем иное существование, но каждого манит свой, особый мираж. И вот они, безмолвные, полные презрения, собрались за одним столом у плиты с чашечками кофейниками, и у каждого своя жестяная коробка с едой, и Анриетта улыбается им всем: они ее жильцы и платят ей за комнаты.

Догадывается ли Дезире, что ему не суждено увидеть результаты этого подспудного труда?

Он родился для счастья и был счастлив немногим. Переезды приводили его в ужас. Любые перемены пугали. Всякий росток нового нагонял страх.

Без пиджака, в углу у плиты, в плетеном кресле он окутывает себя облаком табачного дыма и углубляется в газету.

Когда я подхожу поцеловать его перед сном, он чертит большим пальцем крестик у меня на лбу и проникновенно говорит:

— Спокойной ночи, сын.

Сын, который, может быть, увидит...

Мама так далеко не заглядывает и за чисткой овощей или штопкой чулок ломает себе голову, как бы заработать несколько лишних су.

Не знаю, малыш Марк, поймешь ли ты эти страницы, ты, такой счастливый покуда. Или улыбнешься над ними? А ведь это огромная драма, повторявшаяся столько раз в ходе истории, — неосознанный натиск униженных, инстинктивная борьба с собственным социальным положением, эпопея мелкой сошки.

И не все ли равно, что живешь ты в замке и разодет во все белое, «как принц», сказала бы твоя бабка, не все ли равно, что у тебя есть гувернантка, что ты играешь роскошными игрушками: мы все из мира мелкой сошки, твоя мама, и я, и ты.

16

10 июня 1941,
Фонтене

Иногда по утрам дом пустеет уже с восьми часов. Анриетта остается вдвоем с Кристианом, который сидит взаперти в своем детском креслице, пока она убирает в комнатах. Мне знакома эта атмосфера опустевшего гулкого дома: я теперь хожу через дорогу в монастырскую школу и без четверти десять, во время перемены, когда двор переполняется невыносимо пронзительным шумом, мне разрешают сбегать домой.

Мама оставляет дверь незапертой. Если она забывает об этом, я тихонько стучусь в почтовый ящик, по привычке заглядывая в замочную скважину.

В коридоре кричу:

— Это я!

На четвертой ступеньке лестницы нахожу стакан пива, в котором разболтано яйцо и размешан сахар. Я хилый ребенок, и врач прописал мне гоголь-моголь, но молоко не усваивается моим организмом, и мне готовят гоголь-моголь на пиве.

Мама наклоняется над лестничным пролетом:

— Посмотри, чтобы брат ничего не натворил.

Не открывая кухонной двери, бросаю взгляд через стекло: Кристиан на месте, в своем креслице, пухлый, безмятежный, похожий на каноника во время вечерни.

Случается, что у кого-нибудь из жильцов нет лекций или он просто решает позаниматься дома. Здесь коренится начало драмы. Поймешь ли ты, сын, что это подлинная драма? Или посмеешься? Правду сказать, мне бы хотелось, чтобы ты понял, прочувствовал весь ее накал.

Рассказывать об этом трудно — все на сплошных нюансах. Анриетта Сименон невероятно чувствительна к нюансам — до слез, до ломания рук в ненаигранном приступе отчаянья, до того, что в пору повалиться на пол и головой биться.

Как все малые мира сего, твоя бабушка, малыш Марк, очень горда. И гордится она прежде всего своей порядочностью.

Бедная, зато порядочная! В тысячах скромных домишек, вроде нашего, ты услышишь эти слова, и они произносятся искренне или почти искренне. А если с этим жизненным правилом идут на компромисс, то даже сами себе ни за что в этом не признаются.

Твоя бабушка хитрит, как я тебе уже говорил. Она всегда хитрила с Дезире. Ей очень бы хотелось пуститься на хитрости с жильцами, и она делает робкие попытки. Ею владеет неотвязная, почти болезненная потребность зарабатывать деньги.

В то же время она страшно боится, что ее заподозрят в нечестности. От страха повести себя недостойно собственных понятий она пускается хитрить сама с собой.

В состоянии ли ты это понять? Когда она связалась с жильцами, то твердо решила, что будет их кормить, хотя бы только завтраками и ужинами.

Случай послал ей нищих жильцов, кроме, разумеется, Полины. Они хотели питаться у себя по комнатам, рядом со своими кроватями, тазами, помойными ведрами, но против этого восставали все мамины представления о порядке, о том, что принято и что не принято.

Она видела, что промасленная бумага валяется рядом с учебниками и тетрадями, а куски колбасы соседствуют в платяных шкафах с бельем, чулками и носками.

В дом ворвалась богема, и мама предпочла уступить часть своей кухни, открыть ее двери захватчикам, выделить им жестяные коробки для съестного и горячую воду для кофе..

Правда, толстая улыбчивая мадемуазель Полина вполне могла бы платить за ужины и завтраки, но, видя ко-

робки Фриды и господина Зафта, она переняла ту же систему.

Мадемуазель Полина вечно зябнет. Печь у нее в комнате всегда докрасна раскалена, чтобы в комнате было поуютней. Но вот ей представляют счет за первый месяц, и она просматривает его тщательнейшим образом, хотя и не без изящества.

— Скажите, госпожа Сименон, сколько вы берете с меня за ведро угля?

Мама багровеет от одной мысли, что ее смеют заподозрить в нечестности.

— Пятьдесят сантимов.

Но будущий специалист по высшей математике госпожа Файнштейн, чьи родители торговали одеждой чуть ли не под открытым небом, успела навести справки.

— Угольщик на улице берет за ведро сорок сантимов.

Анриетта в своем праве. Но ей мучительно слышать, что жилища настолько не доверяет ей, хозяйке, и даже обращалась с расспросами к угольщику.

— Это верно, мадемуазель Полина. Но вы забываете, что я ношу этот уголь вам наверх, снабжаю вас дровами и бумагой для растопки, развожу огонь. Маленькая вязанка дров и та стоит пять сантимов. В мою пользу остается сантимов пять, не больше.

Мадемуазель Полина явно решает в уме вопрос, стоят ли пяти сантимов старые газеты и таскание угля на второй этаж. Но Анриетта заливается краской и возмущается потому, что на самом деле она все-таки хитрит. Верно, угольщик, который ходит утром по улицам, берет за ведро сорок сантимов, но в тех ведерках, что стоят в комнатах, помещается не больше, чем три четверти угля из настоящего ведра.

Понимаешь теперь, малыш, почему порядочность столь обидлива?

Но у твоей бабки доброе сердце. Она жалеет неуживчивую Фриду: в комнате на антресолях ледяной холод. Кухня и комната над ней образуют нечто вроде пристройки позади дома, и комната Ставицкой находится не под настоящей крышей, а покрыта особой плоской крышей из цинка. На стенах, выкрашенных масляной краской в мрачный зеленый цвет, часто выступают и текут вниз капельки влаги. В пасмурную погоду там темно и тоскливо. В печи плохая тяга.

Часов в десять-одиннадцать Анриетта стучится в дверь; нелюбезный голос отвечает ей:

— Войдите!

— Мне нужно здесь убрать, мадемуазель Фрида.

Печка из соображений экономии не топлена. Фрида занимается, кутаясь в свое изношенное пальто.

— Вы заболете.

— Какое вам дело?

— А если все-таки развести небольшой огонь? Хотя бы на часок, чтобы в комнате стало чуть-чуть поуютней?

— Я разведу огонь, когда сочту это нужным.

По части гордости они стоят одна другой. Но Анриетта вечно боится обидеть, ранить, задеть, а Фрида выкладывает напрямик самые обидные для собеседника вещи.

В это время на кухне горит жаркий огонь, живоительно пахнет супом или рагу, окна запотели от тепла.

— Послушайте, мадемуазель Фрида, я не могу убирать, когда вы здесь.

— Мне вы не мешаете.

— А вы мне мешаете. Я должна открыть окно, проветрить постель, вымыть пол.

— Не делайте этого.

— Я не могу допустить, чтобы комната зарастала грязью.

— Но ведь здесь живу я, а не вы — а мне все равно.

— А почему бы вам по утрам, когда я убираю, не ходить заниматься на кухню? Вам никто там не помешает. Вы будете одна. Кристиана я заберу.

В конце концов Фрида позволила себя уломать. Не поблагодарив, спустилась вниз со своими учебниками. Мама тщательно вытерла клеенку на столе и открыла обе духовки, чтобы стало еще теплее. Она помешала угли в печке и слегка приоткрыла крышку над одной из кастрюль.

— Признайте, что вам здесь удобней!

Но бледная, с черными как уголь глазами, с огромным кроваво-красным ртом Фрида не устаивает маму ответом.

В одиннадцать утра кто-то скребется в дверь. Это дядя Леопольд: он бродил по нашему кварталу и по обыкновению заглянул к младшей сестре — часок посидеть, передохнуть.

— Послушай, Леопольд...

Она стоит, загородив собою коридор и не впуская брата; к тому же она метнула взгляд на кухонную дверь, и он все понимает. Старый пьяница тоже весьма щепетилен.

— Ну что ж, я пойду.

— Но, Леопольд... Погоди, я все объясню.

Никаких объяснений! Насупившись, он удаляется тяжелой, неверной походкой, и можно поручиться, что за утешением отправится в кабачок на углу.

Анриетта вздыхает, принюхивается, хмурит брови и бросается в кухню, откуда слышится угрожающее шипение и распространяется запах горелого мяса.

— Боже мой, мадемуазель Фрида...

Фрида смотрит на нее отсутствующим взглядом.

— Неужели вы не слышите?

Фрида — воплощенное безразличие.

— Такое соте из телятины пропало! Неужели вам трудно было меня кликнуть, предупредить, что у меня подгорает?

— Я не знала.

Воздух сиз, как в курительной комнате. В чугунной кастрюле — нечто напоминающее большие куски угля.

— Вы не сказали мне, что...

Фрида встает и собирает учебники, тетради, карандаши.

— Надо было предупредить, что вы позвали меня вниз присматривать за вашим обедом. Я бы лучше в комнате посидела.

— Мадемуазель Фрида!

Она уже в коридоре, но на этот раз соизволила обернуться, вопросительно глядя на Анриетту.

— Как вы могли такое сказать? Как вам только в голову пришло?

Анриетта машинально захватывает пальцами уголок своего передника в мелкую синюю клеточку и прячет в него лицо. Ее грудь вздымается. Шиньон трясется. Она рыдает одна в пустой кухне, где придется открывать окно, чтобы выветрился запах гари.

Если бы она могла вернуть Леопольда! Она доверилась бы ему во всем. Он понял бы. Но Леопольд взбешен. В гордости он не уступит сестре. Почему он не ходит к другим сестрам — к Анне на набережную Сен-Леонар, к Марте Вермейрен на улицу Кларисс,

к Армандине? Потому что там он мешает и сам чувствует, что мешает и что его стыдятся.

По утрам, когда на сердце тяжело, его последним пристанищем оставалась кухня малышки Анриетты, и вот эта самая Анриетта не пустила его на порог. Он и впрямь пошел в кафе на углу. Положив локти на стол, он осушает один за другим стаканчики с толстыми доньшками, смотрит в пустоту и клянется в душе, что никогда больше не вернется на улицу Закона.

Это не пьяная клятва. Даже напившись, он будет вспоминать, что однажды Анриетта захлопнула дверь у него перед носом.

Они не виделись несколько лет и только по случайности стали вновь поддерживать более или менее постоянные отношения.

Кончено. В течение долгих месяцев у Леопольда не будет никакой связи с родными. Он точно ушел под воду. Где он бродит? Где находит пристанище? Каким незнакомым людям изливает душу в приступе тоски, навевной можжевелевой водкой?

Его жена Эжени ничего этого не знает, и когда он забредает к ней, она избегает расспрашивать из боязни, как бы он опять не погрузился в неизвестность.

А кому поверит свои горести Анриетта? Анне, которую в ближайшее воскресенье они навестят на набережной Сен-Леонар? Но Анна скажет: «Уж слишком ты сердобольная! Этак над тобой все потешаться будут!»

Что до мужа, то ему-то она никогда не пожалуется на жильцов. Он терпит их присутствие, молчит, старается не вмешиваться в денежные дела, связанные с ними: «Ты этого хотела, не правда ли? Разбирайся сама».

Но ведь она подчинялась необходимости! Неужели Дезире не понимает? Мыслимо ли дело — вырастить двух сыновей, дать им образование на сто восемьдесят франков в месяц, его нынешнее жалование? А если с ним что-нибудь случится?

Анриетта подавлена: она чувствует, что с ней обходятся несправедливо. Как легко было бы, если бы каждый внес в общее дело свою лепту! Разве она не делает все, что может? Разве о своей выгоде радеет? Разве не выносит безропотно ведра с грязной водой, не чистит засаленные расчески Фриды и Полины?

Ей даже не нужно благодарности — лишь чуть-чуть

понимания. Она готова принять участие в жизни всех окружающих.

— Скажите, мадемуазель Фрида, это портрет вашей матушки видела я у вас в комнате?

— А вам что за дело?

Господин Зафт почти не бывает дома. Носится вверх и вниз по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки. По утрам у себя в комнате занимается с гантелями, а потом с такой силой швыряет их на пол, что уже три раза ломались колпачки от газового рожка в комнате внизу, а каждый колпачок стоит тридцать сантимов.

— Эти русские и поляки, Анна, совершенные невежи!

Но, обнаружив в комнате у господина Зафта рваные носки, мама уносит их с собой — поштопать. Потом, поразмыслив, предлагает:

— Скажите, господин Зафт... Хотите, я буду штопать вам носки? Платите мне пять сантимов за пару, не больше.

Ей хотелось бы... Сама Анриетта едва ли это сознает. Нет — сознает, чувствует, что ей хотелось бы именно этого: чтобы все люди вокруг были сердечны, чувствительны, цвели улыбками и старались не обижать друг друга — ни нарочно, ни по небрежности. Ей хотелось бы помочь им всем и в то же время подзаработать немного денег, пусть даже ей придется ложиться в полночь и вставать в пять утра.

Невольно она больше жалуется бедных жильцов, чем богатых, потому что у нее призвание помогать и жертвовать. Но если ее жертв не замечают, она страдает.

Она снует туда и сюда — комнаты, кухня, маленькие кофейнички и большой семейный кофейник на плите. Вверх, вниз. А тут и я прихожу из школы.

— Есть хочу!

Меня кормят. Брата — тоже. Не успел я вернуться в школу, как пора приниматься за обед для Дезире — сладкие блюда, разварное мясо.

Прихожу домой в четыре. Темно, моросит дождь.

— Надень дождевик.

Дело в том, что если перейти мосты, в маленькой улочке возле рынка, у Сальмона, можно купить масло получше и на два сантима дешевле, чем в других местах. Вдобавок, предъявив в конце года чеки, получаешь право на пятипроцентную скидку.

Только бы не погас огонь в печи! Только бы никто не пришел!

Колокольчик у входа в лавку. Запах масла и сыров. Толстуха госпожа Сальмон, две ее дочери, такие же толстухи, как она сама. Анриетта улыбается.

Чтобы тебя хорошо обслужили, надо улыбаться продавцам.

— Два фунта...

Сочащиеся большие бруски масла, обернутые в капустные листы, холодят руку.

Если сходить за кофе в «Черную деву» на улицу Невис, выгадаешь еще одно су.

— Добрый день, мадемуазель...

Улыбка. Только бы огонь...

Капли дождя стекают маме на волосы со шляпки. Чередование темноты и света. Запах ладана вокруг церкви, прячущейся в тени, в которой скользят другие тени.

Кристиан тяжелый. Маме с ним просто мучение. Отец вернется в половине седьмого, и не будет готов обед... А что на ужин? Идем по улице Пюи-ан-Сок. Жареная картошка. Огромная плита, на которой кипит жир.

— Мне жареной картошки на пятьдесят сантимов.

— Вы со своей посудой?

— Нет, я занесу вам блюдо завтра утром.

Золотистая теплая картошка на фаянсовом блюде, покрытом салфеткой.

— Неси его, Жорж, только не урони.

Блюдо жирное, скользкое. А дождь все моросит. Дом. В замочную скважину виден свет. Кто это зажег на кухне газ? Дезире так рано не возвращается.

Анриетта ищет ключ, идет по коридору, не чуя поясницы.

— Ах, это вы, мадемуазель Полина!

— На кухне все равно никого не было, и я подумала, что разводить огонь у меня в комнате не имеет смысла... Вам стол нужен?

Анриетте надо бы сказать «да», ей действительно нужен стол — пора уже накрывать к обеду. Но она говорит «нет».

— Останьтесь, мадемуазель Полина. Муж придет еще не сейчас.

Чтобы картошка не остыла, блюдо ставят на крышку плиты. Я заговариваю в полный голос.

— Тише! Ты же видишь, мадемуазель Полина занимается.

А мадемуазель Полина и не спорит. Она впрямь занимается, заткнув уши пальцами и безмолвно шевеля губами.

— Оставь брата в покое... Кристиан! Перестань шуметь, слышишь?

Отец уже вернулся, а эта Файнштейн по-прежнему занимает половину стола. Спускается Фрида. Ее бледная физиономия показывается за дверным стеклом. Она открывает дверь и говорит, глядя на Полину:

— Я думала, уже едят.

— Ну разумеется, мадемуазель Фрида. Минуточку... Вы не возражаете, мадемуазель Полина, если я начну накрывать на стол?

И с тою же медлительностью, с какою она ест, Полина принимается складывать книги. Она поняла фокус с кухней. Тепло и свет, за которые не надо платить! Отныне, если только она не на лекциях, лучшее место за столом с утра до вечера будет за ней.

— Тише, дети! Вы же видите, что мадемуазель Полина занимается... Жорж! Не приставай к брату... Сиди тихо.

Поэтому, мой маленький Марк, твоего отца, а потом и твоего дядю Кристиана стали отправлять играть на улицу.

17

На улице Леопольда Анриетта с Дезире жили почти в одиночестве; одна только Валери заглядывала в квартиру у Сесьона.

Перебравшись на улицу Пастера, они стали ходить по воскресеньям к старикам Сименонам, где собирались все носители фамилии Сименон — и мужчины и женщины с младенцами.

Какое внезапное сродство, какая новая поляризация привела Дезире и Анриетту во двор монастыря бегиннок позади церкви святого Дениса, к Франсуазе и ее мужу-ризиному?

Отныне эта чета распростится с одиночеством. Уединение продлилось не более двух лет, пока родился и

подрастал первенец. Но почему именно к Франсуазе, а не к Селине, не к Люсьену, не к Артюру?

Клан Сименонов пока преобладает, притягательная сила Сименонов еще велика.

Контакты с Брюлями, напротив, мимолетны: бывает, заглянет Леопольд посидеть на кухне, пока Дезире нету дома; порой Анриетта по дороге забежит поцеловать Фелиси по секрету от мужей обеих женщин. Дезире покуда один содержит весь дом — разве не он истинный глава семьи?

А про Брюлей даже не известно наверняка, где они живут, разбросанные в большом городе. Ребенком я их еще не знал и мог бы пройти мимо тетки или дяди на улице, не подозревая, что они мне родня.

Дезире женился на славной безродной сиротке.

Но сиротка, пуская в ход терпение и хитрость, еще раз перебирается из ячейки в ячейку. В доме на улице Закона она уже чувствует себя главнее Дезире: здесь трудится она.

И теперь уже надолго входит в обычай, пренебрегая недалейшей улицей Пюи-ан-Сок, отправляться по воскресеньям на набережную Сен-Леонар. Здесь приходит черед Дезире чувствовать себя чужаком на кухне у тети Анны, позади магазина, пахнущего пряностями и можжевеловой водкой. А из коридора сочится аромат ивовых прутьев.

Сименоны окончательно побеждены. Полоса тети Анны сменится иными полосами. Но за незначительными и случайными исключениями все это будут периоды Брюлей. С этих пор по воскресеньям наша маленькая компания из четырех человек, принарядившись во все новое, станет пускаться в путь по пустым улицам исключительно ради кого-нибудь из братьев, сестер, кузенов или кузин моей мамы.

Мало того, что наше жилище заполонили иностранцы из России и Польши и Дезире теперь одинок дома еще больше, чем на улице; даже минуты воскресного отдыха мы будем делить с иностранцами — с фламандцами из Лимбурга.

Вот уже несколько дней, как в монастырской школе зажигают в половине четвертого два тусклых газовых

рожка. На зеленой стене — лубочная картинка, она наклеена на полотно, покрыта лаком и поэтому кажется нарисованной на слоновой кости. На ней изображена зимняя ярмарка, скорее всего рождественская, в маленьком прирейнском городке. Наш класс весь увешан немецкими картинками.

Готические домики, зубчатые шипцы островерхих крыш, окна с маленькими квадратиками стекол. Город укрыт снегом; на переднем плане девушка, закутанная в меха, сидит на санках, которые толкает элегантный господин в выдровой шапке.

На площади — ларьки и палатки, битком набитые игрушками и разной снедью; здесь же поводырь с медведем и флейтист в длинном зеленом плаще.

Везде оживление: близится рождество и город лихорадит.

А у нас через несколько дней будет Новый год, детский праздник. И вот в последний предпраздничный четверг мы несемся по городу, по темной улице, вдоль которой уже метет поземка. Анриетта снова спешит. Она до отказа подбросила угля в плиту и плотно закрыла, потому что знает: ни мадемуазель Полина, хоть та и сидит, придвинув ноги к самому огню, ни мадемуазель Фрида, которая занимается у себя в комнате, не подумают позаботиться о плите.

— Просто не понимаю, как могут женщины...

Да что говорить! Они же дикарки! Тем хуже для их мужей, если только они когда-нибудь выйдут замуж. Одной рукой Анриетта тащит за собой Кристиана; ему три годика, он без конца спотыкается, потому что смотрит куда угодно, только не под ноги. В другой руке зажата неизменная сетка с продуктами и пухлый кошелек, который истерся до того, что совсем утратил цвет.

— Жорж, держись за меня, а то потеряешься.

Кажется, что город дышит совсем иначе, чем обычно. В дни перед Новым годом воздух разительно меняется. Промозглого осеннего холода, царящего всегда в день поминовения¹, летучих облаков, порывов ветра как не бывало. Под неподвижным небом, не серым, а скорее белесым, наступает морозное оцепенение.

Даже когда нет снегопада, в воздухе дрожат

¹ День поминовения усопших отмечается у католиков 1 ноября.

мельчайшие, как пыль, частички льда, особенно заметные в сияющем вокруг витрин ореоле.

Все на улицах, все куда-то спешат. Женщины волокут за собой детей, которых приманивает каждая витрина.

— Иди, Кристиан, переставляй ноги...

То же твердят своим малышам сотни, тысячи мамаш.

— Осторожно, трамвай...

Кондитерские, кафе, бакалейные лавки набиты битком, как ларьки с лубочной картинки. Сладкий, ароматный запах пряников и шоколада сочится из дверей, которые беспрестанно открываются и закрываются. Витрины снизу доверху загромождены фламандской сдобой — с медом, с разноцветными засахаренными фруктами.

Там выставлены пряничные овечки и санта-клаусы в человеческий рост с белыми ватными бородами, коричневатые или цвета ситного хлеба, и все это сладкое, ароматное, съедобное.

— Мама, гляди...

— Идем.

На площади святого Ламбера, в «Большом универсальном», толпа валит по проходам, растекается по отделам, двигаясь мелкими шажками, и десять лифтов, переносящие покупателей с этажа на этаж, не справляются с нею. Мужчины выходят из магазина, неся на плечах огромных деревянных коней; а женщины потом приносят этих коней обратно, чтобы обменять их на какую-нибудь говорящую куклу.

От белых, розовых, голубых фруктов, зверюшек, фигурок из марципана кружится голова.

— Что тебе хочется получить в подарок на Новый год?

— Коробку красок. Настоящих, в тюбиках. И палитру.

Середина улиц тонет в темноте: там только отдельные темные тени прохожих, не уместившихся на переполненных тротуарах; трамваи еле тащатся, трезвоня без передышки. Тайнственная сила увлекает нас вперед. Иногда, чтобы сократить путь, мать уводит нас от всеобщего безумия в маленькую улочку; там пустынно и неожиданно холодно, но вскоре впереди, как в конце туннеля, снова маячит свет.

Входим в магазин. Нам с братом суют две-три конфетки, чтобы умерить наше нетерпение. Самое



страшное — это потеряться, и я упорно цепляюсь за мамину сетку.

— Кристиан... Где Кристиан?..

Он здесь, никуда не делся, но до того тихо себя ведет, что его и не заметишь.

Нужно еще купить мяса на завтра.

Семейный хозяйственный ритуал сложен, как обряды какой-нибудь восточной религии. Обычно мясо покупается у Годара, на углу улицы Пастера и площади Конгресса. Но когда мы оказываемся в центре, мама пользуется случаем купить мяса на крытом рынке — там оно дешевле — и тогда покупается кусок сразу на два дня.

Мы снова расстаемся с толпой и со светом. Огромное здание рынка со стеклянной крышей высится на темной и тихой с пустынными тротуарами улице Кларисс. Внезапно перед нами вырастает приземистая фигура и незнакомый голос окликает:

— Анриетта!

Мать вздрагивает, на секунду у нее перехватывает дыхание.

— Ян!

Этот мужчина мне незнаком: невысокий, плотный, широкоплечий, с упрямым выражением лица, с седоватой бородкой и густыми бровями, он говорит с Анриеттой по-фламандски. Я чувствую в мамином голосе растерянность и приниженность, всегда мучающие ее в обществе богатей.

У нас замерзли ноги. Мы с братом рассматриваем незнакомца. Он долго говорит, не вынимая изо рта сигары, прежде чем замечает нас и дарит нам взгляд свысока.

— Поздоровайтесь с дядей Яном.

Я тянусь к нему поцеловаться, но он только пожимает мне руку и легонько треплет Кристиана по щеке кончиками пальцев.

Мы образуем на тротуаре живой островок.

Я знаю, что дядя Ян, Ян Вермейрен, — наш богатый родственник, муж тети Марты. Ее фотография есть у нас в альбоме, там она снята в профиль, на перламутровом фоне, с буфами на плечах. Я знаю ее дом — мама мне его много раз показывала, когда мы проходили мимо, и всякий раз предупреждала:

— Только не подавай виду, что смотришь.

Это просторный дом из белого кирпича; стоит он на-

против мясного рынка; там же оптовый бакалейный магазин и ворота, откуда выезжают подводы. На покрывающем их брезенте огромными буквами написана фамилия моего дяди.

О чем они там говорят по-фламандски?

— Пойдемте, дети, — бормочет мать.

Дядя Ян ведет нас. У него тяжелая походка и тяжелый взгляд, слова он цедит медленно и веско, сигара в зубах потухла. Время от времени он тяжело вздыхает, как будто ему трудно идти, но на самом деле его гнетет бремя жизни, которой он сумел придать такую значительность, что сам этим подавлен.

Он толкает стеклянную дверь. Длинные прилавки, приказчики, продавцы. Но в отличие от других магазинов — никакой толчеи. Здесь царит более сдержанный, но и более мощный ритм, потому что торговля идет только оптом или мелким оптом и магазин загроможден мешками, бочонками, ящиками.

Пересекаем торговый зал, поднимаемся на несколько ступенек, минуем застекленную контору, где горит газовая печка и работают двое служащих.

За несколько секунд мне открылся целый мир: зал, который кажется мне просторным, как церковь; товары, громоздящиеся до самого потолка, мужчины в синих фартуках, толкающие тележки и нагружающие подводы с фамилией Вермейрена.

— Сюда.

И вдруг — спокойная лестница богатого дома, запахи из кухни; над пролетом склоняется горничная и спрашивает:

— Кто там?

— Это я! — отвечает дядя Ян.

Направо — кухня, вся белая, как на картинках. Дядя в нерешительности, куда нас вести — в гостиную или в столовую, и наконец решает в пользу столовой, зажигает там свет, потом газовую печку; желтые и красные языки пламени, вырывающиеся из нее, приводят меня в экстаз.

Ян опять вздыхает и, как был, в котелке, плюхается в кожаное кресло. Зажигает сигару. Вид у него зловещий. Молчание.

— Хочешь, я попробую? — робко предлагает мама. Тяжелый взгляд. Да. Если она хочет, пожалуй...

— Присмотришь минутку за детьми?

Он и не думает за нами присматривать, но мы с братом так напуганы, что не смеем шевельнуться.

Анриетта выходит. Слышно, как она стучит в какую-то дверь. Потом раздается ее голос — ласковый, точно она хочет приманить дикого зверька:

— Марта! Марта!

В комнате за дверью кто-то шевельнулся на кровати.

— Это я, Марта. Я, Анриетта.

Я и не пытаюсь ничего понять в происходящем. Мельком гляжу на дядюшку, попутно замечаю репродукцию «Синдика суконщиков»¹ в рекламной раме.

Я занят тем, что принохиваюсь в поисках ускользающего запаха; вернее, я чувствую запах, но не тот: это внушительный, сложный, роскошный запах, куда более роскошный, чем у тети Анны, и ничуть не похожий на запах моего приятеля Рулса.

— Марта!

Мама пригнулась к двери, твердит что-то по-фламандски, и голос ее все теплей и теплей.

От Рулса так разит, что это досаждаёт всем, кто сидит в классе поблизости от него.

Рулс — мой ровесник, на нем всегда охотничий костюмчик из коричневого вельвета. Его родители торгуют соленой рыбой на улице Пюи-ан-Сок, неподалеку от мастерской моего деда.

Запах их тесной, темной лавки слышится издалека. На тротуаре громоздятся бочки с сельдью и ящики с копченой рыбой. С потолка свисают гирлянды вяленой трески, роняющей иногда кристаллы крупной соли.

И всем этим пропитан охотничий костюмчик. От Рулса пахнет одновременно селедкой, вяленой треской, но сильнее всего — прогорклый запах мидий.

«Там начинал когда-то и твой дядя Ян».

Уже потом были куплены три старых дома на улице Кларисс, их снесли и на их месте возвели величественное здание, где мы сейчас находимся.

Вот почему я пытаюсь уловить тот запах, но чувствую лишь тонкое благоухание кофе, корицы, какао и гвоздики, к которому примешиваются ароматы с кухни, да еще малая толика мастики и сапожного крема.

¹ Имеется в виду картина великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1606—1669) «Синдики» (1662).

— Марта! Это я.

Вермейрен развалился, вытянув ноги к газовой печке, — круглое брюшко, шляпа на голове; он курит сигару, не глядя на нас. Время от времени испускает вздохи, словно делая невыносимо тяжкую работу. Вдруг тишина взрывается. В комнате тети Марты кто-то швыряет в дверь тяжелыми предметами. Слышится визгливый, омерзительный голос. В столовую влетает мама.

Вермейрен со вздохом встает.

Зря он притащил с улицы Анриетту.

Уже три дня назад Марта, как в свое время Фелиси, вошла в запой. Где она достала выпивку — ведь все спиртное под замком? Где взяла денег — ведь все служащие получили указание не подпускать ее к кассам?

Вот уже три дня, как она заперлась у себя в спальне, несомненно, с бутылками, и отказывается отпереть, а когда ее зовут, отвечает ругательствами.

У нее там небось и еды никакой нет!

Спускаясь по лестнице, мама проливает несколько слезинок.

— Пойдемте, дети.

Вермейрен ведет нас обратно в магазин, поколебавшись, открывает коробку конфет под стеклянной крышкой и дает нам с братом по две вафельки.

Новые колебания. Ого! Его великодушие достигает апогея: он снимает с полки две коробки сардин и сует их маме в сетку.

На улице уже совсем стемнело, стеклянная крыша рынка еле освещена.

Как мы припозднились! Огонь, наверное, потух. Вот-вот вернется Дезире, и жильцы сойдут в кухню.

Анриетта торопит нас, тянет за собой, выбирая самый короткий путь по самым темным улочкам, до которых не доносится запах новогоднего праздника.

Круглая площадь Конгресса обсажена деревьями, темная листва которых с одной стороны еще черней из-за влаги. На земляной насыпи возле улицы Свободы

высится огромная решетчатая башня, от которой расходятся сотни телефонных проводов.

Улицы отходят лучами от площади Конгресса. Трамвай делит ее на две неравные части: он идет по кривой, следуя с улицы Иоанна Замасского на улицу провинции.

Этим вечером площадь Конгресса превратилась в призрачное царство. Еще утром не морозило: лужицы едва затянулись хрупкой прозрачной коркой льда. Наверно, ветер переменился, пока мы сидели в школе. Тяга в печке была плохая, и брат Мансюи, пряча руки в рукава сутаны, велел нам встать в круг и кружиться по классу, чтобы согреться. Брат Мансюи — арденнский крестьянин, круглолицый, с добрыми глазами.

Мы писали палочки, а он расхаживал между желтыми партами и зорко следил за нами, зная в то же время, что и мы следим за ним не менее зорко. Это наша обычная игра. В просторных карманах его черной с белыми брыжами сутаны всегда лежат две коробочки из папье-маше с японским узором. В одной нюхательный табак, в другой — стирательные резинки в форме фиалок; такие не продаются ни в одной лавочке.

Брат Мансюи перемещается по классу бесшумно: ты думаешь, что он в другом конце, а он вырастает у тебя за спиной, молча улыбаясь безмятежной улыбкой и притворяясь, что глядит совсем в другую сторону.

Чувствуешь прикосновение его сутаны. На мгновение замираешь в надежде: а вдруг?.. Но он уже неуловимым движением фокусника положил на край твоей парты фиалковую резинку.

Двор и вообще все вокруг залито мертвенно-синюшной белизной. Кирпичные фасады темнеют; камень, которым облицованы нижние этажи, пронзительно бел, и на нем обозначились потеки.

Вот-вот зажгут свет. За стеклянной перегородкой ритмично и тягуче, как песню, твердят урок дылды из третьего и четвертого класса начальной школы. Кто увидел первые снежные хлопья?

Но вот уже все смотрят во двор. Если приглядеться, заметишь крошечные снежинки, медленно летящие с неба.

Мы как в лихорадке. Темнеет, снежные хлопья летят все быстрее, все гуще. Вот зажегся газ в комнате ожида-

ния, налево от подъезда, где сгрудились вокруг печки матери учеников.

Без пяти четыре. Все ученики встают и читают молитву. Из других классов доносятся более взрослые голоса, повторяющие то же самое. Топчемся на месте, строимся. Дверь распахивается.

Не тает! Снег лежит и не тает — по крайней мере, на мостовой, между булыжников.

Кто в черном грубошерстном плаще, кто в синем ратиновом пальто с золотыми пуговицами. Всех нас, возбужденных, похожих на гномиков, инспектор ведет строем до угла улицы. Там мы разлетаемся с шумом, рассыпаемся в зыбком, снежном, искажающем контуры тумане, из которого, подобно дальним огням в море, светят газовые фонари.

Нам слишком просторно в квартале и даже на площади Конгресса. С нас хватает небольшого пространства поближе к улице Пастера, перед бакалеей с тускло освещенной витриной.

Наконец-то замерзли ручейки вдоль тротуаров, и по ним скользят старшие мальчишки; на спинах у них ранцы.

Толкотня. Кто-то падает, ему помогают подняться. Лица смутно белеют под капюшонами, глаза блестят, нас все больше лихорадит, насыпь на площади обрастает снегом; вокруг черных ветвей вязов появляется снежная кайма.

Какой-то верзила веско объявляет:

— Здесь каток не для малышей! Пусть идут и катаются в другом месте.

Мы возмемся в снежной темноте — пятнадцать — двадцать человек. Пальцы озябли, носы мокрые, щеки тугие и красные от холода. Дыхание чистое, с губ слетает теплый пар.

Каток все глаже, все длиннее. Кто легко скользит, раскинув руки, кто начинает на корточках, а на середине выпрямляется в полный рост, приводя нас в восторг отвагой.

Женский голос издалека:

— Жан! Жан!

— Иду, мам!

— Живо домой!

— Иду, мам!

Еще один круг. Еще два.

— Жан!

Мимо проходят тени — это мужчины в темных зимних пальто, женщины с припудренными снегом волосами, прикрывающие грудь концами черных платков.

— Жан! Если я сама за тобой пойду, будет хуже!

Дыхание все чаще, оно становится хриплым.

Нас лихорадит все сильнее и сильнее. Отблеск бакалейной витрины ложится на иссиня-черный лед, кажущийся глубоким, как озеро.

Кто-то из нас открывает рот, высовывает язык и ловит на него снежинку. Во рту от нее привкус пыли.

— Как хорошо!

Как хороши в самом деле этот вечер, и первый мороз, и первый снег, и весь преобразившийся город: размытые контуры крыш на размытом фоне, огни, почти ничего не освещающие, и люди, словно плавающие в темноте!

Трамвай похож на волшебный корабль с желтыми окнами, плывущий куда-то в снежные просторы.

Завтра...

Об этом еще не смеешь и мечтать: слишком много часов отделяет нас от завтрашнего дня и если о нем думать, то от нетерпения станет совсем худо.

«Большой универсальный» торгует сегодня до полуночи, а то и позже. Потом упадут железные ставни; у вконец вымотанных продавцов и продавщиц ноги будут подгибаться, а голова — гудеть; полки и прилавки опустеют.

О святой Николай, мы тебя зовем!

О святой Николай, приходи в наш дом!

Матери беспокоятся, выкликают в таинственную тьму наши имена.

— Виктор! Виктор!

Компания тает. Вот нас уже шесть, потом пять. Теперь весь каток в нашем распоряжении, но уже нет сил по нему скользить.

— А тебе что принесет санта-клаус?

— Во-первых, никакого санта-клауса нет...

— А кто же тогда?..

— Родители!

— Неправда!

Спотыкаясь, бреду вдоль стен по улице Пастера. Вот

и улица Закона. Сквозь замочную скважину вижу мирный свет на кухне, тихонько стучусь в почтовый ящик.

С морозу щиплет глаза; хорошо бы лечь спать прямо сейчас, без ужина, чтобы поскорее настало завтра.

— Кто такой святой Николай?

— Покровитель всех детей.

— А Леду сказал, что это родители.

— Леду — глупыш.

— Он сам видел.

— Что он видел?

— Как его отец бросал через форточку орехи.

Вторую неделю святой Николай то и дело напоминает о своем присутствии. Ни с того ни с сего из форточки или из окна, распахнутого в темноту, вдруг проливается дождь орехов и миндаля.

— Ешь...

Окна и двери законопатили. Печка вдруг принимается гудеть, видимо, откуда-то потянуло сквозняком. Из ее нутра слышится глухое «пыхх!» — мы знаем, что это к добрым вестям.

Дезире пришел с работы, но он не спешит переодеться в старый пиджак и шлепанцы. Анриетта одета для выхода. У мадемуазель Полины заговорщицкий вид.

Мы с братом греемся в нашей комнате на третьем этаже, прижимаясь в постели спинами друг к другу. В свете ночника по комнате пляшут тени. Слышу, как открывается, а потом затворяется входная дверь и удаляются по улице шаги.

Спустившись, я застал бы на кухне мадемуазель Полину, которая стережет дом, переписывая между тем конспекты лекций.

Дезире и Анриетта оказываются вдвоем перед входом в «Новинку» — только вдвоем, как в былые времена.

Она держит его под руку, как когда-то; он настолько выше, что словно несет ее по воздуху.

На улице Пюи-ан-Сок их сразу подхватывает и увлекает за собой толпа, проплывающая перед витринами. Все в этот час на улице — все, у кого есть дети. Покуда тысячи детей спят беспокойным сном, взрослых лихорадит и глаза у них разгораются при виде кукол в человеческий рост, деревянных коней с настоящими гривами и обтянутых настоящей кожей, заводных поездов и причудливых санта-клаусов.

— Погоди, Дезире. Это нам не по карману. Лучше поменьше, но уж самое лучшее...

Для варшавянки Файнштейн этот день ничем не отличался бы от других — разве что она может спокойно посидеть одна в кухне, где так тепло, что по запотевшему оконному стеклу, завешанному суровой шторой, стекают капли влаги.

Слышу сквозь сон шум и голоса. Просыпаюсь раз, другой, третий, шурюсь на пламя ночника. Может, уже пора?

Наконец-то привычные звуки: в плите разводят огонь.

— Кристиан!

Босой, путаясь ногами в длинной ночной рубашке, бросаюсь вниз. Не успел даже сунуть ноги в ночные туфли. Пол холодит ступни. Ломлюсь в дверь столовой, но она заперта.

— Погоди, Жорж, сейчас отец отопрет.

Дезире встает, натягивает брюки; спущенные помочи бьют его по ляжкам.

Никогда еще мы не вставали так рано; поэтому еще острее чувствуем необыкновенность дня.

Кристиану никак не проснуться, он спит на ходу и при виде распахнутой двери раздражается слезами.

Все это для него чересчур! Столовую не узнать! С порога на нас обрушивается необычный запах — пахнет пряниками, шоколадом, апельсинами и чем-то еще.

На покрытом скатертью столе — блюда и тарелки, они полны марципаном, цукатами и прочими лакомствами.

Кристиан шмыгает носом. Избыток счастья его пугает. Барабан. Кепи. Хлыстик. Труба. Строительный материал!

Он не в силах смотреть на все подарки сразу и машинально сжимает в руке апельсин, с которым похож на младенца Христа, держащего увенчанный крестом шар, олицетворяющий весь мир.

— Ты доволен?

— Да.

Я лучше владею собой. Приступаю к разбору богатств, особенно любовно разглядываю коробку с красками в настоящих тюбиках.

— Жорж! Ты видел вот это?

Это конструктор. Я и не мечтал получить конструктор, но теперь даже не поднимаю головы, зачарованный

новыми красками. В сотнях и тысячах домов дети в ночных рубашках восхищаются так же, как мы.

Дезире подходит к Анриетте и неуклюже, как всегда в подобных случаях, преподносит ей крошечный футляр с брошью. Но Анриетта, даже получая подарок от мужа, смущается и бормочет:

— Боже мой, Дезире, я даже не ожидала... Ах, спасибо!

На глазах у нее слезы.

— Какая красота! Слишком роскошно для меня! А я тебе приготовила только вот это.

Трубка. Трубка с изящным тонким мундштуком, по маминому вкусу.

— Тебе нравится?

Отец тут же набивает ее и закуривает натошак — сегодня можно все что угодно. Жильцы еще спят. Мы в столовой, и ставни пока что закрыты, и газ горит, словно вечером. От нас еще пахнет постелью, мы не замечаем холода. Лакомимся шоколадом, инжиром, изюмом. Кусаем то от марципановой фигурки, то от сдобной булочки.

— Дезире, сходи принеси им туфли, а я пока зажгу огонь.

Дома всё сегодня еще необычайнее, чем на заснеженной площади Конгресса. Из кухни долетает запах керосина. Мама мелет кофе и кричит нам:

— Дети, не наедайтесь, сейчас сядем за стол.

По улице Иоанна Замасского идет первый трамвай с рабочими. Колокола на приходской церкви возвещают первую службу. Наверно, в церкви, освещенной только свечами, мальчик-служка звонит сейчас в колокольчик. Впрочем, нет! Сегодня утром служек не будет — их заменяет ризничий.

На завтрак все выбирают себе по сдобной булочке, один Кристиан не решается откусить: ему попалась булочка в форме барашка и мой брат жалеет его.

Вокруг сплошные сласти, весь дом пресно-сладкий. Отец оделся.

— Одевайтесь, дети, а то простудитесь.

Из соседнего дома слышится тонкий звук трубы. Рассвет как будто не решается наступить. Городские звуки никак не сольются в привычный оркестр. Даже боязно поднимать ставни.

Уже девять, а мы все еще в ночных рубашках;

животы переполнены, глаза щиплет от недосыпу. Отец уже ушел.

Пора тушить лампы, начинать день. Ставни поднимаются, и мы видим заколдованную улицу.

Весь мир куда-то исчез; монастырская школа, которая так близко от нас, виднеется или, скорее, угадывается где-то вдаль, за пеленой морозного тумана, липнувшего к окнам. Проходят люди, пряча руки в карманах, а головы втягивая в поднятые воротники; они выныривают на мгновение из тумана и снова тонут в тусклом небытии.

Трамвай звонит, звонит, тащится, как черепаха; тележка мусорщика похожа на волшебную колесницу.

Сегодня мы имеем право кататься по земле, валяться, пачкаться, есть что попало и не мыться с утра до вечера.

Мадемуазель Фрида окидывает наши игрушки равнодушным взглядом и уходит. Кажется, она будет резать трупы в анатомичке. Мадемуазель Полина зябнет и не выходит из комнаты. Вот и хорошо: мама вымоет нас в кухне, у плиты, горячей водой. Смоченной расческой она пытается причесать на пробор мои непослушные волосы.

— А теперь, дети, дайте мне ваши пряники и шоколад...

Потому что праздник не кончится до самого апреля. Апельсины кислые и холодные. Вжимаешь в кожуру кусок сахара и сосешь, сосешь, пока не выберешь сок и мякоть.

В узких улочках вокруг церкви святого Николая оборванные, замурзанные дети копошатся в сточной канаве, пахнущей бедностью. Все они в деревянных башмаках. Женщины стоят на порогах, выпятив животы, уперев руки в бока и визгливо перекрикиваясь через улицу.

— Самим есть нечего, а денег на праздники тратят побольше, чем богачи, — замечает Анриетта.

Их дети получают трехколесные велосипеды, заводные поезда с рельсами и вокзалами, духовые ружья, кукол в человеческий рост с настоящими волосами.

На то они и бедняки. У них нет сберегательных книжек. Они никогда не купят себе домов. Если заболеют — лягут в больницу. Если потеряют работу — обратятся в благотворительный комитет.

Они проедают все, что зарабатывают. Своих сорванцов они не посылают в коллеж святого Андрея: те ходят либо

в городскую школу, либо в бесплатную монастырскую школу.

Рядом с нашей школой имеется для них другая, бесплатная: классы там грязнее, двор немошен, вход отдельный. Братья, преподающие у них, не такие опрятные и вообще попроще, чем наши.

Все жалованье отцов пошло на игрушки и на лакомства.

И не все ли равно, что завтра им придется есть требуху и черный хлеб с колбасой из конины?

О святой Николай, покровитель детей...

Двор перед школой пуст. В коридорах, где пахнет немытой посудой, как в доме без хозяйки, бродят несколько черных сутан с белыми пятнами брыжей.

О святой Николай, мы тебя зовем!

О святой Николай, приходи в наш дом!

— Поешь хоть супу, Жорж.

Но я не могу. Я объелся, желудок набит до отказа, на языке вкус марципана, апельсинов, сдобы, шоколада. Моя тарелка почти опустела. Я откусил по куску от каждой пряничной фигурки. У Санта-Клауса не хватает головы, у ослика — ноги.

А Кристиан, запасливый, как щенок, все отложил на потом, припрятал; время от времени он осторожно извлекает из укромного местечка шоколадку, но не откусывает от нее, а только лижет.

Недели две, не меньше, его запасы будут храниться в неприкосновенности, а дай ему волю, так и дольше.

Сегодня мы толком не знаем, чем заняты взрослые. Отец вернулся и снова ушел. Жильцы выходят, приходят. Вот и лампы зажигаются, и запирают дом; наступил вечер, а скоро уже и ночь.

Завтра надо будет возвращаться к реальной жизни, вставать в семь утра, к восьми идти в школу. Брат Мансью снова будет ходить между рядами и раздавать направо и налево свои фиалковые стиральные резинки.

Холодный двор, мамы учеников, поджидающие в маленькой комнате со стеклянными стенами.

Палочки на классной доске...

Остается потерпеть не так уж много. До рождества всего две недели. Мы уже поем в классе:

Гряди, божественный Мессия,
Сердца заблудшие спасай,

Гряди, божественный Мессия,
Спасенье миру возвещай.

Пряничные санта-клаусы в витринах сменяются яслями. Все покупают гречневую муку и коринку для рождественских гречишных пирогов.

Этот месяц — самый необычный, самый таинственный в году. И каждый праздник приносит с собой особые кушанья, за рождественскими гречишными пирогами придет пора печь новогодние вафли.

В конторе на улице Гийомен 31 декабря, едва часы пробьют шесть, Дезире подает знак сослуживцам, и те, поправив галстуки, пойдут за ним в кабинет господина Майера. А господин Майер, как всегда в этот день, прикинется удивленным.

— Господин Майер! В этот последний день старого года мы почитаем своим приятным долгом принести вам наши сердечные пожелания здоровья и процветания в новом году.

Тощий унылый господин Майер встает и пожимает руки.

В кабинете пахнет старой бумагой, старой кожей. На камине рядом с бронзовой статуэткой приготовлена бутылка портвейна и нужное количество рюмок.

— Если не возражаете, выпьем за здоровье...

Тут же традиционная коробка сигар. Все берут по сигаре и закуривают. В воздухе плавают голубые струйки дыма. Портвейн цедят маленькими глотками. В оголенном зимнем саду блестят обледенелые дорожки.

— За ваше здоровье...

Все кончено. Господин Майер берет коробку с сигарами и протягивает ее Дезире.

— Не откажите в любезности разделить это между сослуживцами.

Дележ происходит в конторе. По четыре сигары на человека.

— С Новым годом, господин Сименон!

— С Новым годом, господин Лардан!

— С Новым годом, господин Лодеман!

Крыльцо по случаю гололеда посыпано золой. По тротуарам надо ходить осторожно. От портвейна во всем теле тепло. По дороге можно закурить сигару...

С Новым годом!

18 января 1945,
Сабль-д'Олонн

Ты видишь, мой мальчик, что между последними страницами 1941 года и этими строками оказался большой пропуск. Может быть, я и соберусь когда-нибудь его заполнить. А покамест пишу тебе нечто вроде письма, как написал бы тебе, двадцатилетнему, будь ты далеко.

Мы живем в гостинице в Сабль-д'Олонн. Ты играешь у себя в комнате с Буль и двумя друзьями — детьми официанта Жозефа из ресторана, а я сижу у себя в комнате один.

Только что мне захотелось написать сказку или рассказ, потому что я чувствую себя не в форме, да и голова не тем занята, чтобы углубиться в роман.

Днем, когда мы сидели за столом (я чуть было не написал — за табльдотом: хотя мы обедаем за отдельными столиками, но разговор быстро становится общим), — итак, днем произошел небольшой инцидент, точнее, вышел некий спор. И только сейчас, двумя часами позже, я понял, что у меня остался от этого спора неприятный осадок. Как живо мне это напомнило другой случай, недельной давности! И мне захотелось рассказать тебе оба эпизода.

Сначала о том из них, который касается тебя. Когда ты будешь читать эти строки, он уже, наверно, изгладится из твоей памяти.

Было очень холодно, градусов четырнадцать-пятнадцать ниже нуля, и под насыпью валялись птицы, мертвые или настолько замерзшие, особенно зяблики, что даже не в силах были взлететь при нашем появлении.

За тобой увязался пес, он прибежал издали, откуда, где виднеются сосны, — старый беспородный пес, лохматый, со свалывшейся шерстью, с большими слезящимися глазами. Ты его приласкал, растроганный его внезапной к тебе симпатией. В гостиницу вы вернулись вместе, и твой новый друг шел за тобой по пятам, а когда ты останавливался, он засматривал тебе в лицо глазами, в которых читалась решимость вручить тебе свою судьбу навсегда.

На пороге мы увидели матроса, одного из тех, что целыми днями простаивают, прислонясь к стене дома,

чтобы укрыться от ветра, и смотрят на море. Матрос сказал:

— Он глухой. Его хозяева живут на такой-то улице. Сейчас они в отъезде, а за псиной присматривает, видно, кто-нибудь из соседей.

Что мы только не придумывали, чтобы он тебе понравился!

— Он глухой. Он старый. Он безобразный.

— Ничего.

— Он грязный. От него воняет.

— Ничего.

— Хозяин гостиницы не позволит его держать.

Ты смирился с тем, что пес погостит у тебя только во время завтрака, а потом ты отведишь его домой.

Я ушел, а ты остался один в холле вместе со старым псом. Через несколько минут я услышал, что ты карабкаешься по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке; потом ты долго переминался с ноги на ногу перед дверью, прежде чем войти. Выражение лица у тебя было какое-то странное, недетское, я тебя никогда таким не видел.

— Папа! Скорее уведи собаку...

Я видел, что ты удерживаешься от слез ценой героических усилий. Что случилось?

— Позавтракаем и пойдем. Ты сам попросил, чтобы пес поел и обогрелся у нас, тебе разрешили.

— Надо его увести прямо сейчас.

На лице у тебя — настоящая, недетская тоска. Ты уцепился за меня, начал теревить за руку, пряча глаза.

— Пойдем! Ну пойдем скорее.

Зов о помощи.

— Ты же сам радовался, что тебе разрешили часок-другой с ним побыть!

— Пойдем скорее! Надо его увести.

Когда пришла Буль и хотела объяснить мне, что случилось, ты попытался ее удержать. Буль плакала, не скрывая слез: она слышала, как ты говорил сам с собой на каждой ступеньке. То, о чем ты не хотел мне рассказать, произошло у нее на глазах.

...Пес растянулся у камина, а тут пришел хозяин и пинком вышвырнул его за дверь.

А он не понимал, что случилось, и смотрел на тебя, а потом уселся ждать за порогом.

— Пойдем скорее, папа! Скорее!

Ты потащил меня за собой, и мы отвели пса. Дорогой ты старался на него не смотреть. Может быть, ты, сам того не понимая, испытывал перед ним стыд за всех людей.

Это, наверно, первое взрослое горе в твоей жизни.

Тебе скоро шесть, через четыре месяца, как сам ты любишь уточнять. А мне в будущем месяце стукнет срок два.

И вот сегодня на душе у меня кошки скребут, а все из-за того, что в пустяковом споре, в застольной болтовне я за словами как будто уловил враждебность, направленную именно на меня.

В моем возрасте пора бы уже усвоить, что по нынешним временам разница во мнениях вызывает ожесточение спорящих и, как правило, такие споры добром не кончаются.

Мы говорили о том, что будет завтра, послезавтра, и неизбежности нового, решительного перераспределения так называемых благ.

Я защищал в разговоре маленьких людей, рабочих, и напомнил, что им потребовалось чуть не столетие борьбы, чтобы на заводах был отменен труд детей, и то лишь до десяти лет, а рабочий день в шахтах был ограничен двенадцатью часами. Так неужели эти люди будут довольствоваться в наши дни теми уступками, на которые идут хозяева из страха перед ними?

На трудовой люд ополчилась одна женщина, учительница, сама вышедшая из народа. Она живет у нас в гостинице уже несколько недель и до вчерашнего дня расточала нам сплошные любезности.

И вдруг ее ненависть — иного слова не подберешь! — прорвалась наружу, видимо, против ее воли. За что? Понятия не имею. Ненависть к женам рабочих — они, мол, бьют баклуши целыми днями, пока она в школе мучится с их детьми; ненависть к рабочим, напивающимся после шахты или цинкоплавильной печи; ненависть к их немывтым, а подчас и распущенным детям, которых ей довели; и, конечно, ненависть ко мне.

Надеюсь, тебе понятно? Она ненавидит как тех, кто ниже ее, так и тех, кто выше. Первых она презирает, вторым завидует.

Я, с ее точки зрения, принадлежу ко второй категории. Она считает, что я много зарабатываю, поскольку не трясусь над каждым грошом.

Поначалу она прониклась ко мне почтением, потому что писатель с ее точки зрения — это что-то вроде крупного промышленника или политического деятеля. Вздумаю я проповедовать самые разрушительные бредни, она бы сочла, что я в своем праве.

Но пожив с нами бок о бок, она разглядела, что я самый что ни на есть обыкновенный человек, такой же, как другие. Очевидно, я показался ей вполне бесцветной личностью

А чем она хуже?

И вот вдобавок этот заурядный тип осмеливается защищать рабочих! И признается, не краснея, что вышел из народа, из самой простой семьи, в которой знали, что такое голод.

— Ну что ж! Надеюсь, этот ваш коммунизм позволит вам вернуться в лоно народа и вы от этого только выиграете, потому что окажетесь наконец-то на своем месте.

Вот и все, сынок. В общем-то и говорить не о чем — о такой ерунде даже не расскажешь друзьям. А мне от этого было почти так же больно, как тебе, когда хозяин захолустной гостиницы выгнал пинком на улицу старого пса.

Тебе пять с половиной, а мне сорок два. Ничего, привыкнешь со временем ко всему. Хотя должен тебе сегодня сознаться, что я до сих пор так и не привык...

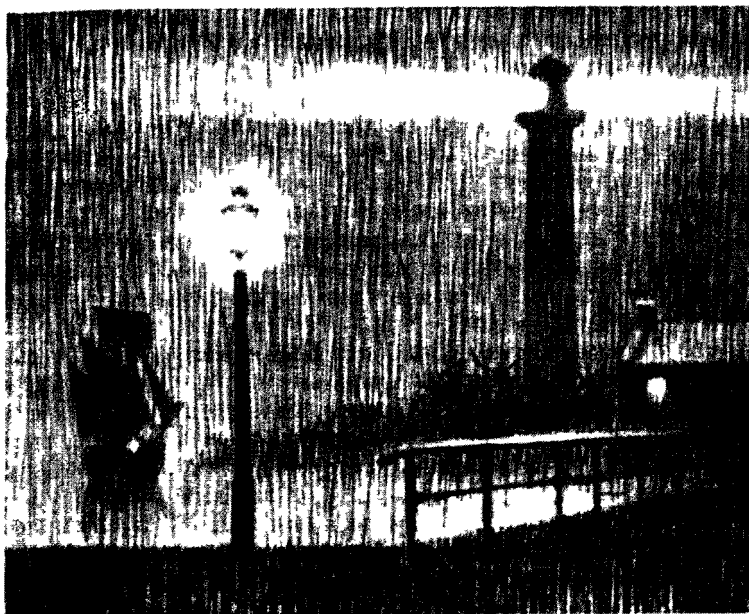
Спокойной ночи, сын!



ПОРТ ТУМАНОВ







I. КОШКА В ДОМЕ

Когда около трех часов дня они уезжали из Парижа, скупое осеннее солнце освещало толпы прохожих на улицах. Потом, ближе к Манту, в купе зажгли свет. После Эврё за окном совсем стемнело. Теперь сквозь запотевшие стекла виден только густой туман, окружающий железнодорожные огни с их размытым ореолом.

Мегрэ устроился поудобней в углу купе, откинулся на спинку сиденья. Сквозь полузакрытые веки он машинально наблюдает за двумя сидящими напротив пассажирами, так непохожими друг на друга. Капитан Жорис спит. Парик съехал набок, обнажив изумительно голый череп, костюм измялся. А Жюли, сложив руки на сумочке из искусственной кожи, под крокодила, неподвижно глядит в одну точку, стараясь, несмотря на усталость, делать вид, будто думает.

Жорис! Жюли!

Комиссар уголовной полиции Мегрэ привык к тому, что в жизнь его вихрем врываются незнакомые люди, целыми днями, неделями, а то и месяцами требуют, чтобы ими занимались, а потом снова исчезают в безликой толпе. Размеренный стук колес сопровождает его мысли, всегда одинаковые в начале каждого нового дела. Каким-то оно окажется на этот раз: увлекательным или не слишком, трагическим или попросту мерзким?

Мегрэ поглядывает на Жориса, чуть заметно улыбаясь. Занятный человек! На набережной Орфевр его целых пять дней так и называли «этот человек» — выяснить имя не удавалось.

Его подобрали на Больших бульварах — он метался взад и вперед среди автобусов и машин. Обратились к нему по-французски — не понимает. Пытались говорить с ним на семи или восьми языках — тщетно. Знакомства с языком глухонемых тоже не обнаружил. Может быть, сумасшедший?

В кабинете Мегрэ его обыскали. Костюм на нем новый, белье и ботинки тоже. Все метки с одежды срезаны. Ни документов, ни бумажника. В один из карманов засунуты пять тысячефранковых новеньких купюр. Такое начало расследования хоть кого выведет из себя! Поиски в регистрационных журналах, в антропометрической картотеке. Телеграммы во все концы Франции и за границу. А «этот человек», как ни мучают его утомительными допросами, все улыбается неизменной ласковой улыбкой!

На вид ему лет пятьдесят. Коренастый, коротконогий. Не выказывает никаких признаков беспокойства или недовольства — только улыбается, да иногда, вроде бы, пытается что-то вспомнить, но тут же оставляет эти попытки. Потеря памяти? На голове у человека парик, сняв который обнаруживают, что не далее как два месяца назад череп незнакомцу раскроила пуля. Врачи в восторге от работы хирурга: операция проведена с редким мастерством! И снова телеграфные запросы — на сей раз в больницы и клиники Франции, Бельгии, Германии, Голландии... Проходит пять дней кропотливого розыска. Анализ пятен на одежде и крошек в карманах дает более чем неожиданные результаты. Обнаружили остатки высушенной и измельченной тресковой икры, которую изготавливают на севере Норвегии и используют как приманку при ловле сардин.

Выходит, «этот человек» — оттуда? Может, скандинав? Некоторые признаки указывают на то, что он совершил долгую поездку по железной дороге. Но как же он ехал один, безъязыкий, с этим ошеломленным видом, сразу же привлекающим к нему внимание?

Его фотография появилась в газетах. Получили телеграмму из Вистреама: «Незнакомец опознан».

Вслед за телеграммой приехала женщина, вернее девушка. И вот она в кабинете Мегрэ. Лицо усталое, со следами губной помады и пудры. Зовут ее Жюли Легран, она служанка «этого человека».

Впрочем, его уже больше так не называют: известно его имя и кто он такой. Это Ив Жорис, бывший капитан торгового флота, ныне начальник вистреамского порта.

Жюли плачет. Жюли не может взять в толк, что случилось. Она умоляет хозяина сказать хоть слово. А он только смотрит на нее мягким, благожелательным взглядом — точно так же, как на всех.

16 сентября капитан Жорис исчез из Вистреама, маленького портового городка между Трувилем и Шербуром. Сейчас конец октября. Что произошло с ним за эти полтора месяца?

— Он ушел в порт, как обычно, на вечернее дежурство. На следующий день его в доме не было...

Сначала подумали, что из-за густого тумана Жорис оступился и упал в воду. Его искали баграми. Потом решили, что он сбежал.

— Лизьё. Стоянка три минуты!

Чтобы размяться, Мегрэ выходит на платформу, снова набивает трубку. Он столько курил, что воздух в купе стал сизым.

— Поезд отправляется!

Жюли воспользовалась отсутствием Мегрэ, чтобы припудрить кончик носа. Глаза у нее еще красны от слез. Странно! Иногда она кажется красивой, утонченной; иногда, непонятно почему, в ней чувствуется грубоватая крестьянка.

Она поправляет парик на голове капитана, своего «хозяина», как она его называет, и при этом смотрит на Мегрэ, всем своим видом говоря: «Это мое дело — ухаживать за ним!»

У Жориса нет семьи. Он живет один уже много лет, с Жюли, которую называет своей экономкой.

— Он относился ко мне, как к дочери.

Врагов у него не было. Никаких сомнительных походов, никаких пристрастий. После тридцатилетней службы на море он не смог привыкнуть к бездействию и, несмотря на пенсионный возраст, попросил назначить его начальником вистреамского порта. Там он построил маленький домик. И вот вечером 16 сентября он исчезает, а через полтора месяца появляется в Париже в этом плачевном виде. Жюли была неприятно поражена, увидев на нем купленный в магазине серый костюм. Раньше он ходил только в форме офицера торгового флота.

Жюли нервничает, ей не по себе. Когда она смотрит на капитана, лицо ее выражает одновременно умиление и неясный страх, неодолимую тревогу. Это, конечно, он, ее «хозяин», но в то же время и не совсем он.

— Он поправится, правда? Я буду за ним ухаживать.

Водяные пары на стекле превращаются в крупные капли. Вагон подрагивает, и массивная голова Мегрэ качается из стороны в сторону. Он продолжает спокойно наблюдать за обоими — за Жюли, заявившей, что можно было бы прекрасно обойтись и третьим классом, как она привыкла, и за Жорисом, который, просыпаясь время от времени, бессмысленно смотрит вокруг.

Еще одна остановка в Кане, потом — Вистреам.

— В этом городке около тысячи жителей, — сказал комиссару один из сослуживцев, родом из тех мест. — Порт небольшой, но важный, так как соединен каналом с Каном. По каналу могут проходить суда водоизмещением в пять тысяч тонн и более.

Мегрэ не пытается представить себе место действия. Он знает по опыту, что в таких случаях всегда ошибешься. Он ждет, и взгляд его то и дело падает на парик, прикрывающий розовый шрам.

Когда капитан Жорис исчез, у него были густые, очень темные волосы с едва проступавшей на висках сединой. Еще одна причина для отчаяния Жюли: она не может видеть этот голый череп! И всякий раз когда парик сползает, спешит поправить его.

— Короче говоря, его пытались убить...

В него стреляли, это факт. Но потом он побывал в руках отличных врачей. Когда он исчез, денег при нем не было, а нашли его с пятью тысячами франков в кармане. Но это еще не все! Жюли вдруг открывает сумочку.



— Совсем забыла! Я привезла корреспонденцию хозяина.

Почта невелика: проспекты фирм, торгующих товарами для моряков, квитанция об уплате членских взносов в профсоюз капитанов торгового флота. Открытки от его плавающих друзей, одна из которых — из Пунта-Аренас.

Письмо из Нормандского банка в Кане. Бланк, напечатанный на машинке:

«...имеем честь сообщить, что через посредство Нидерландского банка в Гамбурге на Ваш счет 14 173 переведена сумма в 300 000 франков».

А Жюли уже несколько раз говорила, что капитан не богат! Мегрэ смотрит по очереди на этих двух людей, сидящих напротив него.

Тресковая икра... Гамбург... Ботинки немецкого производства... Один Жорис мог бы все разъяснить! Жорис, который широко и приветливо улыбается, заметив, что Мегрэ смотрит на него.

— Кан. Поезд следует до Шербурра. Пассажиры на Вистреам, Лион-сюр-Мэр, Люк...

Семь вечера. Туман такой густой, что свет фонарей на платформе едва пробивается сквозь молочную пелену.

— На чем теперь поедет? — спрашивает Мегрэ у Жюли, пробираясь сквозь толпу пассажиров.

— Больше не на чем. Зимой пригородный поезд ходит только два раза в день.

У вокзала стоит несколько такси. Мегрэ голоден. Он не знает, что ждет его в Вистреаме, и решает поужинать в буфете.

Капитан Жорис все так же покладист. Как послушный ребенок, ест все, что дают. Какой-то железнодорожник крутится около стола, разглядывает его, потом подходит к Мегрэ.

— Это не начальник вистреамского порта?

И он вертит пальцем у виска. Получив утвердительный ответ, отходит, притихший. А Жюли продолжает цепляться ко всяким пустякам:

— Двенадцать франков за такой ужин! Да и приготовлено не на масле. Как будто нельзя было поужинать дома!

А Мегрэ думает: «Выстрел в голову... Триста тысяч франков...» Он пристально смотрит в невинные глаза Жориса, и губы его угрожающе сжимаются.

Такси — потрепанная частная машина, с продавленными сиденьями и скрипящими рессорами. Трое пассажиров теснятся сзади, так как откидные сиденья сломаны. Жюли зажата между двумя мужчинами, которые то и дело наваливаются на нее.

— Не помню, закрыла ли я на ключ садовую калитку, — бормочет она, мысленно возвращаясь к хозяйственным заботам по мере приближения к дому.

Выехав из Кана, машина буквально врывается в стену тумана. Не далее чем в двух метрах впереди, как призрак, возникает лошадь и повозка. По обеим сторонам дороги убегают назад призрачные деревья, призрачные дома. Шофер сбрасывает газ. Скорость — десять километров в час, не более, и все-таки из тумана внезапно выскакивает велосипедист, которого задевают крылом. Остановка. Велосипедист не пострадал.

Машина въезжает в Вистреам. Жюли опускает стекло:

— Поезжайте к порту, потом через разводной мост. Остановитесь у дома рядом с маяком.

От городка к порту на протяжении километра — лента шоссе, обозначенного бледными светлячками газовых фонарей. У моста — светящиеся окна, шум.

— Бистро «Приют моряка», — говорит Жюли. — Тут обычно собираются портовики.

За мостом шоссе кончается. Грунтовая дорога уходит куда-то в болота, подступающие к самому берегу Орны. Тут ничего нет, кроме маяка и двухэтажного домика с небольшим садом.

Такси останавливается. Мегрэ наблюдает за Жорисом, который как ни в чем не бывало вылезает из машины и направляется к калитке.

— Видите, господин комиссар! — восклицает Жюли, дрожа от радости. — Он узнал дом! Уверена, что в конце концов он совершенно придет в себя.

Она вставляет ключ в замок, открывает скрипнувшую калитку, идет по посыпанной гравием дорожке. Мегрэ расплачивается с шофером и быстро догоняет ее. Такси отъезжает, и все вокруг погружается во тьму.

— Зажгите, пожалуйста, спичку: не могу попасть в замочную скважину.

Вспыхивает огонек. Жюли открывает дверь. Под ногами у Мегрэ, задев его, проскальзывает что-то темное.

Жюли, уже вошедшая в коридор, включает свет, удивленно смотрит на пол, шепчет:

— Это ведь кошка выскочила, правда?

Одновременно привычным жестом снимает шляпу и пальто, вешает их в прихожей, открывает дверь на кухню, зажигает там свет, невольно показывая этим, что именно здесь обитатели дома проводят большую часть времени.

Кухня — просторная комната с облицованными керамической плиткой стенами, большим деревянным столом, который драили песком, сверкающими медными кастрюлями. Капитан привычно идет прямо к своему плетеному креслу у печки и садится.

— Наверняка, уходя, я, как обычно, выпустила кошку на улицу.

Жюли разговаривает сама с собой. Она обеспокоена.

— Ну да, конечно. Все двери закрыты. Господин комиссар, пройдемте со мной по комнатам — мне страшно.

Жюли так испугана, что едва осмеливается идти первой. Она открывает дверь в столовую. Безупречный порядок, натертые до блеска пол и мебель говорят о том, что комнатой этой никогда не пользуются.

— Загляните за шторы, пожалуйста.

В столовой стоит пианино, красуются китайские лаковые безделушки и фарфор, который капитан привез, должно быть, с Дальнего Востока.

Потом — гостиная с мебелью, расставленной в таком же идеальном порядке, как в витрине магазина, где она была куплена. Капитан идет сзади с довольным видом. Они поднимаются по лестнице, покрытой красным ковром. Наверху три комнаты, одной из которых не пользуются. Повсюду чистота, безукоризненный порядок. Приятно пахнет деревней и кухней.

Нигде никто не прячется. Окна плотно закрыты. Дверь, выходящая в сад, заперта, но ключ торчит снаружи.

— Кошка пробралась в дом через какую-нибудь отдушину, — говорит Мегрэ.

— Их у нас нет.

Все возвращаются в кухню. Жюли открывает шкаф.

— Могу я предложить вам чего-нибудь выпить?

Именно теперь, занимаясь обычными хозяйственными хлопотами, наливая ликер в крохотные рюмки с цветоч-

ками, Жюли вдруг особенно остро чувствует отчаяние и раздражается слезами. Она украдкой смотрит на капитана, сидящего в своем кресле. Ей так тяжело на него смотреть, что она отворачивается и лепечет, чтобы отвлечься:

— Я приготовлю вам комнату для гостей.

Ее слова прерываются рыданиями. Она снимает со стены белый передник и утирает слезы.

— Предпочитаю остановиться в гостинице. Тут есть же какая-нибудь гостиница?

Жюли смотрит на маленькие настенные часы; такие обыкновенно выигрывают на ярмарках, и тиканье их естественно вписывается в патриархальную обстановку комнаты.

— Да, есть. Сейчас там еще не спят. Это по другую сторону шлюза, как раз напротив быстро, которое вы видели.

Однако ей не хочется отпускать его. Вероятно, она боится остаться одна с капитаном, на которого теперь не смеет и взглянуть.

— Вы думаете, в доме никто не прячется?

— Вы в этом убедились собственными глазами.

— Вы придете завтра утром?

Жюли провожает его до двери, которую тут же закрывает. Мегрэ погружается в такой плотный туман, что не видит, куда ступает. Он все-таки находит садовую калитку и шагает сначала по траве, потом по каменной дороге. Слышит вдали какой-то звук и долго не может понять, что это такое. Звук похож на мычание коровы, но какое-то безысходное, трагичное.

— Вот дурак! — ворчит он сквозь зубы. — Да ведь это гудок, предупреждающий о тумане.

Мегрэ плохо ориентируется. Далеко внизу, под ногами, он видит воду, которая словно дымит. Он на стенке шлюза. Где-то скрипят рукоятки. Мегрэ не помнит, в каком месте они переехали канал на машине. Обнаружив узкий мостик, он собирается ступить на него.

— Берегись!

Поразительно! Голос раздается совсем рядом. Мегрэ кажется, что он совершенно один, а в трех метрах от него — человек. Пристально вглядываясь, комиссар с трудом различает его силуэт. Мегрэ разом понимает смысл предостережения: мостик, на который он собирался

ступить, движется. Это ворота шлюза, которые как раз открывают. Зрелище становится еще более фантастическим: рядом, в нескольких метрах, возникает уже не фигура человека, а настоящая стена высотой с дом. Вверху, над стеной, смутно виднеются огни: на расстоянии вытянутой руки проходит судно. Рядом с Мегрэ падает швартов. Кто-то подбирает его, тащит к кнехту.

— Назад! Берегись! — кричит чей-то голос наверху, на капитанском мостике парохода.

Еще несколько мгновений тому назад все вокруг казалось мертвым, пустынным, но теперь, продвигаясь вдоль шлюза, Мегрэ замечает, что в тумане движутся человеческие фигуры. Кто-то вращает рукоять, кто-то тащит второй швартов. Таможенники ждут, пока с борта опустят трап. Все это — вслепую, во влажном тумане, оседающем на усах перламутровыми каплями.

— Хотите перейти?

Голос раздается совсем рядом с Мегрэ, который стоит теперь у противоположных ворот шлюза.

— Давайте быстрее, а то придется ждать минут пятнадцать.

Мегрэ переходит, держась за поручни. Под ногами бурлит вода, а вдали все так же воеет гудок. Чем дальше идет комиссар, тем больше в тумане возникает силуэтов, тем оживленнее становится загадочная жизнь, которой живет порт. Внимание Мегрэ привлекает какая-то светящаяся точка. Он подходит ближе и в привязанной к пирсу лодке видит рыбака, который опускает и поднимает прикрепленную к шестам большую сеть. Рыбак глядит на него без малейшего любопытства и принимается сортировать в корзине мелкую рыбу.

Рядом с судном светлее. Видно, как на палубе расхаживают люди. На мостике слышна английская речь. У края пирса мужчина в форменной фуражке визирует документы.

Начальник порта. Он заменяет теперь капитана Жориса. Как и Жорис, это мужчина небольшого роста, но более худой, подвижный. Он перебрасывается шутками с судовыми офицерами.

В общем, мир разделен на две части — несколько относительно светлых квадратных метров порта и огромная черная дыра, где угадываются суша и вода. Там, слева, чуть слышно шумит море.

Не в такой ли вот вечер Жорис внезапно исчез из Вистреама? Должно быть, он визировал документы, как сейчас его коллега. Наверное, тоже шутил, следил за шлюзом, за маневром судна. Ему незачем было видеть: он ориентировался по привычным шумам. Тут, в порту, никто не смотрит под ноги при ходьбе.

Мегрэ раскуривает трубку и хмурится: ему неприятно чувствовать себя неловким, неповоротливым сухопутным жителем, которого страшит и восхищает все, что имеет отношение к морю.

Ворота шлюза открываются. Судно выходит в канал, который немного уже, чем Сена в Париже.

— Извините, вы — начальник порта? Комиссар Мегрэ из уголовной полиции. Я только что привез домой вашего коллегу.

— Жориса? Значит, это действительно он? Сегодня утром мне об этом рассказывали. Это правда, что он... — и капитан касается пальцем виска.

— В данный момент, да. Обычно вы проводите в порту всю ночь?

— Нет, не больше пяти часов подряд: только время прилива. В течение пяти часов уровень воды достаточно высок, чтобы суда могли войти в канал или выйти в море. Время прилива непостоянно. Сегодня, например, он только что начался и продлится до трех ночи.

Капитан держится просто, разговаривает с Мегрэ как с равным: в конце концов, он — такой же чиновник на службе у государства.

— Извините...

Капитан смотрит в сторону моря, где ничего не видно. Тем не менее он объявляет:

— Парусник из Булони. Ошвартовался у пирса, ждал открытия шлюза.

— Вам сообщают о прибывающих судах?

— Чаще всего — да. Особенно о пароходах. Почти все они ходят по расписанию: из Англии везут уголь, из Кана — руду.

— Пойдемте выпьем чего-нибудь, — предлагает Мегрэ.

— Сейчас не могу: должен быть здесь до конца прилива.

И капитан отдает распоряжения невидимым подчиненным, местонахождение которых ему отлично известно.

— Вы ведете следствие по этому делу?

Со стороны городка приближаются шаги. По воротам шлюза проходит мужчина. Оказывается под одним из фонарей, и тут за спиной его поблескивает дуло ружья.

— Кто это?

— Мэр. Идет охотиться на уток. У него есть шалаш на берегу Орны. Его помощник, должно быть, уже там: готовится к ночлегу.

— Как вы думаете, гостиница еще открыта?

— «Универсаль»? Конечно. Но поторопитесь: хозяин скоро закончит играть в карты и уйдет спать. Тогда уж он не поднимется ни за что на свете.

— До завтра, — говорит Мегрэ.

— До завтра. Буду в порту с десяти утра, с началом прилива.

Они обмениваются рукопожатием, хотя еще так мало знают друг друга. А в тумане, где то и дело наталкиваешься на кого-нибудь, продолжается жизнь. Нет, впечатление это производит не слишком зловещее. Скорее, другое: вас вдруг охватывает неясное беспокойство, тревога, подавленность. Вам кажется, что рядом неведомый мир, в котором вы — чужой и который живет вокруг вас своей особенной жизнью. Люди, невидимые в темноте, или, например, парусник, ожидающий очереди в двух шагах от вас, хотя вы даже не догадываетесь об этом.

Мегрэ снова проходит мимо рыбака, застывшего под фонарем. Ему хочется сказать что-нибудь:

— Ключет?

Вместо ответа рыбак сплевывает в воду, а Мегрэ идет дальше, злясь на себя: ну зачем он ляпнул глупость.

Шум закрываемых ставен в доме Жориса — вот последнее, что он слышит, входя в гостиницу. Жюли страшно: недаром же кошка выскочила из двери, когда она ее открыла!

— Этот гудок провояет всю ночь? — недовольно ворчит Мегрэ при виде хозяина гостиницы.

— Пока не кончится туман. К этому привыкаешь...

Спал он беспокойно. Так спят при несварении желудка или в детстве, когда ждут какого-нибудь важного события. Дважды вставал, подходил к окну, прикинул лицом к холодным стеклам, но не заметил ничего, кроме пустынной дороги и луча маяка, который, казалось, пытал-

ся проткнуть завесу тумана. И все время выл гудок, еще громче, еще резче.

Проснувшись во второй раз, Мегрэ посмотрел на часы. Было четыре утра. Рыбаки, стуча сабо, с корзинками за плечами, уже направлялись к порту.

Сразу же после этого кто-то громко забарабанил в дверь и распахнул ее, не дожидаясь разрешения. Появился потрясенный хозяин гостиницы.

А между тем прошло уже много времени: в окно било солнце. Несмотря на это, гудок все еще неистовствовал.

— Скорей! Капитан умирает!

— Какой капитан?

— Капитан Жорис. Жюли прибежала в порт, чтобы срочно вызвали вас и врача.

Мегрэ, даже не успев причесаться, натянул брюки, надел незашнурованные ботинки, схватил пиджак, а о пристежном воротничке просто забыл.

— Что-нибудь проглотите? Чашку кофе? Стаканчик рому?

Какое там! Мегрэ торопился. На улице, несмотря на солнце, было очень свежо. Дорога была влажная от росы. Проходя через шлюз, комиссар увидел море, совершенно спокойное, бледно-голубого цвета. Виднелась, правда, лишь узкая полоска его: у берега длинный шлейф тумана скрывал горизонт. На мосту к Мегрэ подошел какой-то человек:

— Вы — комиссар из Парижа? А я — полевой сторож. Рад познакомиться. Вам уже рассказали?

— О чем?

— Говорят, это ужасно... А вот и машина врача.

Рыбачьи лодки в порту лениво покачивались на воде, по которой пробегали разноцветные блики. Паруса были подняты, вероятно, для просушки. На каждом виднелся написанный черной краской номер. Перед домиком капитана, рядом с маяком стояло несколько женщин. Дверь была открыта. Мегрэ обогнала машина врача. А полевой сторож все не отставал от него:

— Говорят, его отравили. Кажется, он весь позеленел.

Мегрэ вошел как раз в тот момент, когда заплаканная Жюли, с припухшими веками и пылающим лицом, медленно спускалась со второго этажа. Ее только что выставили из комнаты, где врач осматривал умирающего. Под

наспех накинутым пальто виднелась длинная белая ночная сорочка. На ногах — домашние туфли.

— Это ужасно, господин комиссар! Вы не можете себе представить... Идите скорее наверх! Может быть...

Когда Мегрэ вошел в спальню, склонившийся над постелью врач выпрямился. По выражению его лица нетрудно было понять, что больному ничем уже не поможет.

— Я из полиции.

— А, хорошо... Все кончено. Еще две-три минуты... Это, должно быть, стрихнин...

Он подошел к окну и распахнул его: умирающему, казалось, не хватает воздуха. А за окном — все та же кажущаяся нереальной картина: солнце, порт, лодки с поднятыми парусами, рыбаки, перекладывающие из переполненных корзин в ящики сверкающую чешуей рыбу. На этом фоне лицо Жориса казалось еще желтее, или зеленее — не разберешь. Какой-то странный цвет, несовместимый с представлением о человеческой плоти. Руки и ноги умирающего извивались и дергались, в то время как лицо оставалось спокойным, неподвижным, а глаза прикованными к стене. Врач держал руку на запястье Жориса, следя за слабым пульсом. Наконец выражением лица он дал знать Мегрэ: «Внимание! Конец близок».

В этот момент произошло нечто неожиданное, потрясшее их. Вероятно, к несчастному на миг вернулось сознание. Лицо его осталось неподвижным, но в нем проявились признаки жизни: оно сморщилось, как у готового расплакаться ребенка, сложилось в жалобную гримасу мученика, который не в силах больше терпеть. По щекам прокатились две крупные слезы. Почти одновременно раздался приглушенный голос врача:

— Кончено.

Невероятно! Слезы на лице буквально в момент смерти! Они еще жили, стекали на подушку, а капитан был уже мертв.

На лестнице слышались шаги. Внизу окруженная женщинами громко всхлипывала Жюли. Мегрэ вышел на площадку и медленно произнес:

— В спальню не входить.

— Он?..

— Да! — отрывисто подтвердил комиссар.

II. НАСЛЕДСТВО

Где-то внизу, вероятно в кухне, слышались громкие рыдания Жюли, бившейся в окружении соседок.

Через открытое окно Мегрэ увидел, что из городка шли и бежали люди: женщины с детьми на руках, мужчины в сабо. Мальчишки ехали на велосипедах. Эта беспорядочная, жестикулирующая толпа достигла моста, перевалила через него и двинулась к дому капитана, как будто привлеченная представлением бродячего цирка или автомобильной катастрофой.

Вскоре разговоры за окном стали такими громкими, что Мегрэ закрыл его. Муслиновые шторы смягчали солнечный свет. Обстановка в комнате стала мягкой, ненавязчивой. Розовые обои, светлая, тщательно начищенная мебель. На камине — ваза с цветами.

Комиссар посмотрел на врача, который разглядывал на свет стакан и графин, стоявшие на ночном столике. Врач обмакнул палец в остаток воды в стакане и попробовал его на язык.

— Яд?

— Да. Должно быть, капитан имел обыкновение пить воду ночью. Если не ошибаюсь, на этот раз это было около трех. Но почему он не позвал на помощь?

— Да потому, что он не мог говорить, даже звука издать не мог, — проворчал Мегрэ.

Он позвал полевого сторожа и отправил его предупредить мэра и прокурора в Кане. Слышно было, как внизу по-прежнему входили и выходили люди. Снаружи, на дороге, стояли отдельными группами местные жители. Некоторые, чтобы было удобнее ждать, сидели на траве.

Начинался прилив, море затопляло песчаные отмели у входа в порт. На горизонте виднелся дым парохода, который ждал момента, чтобы подойти к шлюзу.

— У вас уже есть какие-нибудь соображения... — начал было врач, но замолчал, видя, что Мегрэ занят. Комиссар открыл секретер красного дерева, стоявший между окнами, и с привычным для него в такие моменты упрямым видом рассматривал содержимое ящиков. Да, сейчас Мегрэ казался грубым. Он медленными затяжками курил свою огромную трубку, а его толстые пальцы бесцеремонно перебирали попадающиеся ему под руку предметы.

Тут была куча фотографий. Большинство из них — фотографии друзей, снятых в морской форме. Почти все они были одного возраста с Жорисом. Понятно, что капитан сохранил связи с товарищами по мореходной школе в Бресте. Они писали ему из разных уголков света, присылали фотографии размером с почтовую открытку, наивные, одинаково банальные, будь то из Сайгона или Сантьяго: «Привет от Анри!» Или же: «Наконец-то третья лычка! Салют! Эжен».

На большинстве из них был адрес: Капитану Жорису, судно «Диана», Англо-Нормандская компания, Кан.

— Вы давно знали капитана? — спросил Мегрэ у врача.

— Несколько месяцев, с тех пор, как он работал в порту. До этого он двадцать восемь лет проплавал капитаном на одном из судов мэра.

— Мэра?

— Да, господина Эрнеста Гранмэзона, директора Англо-Нормандской компании. Собственно говоря, он является единственным владельцем одиннадцати судов этой компании...

Еще фотографии: Жорис в возрасте двадцати пяти лет. Уже тогда — коренастый, широколицый, улыбающийся, немного упрямый. Настоящий бретонец!

И наконец, в холщовой папке — документы, начиная со школьного аттестата до диплома капитана торгового флота, свидетельство о рождении, военный билет, паспорт.

Мегрэ подобрал упавший на пол небольшой конверт, пожелтевший от времени.

— Завещание? — спросил врач, который, закончив свои дела, ждал представителей прокуратуры.

Должно быть, капитан полностью доверял Жюли, так как конверт не был даже запечатан. Мегрэ достал лист бумаги, написанный красивым аккуратным почерком:

«Я, нижеподписавшийся Ив-Антуан Жорис, родившийся в Пенполе, моряк по профессии, завещаю все движимое и недвижимое имущество моей экономке Жюли Легран, в благодарность за многолетнюю преданную службу.

Обязую ее передать:

мой катер — капитану Делькуру;

китайский фарфоровый сервиз — его жене;
трость из резной слоновой кости — ...»

Почти никто из портовых служащих, которых Мегрэ повстречал там в туманную ночь, не был забыт, вплоть до шлюзовщика, получавшего «тройную рыболовную сеть, что под навесом», — говорилось в завещании.

В этот момент послышался громкий шум: Жюли, воспользовавшись тем, что женщины оставили ее одну, чтобы приготовить ей грог «для поддержания сил», бросилась вверх по лестнице, открыла дверь спальни капитана, озираясь с безумным видом. Она подбежала к кровати, но тут же попятилась, испугавшись вида мертвеца, рухнула на коврик, выкрикивая что-то неразборчивое.

Мегрэ медленно подошел, помог ей встать и отвел девушку, несмотря на сопротивление, в ее комнату. Там было не прибрано, на кровати валялась одежда, в тазике оставалась мыльная вода.

— Кто наливал воду в графин на ночном столике капитана?

— Я... Вчера утром, когда ставила цветы в вазу.

— Вы были одна дома?

Жюли еще тяжело дышала, но понемногу приходила в себя. Ее удивили вопросы комиссара.

— Что вы такое придумали? — воскликнула она вдруг.

— Ничего. Успокойтесь. Я только что прочел завещание Жориса.

— Ну и что?

— Вы наследуете все его имущество. Вы теперь богаты.

В ответ она только сильнее разрыдалась.

— Капитана отравили водой из графина.

Жюли посмотрела на комиссара сверкавшими от ненависти глазами, крикнула:

— Что вы хотите этим сказать, а? Что вы хотите сказать?

Она была в таком состоянии, что схватила Мегрэ за рукав и стала лихорадочно трясти его. Еще немного — и она вцепилась бы в него ногтями.

— Потихе. Успокойтесь. Расследование только начинается. Я ни на что не намекаю. Я собираю сведения.

В дверь постучали. Это был полевой сторож:

— Прокурор сможет прийти только после обеда.

Господин мэр вернулся утром с охоты и еще не встал. Он придет, как только будет готов.

В доме царило лихорадочное возбуждение. Все были взволнованы. Люди на улице, ждущие сами не зная чего, еще усиливали чувство нервозности, беспорядка.

— Вы намереваетесь остаться здесь? — спросил Мегрэ у девушки.

— Конечно. Куда же мне деться?

Мегрэ попросил врача выйти из комнаты умершего и закрыл ее на ключ. Он оставил с Жюли только двух женщин: жену смотрителя маяка и жену одного из шлюзовщиков.

— Не впускайте никого, — сказал он полевому сторожу. — Если понадобится, попытайтесь как-нибудь заставить разойтись любопытных.

Мегрэ вышел из дома, прошел между группами зевак и направился к мосту. Сирена по-прежнему выла вдали, но ее было едва слышно, так как ветер дул в сторону моря. Было довольно тепло. Солнце светило все ярче. Начинался прилив.

Два шлюзовщика были уже на своих рабочих местах. На мосту Мегрэ встретил капитала Делькура, с которым он разговаривал накануне вечером. Тот подошел к нему:

— Так это правда?

— Да. Жориса отравили.

— Кто?

Толпа у дома капитана Жориса начала расходиться. Было видно, как полевой сторож, жестикулируя, ходит от группы к группе и что-то говорит. Люди стали смотреть на комиссара. Их интерес сосредоточился теперь на нем одном.

— Ну что, начинаете шлюзование?

— Пока нет. Нужно, чтобы вода поднялась на три фута. Вон то судно на рейде ждет с шести часов утра.

Другие служащие: таможенники, механик, хозяин сторожевого катера, инспектор рыбоохраны — не решались подойти к комиссару и капитану. Они готовились к очередному рабочему дню. Это были те самые люди, которых Мегрэ едва различал в ночном тумане и которых он видел теперь наяву, при свете дня.

«Приют моряка» находился в двух шагах. Из его окон и застекленной двери был виден шлюз, мост, пирс, маяк и домик Жориса.

— Зайдем выпьем по стаканчику? — предложил комиссар. Он догадывался, что при каждом дежурстве, по установившемуся обычаю, весь небольшой персонал порта собирался в бистро.

Капитан посмотрел на уровень воды.

— Полчаса в моем распоряжении, — сказал он.

Они вошли в сколоченное из досок бистро, а за ними, нерешительно, и остальные. Мегрэ пригласил всех за свой столик. Нужно было сломать лед, познакомиться с людьми, завоевать их доверие и даже, в некотором смысле, проникнуть в их общество.

— Что будете пить?

Они переглянулись. Скованность еще не прошла.

— В это время обычно кофе с ромом.

Официантка принесла заказанное. Толпа людей, возвращавшихся от домика Жориса, перешла через мост. Некоторые пытались заглянуть в окна бистро. Им не хотелось расходиться по домам, они бродили по порту в ожидании, как будут разворачиваться события.

Мегрэ, набив трубку, пустил кисет по кругу. Капитан Делькур отказался — он курил сигареты, но механик, покраснев, положил в рот щепотку табаку, пробормотав: «С вашего позволения».

— Странная история, верно? — произнес Мегрэ.

Все знали, что он сейчас заговорит об этом, и все-таки наступила минута натянутого молчания.

— Кажется, капитан Жорис был славный человек...

Мегрэ помолчал, украдкой наблюдая за выражением лиц.

— Слишком славный, — сказал Делькур. Он был немного старше своего предшественника, одет слегка небрежно и, очевидно, не брезговал спиртным. Тем не менее, продолжая говорить, он не забывал наблюдать, сквозь шторы, за уровнем воды и за судном, которое как раз поднимало якорь.

— Рановато начинают! Течение Орны может снести их на отмель...

— Ваше здоровье... В общем, никто не знает, что произошло шестнадцатого сентября...

— Никто. Ночью был сильнейший туман, примерно как вчера. Я в ту ночь не дежурил. Однако пробыл тут до десяти часов — играл в карты с Жорисом и с друзьями, которых вы видите.

— Вы встречались каждый вечер?

— Почти... В Вистреаме нет никаких развлечений... В тот вечер Жорис несколько раз отлучался, чтобы проследить за проходом судов. В девять тридцать работа закончилась. Он скрылся в тумане, по-видимому направляясь домой...

— Когда обнаружили его исчезновение?

— На следующий день... Жюли пришла в порт справиться о нем... Накануне она заснула до возвращения капитана и утром удивилась, не найдя его в спальне.

— Жорис много выпил в тот вечер?

— Он никогда не пил больше рюмки, — сказал таможенник, которому не терпелось вступить в разговор. — И не курил!

— Ну а... скажите... у него с Жюли...

Они переглянулись, нерешительно заулыбались.

— Неизвестно... Жорис клялся, что нет... Только...

В разговор снова вступил таможенник:

— Я не хочу сказать о нем ничего плохого, только он был не такой, как все... Не то чтобы гордый, нет! Но очень следил за собой, понимаете? Он никогда не пришел бы на работу в сабо, как Делькур. По вечерам он играл здесь в карты, но днем никогда сюда не заходил... Он был на «вы» со шлюзовщиками... Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать...

Мегрэ очень хорошо понимал. Он провел несколько часов в доме Жориса, чистеньком, содержащемся в идеальном порядке. А теперь он видел других, людей попроще, почти неряшливых. Они, должно быть, пропускали здесь рюмку за рюмкой. Голоса звучали громче, атмосфера сгущалась, обстановка становилась вольной, даже развязной. Жорис заходил сюда только для того, чтобы сыграть партию в карты. Он никогда не рассказывал о своей личной жизни и уходил после одной рюмки.

— Уже около восьми лет Жюли работает у него. Тогда ей было шестнадцать... Это была простая деревенская девочка, сопливая, плохо одетая...

— А теперь...

Подошла официантка, хотя ее никто не звал, и снова налила рому в стаканы, на дне которых оставалось немного кофе. Должно быть, это тоже входило в ритуал.

— А теперь вон она какая... Что я хочу сказать? На вечеринках она не танцует с кем попало... А когда в лав-

ках с ней обращаются слишком запросто, как с простой служанкой, она обижается. В общем, это трудно объяснить. А вот ее брат...

— Брат...

Механик выразительно посмотрел таможеннику прямо в глаза. Мегрэ перехватил этот взгляд.

— Комиссар все равно о нем узнает, — сказал таможенник, который пропускал, должно быть, уже далеко не первый стаканчик. — Ее брат отбыл восемь лет на каторге. Однажды вечером, в Онфлере, он был очень пьян и слишком расшумелся на улице со своими дружками. Подоспела полиция, и парень так здорово ударил одного полицейского, что тот через месяц умер.

— Он моряк?

— Раньше он ходил в дальние рейсы, а потом вернулся домой. Теперь он плавает на шхуне «Сен-Мишель» из Пенполя...

Капитан Делькур начинал нервничать..

— Ну, пойдемте, — сказал он, вставая. — Пора!

— Пароход-то еще не вошел в шлюз, — вздохнул таможенник, которому не хотелось уходить.

Они остались втроем. Мегрэ снова подозвал официантку с бутылкой.

— «Сен-Мишель» иногда здесь появляется?

— Да, иногда.

— Он был тут шестнадцатого сентября?

Таможенник, как бы оправдываясь, сказал, обращаясь к соседу:

— Он все равно об этом узнал бы из портового журнала... Да, «Сен-Мишель» был тут. Из-за тумана они даже провели ночь в порту и отплыли только рано утром.

— Куда?

— В Саутхэмптон. Документы визировал я.. Они везли из Кана строительный камень.

— А больше брата Жюли тут не видели?

На этот раз таможенник заколебался, вздохнул, закончил содержимое стакана.

— Надо спросить у тех, кто говорит, что видел его вчера... Лично я никого не видел.

— Вчера?

Таможенник пожал плечами. В окно было видно, как огромный пароход скользит вдоль каменных стен шлюза, возвышаясь над всем окружающим своей черной

громადой Его труба плыла выше деревьев, растущих на берегу канала.

— Мне надо идти...

— Мне тоже.

— Сколько с нас, барышня? — спросил Мегрэ.

— Заплатите в другой раз: хозяйки сейчас нет...

Люди, которые все еще ожидали, не произойдет ли чего-нибудь интересного у дома Жориса, наблюдали от нечего делать за английским пароходом, стоявшим в шлюзе. Мегрэ вышел из бистро. В этот момент к порту подходил какой-то мужчина, и Мегрэ догадался, что это был мэр, которого он видел издали ночью. Это был человек высокого роста, лет сорока пяти—пятидесяти, слегка отяжелевший, розовощекий. На нем был серый охотничий костюм, на ногах гетры. Мегрэ подошел к нему:

— Господин Гранмэзон? Комиссар Мегрэ, из уголовной полиции.

— Очень приятно... — машинально произнес тот и посмотрел на бистро, потом на Мегрэ, потом снова на бистро, как бы говоря: «Странная компания для персоны такого ранга!»

Он продолжал шагать по направлению к шлюзу, через который надо было перебраться, чтобы подойти к дому капитана.

— Говорят, Жорис умер?

— Говорят, — ответил Мегрэ, которому тон мэра был не по душе. Обычно так ведут себя местные «шишки», возмущающие, что они — пуп земли. Такие люди одеваются, как деревенские аристократы, и отдают дань демократии, пожимая на ходу руки согражданам и время от времени справляясь у них о здоровье детей.

— И вы уже нашли убийцу? Насколько я понимаю, это вы привезли Жориса и... Извините...

И он направился к инспектору рыбоохраны, который, по-видимому, прислуживал ему во время охоты, так как мэр сказал ему:

— Камыши слева необходимо выпрямить. Одна из подсадных уток никуда не годится: сегодня утром она была едва жива...

— Слушаюсь, господин мэр.

Он вернулся к Мегрэ, успев по пути пожать руку начальника порта, пробормотав:

— Как дела?



— Хорошо, господин мэ́р.

— Итак, комиссар, о чем мы говорили?.. Что тут достоверного во всех этих рассказах о раскроенном и зашитом черепе, сумасшествии и еще бог знает о чем?

— Как вы относились к капитану Жорису?

— Он служил у меня в течение двадцати восьми лет. Славный малый, безукоризненно выполнял свои обязанности.

— Честный человек?

— Они тут почти все честные.

— Сколько он зарабатывал?

— По-разному, ведь война все нарушила... И тем не менее достаточно, чтобы купить домик. Держу пари, что у него в банке лежит еще по меньшей мере тысяча двадцать пять.

— Не больше?

— Не думаю. Ну, разве что тысяча на пять, не более.

В это время открыли верхние ворота шлюза, и судно выходило в канал, а другое, прибывшее из Кана, готовилось занять его место в шлюзе, чтобы выйти потом в открытое море. Воздух был по-прежнему совершенно тих. Люди следили за комиссаром и мэром. С палубы английского корабля матросы невозмутимо разглядывали толпу, не упуская из виду свой маневр.

— Что вы думаете о Жюли Легран, господин мэ́р?

Господин Гранмэзон промолчал, потом буркнул:

— Дурочка, которой вскружило голову слишком вежливое обращение с ней Жориса. Вообразила о себе бог знает что!

— А ее брат?

— Я никогда его не видел. Мне говорили, что это отъявленный мерзавец...

Миновав шлюз, они подходили теперь к домику, у которого продолжали играть несколько мальчишек в надежде увидеть интересное зрелище.

— Отчего он умер?

— Стрихнин!

У Мегрэ был самый что ни на есть решительный вид. Он медленно шагал, засунув руки в карманы, с трубкой во рту, которая была под стать его широкому лицу: в нее входила почти четверть пачки махорочного табака.

Белая кошка, растянувшаяся на нагретой солнцем ограде, вскочила и убежала при их появлении.

— Вы не войдете? — удивился мэр, видя, что Мегрэ почему-то остановился.

— Минутку! Как вы думаете, Жюли была любовницей капитана?

— Откуда мне знать, — раздраженно проворчал господин Гранмэзон.

— Вы часто бывали в этом доме?

— Никогда. Жорис был одним из моих служащих, а в таких случаях... — И он изобразил на своем лице улыбку вельможи. — Покончим с этим поскорее, если вы не возражаете... У меня гости к обеду...

— Вы женаты?

Мегрэ упрямо продолжал расспросы, положив руку на щеколду калитки.

Господин Гранмэзон посмотрел на него сверху вниз, он был выше ростом — метр восемьдесят пять. Комиссар заметил, что мэр едва заметно косит на один глаз.

— Я предпочел бы сразу вас предупредить, что если вы будете и впредь говорить со мной таким тоном, то для вас это закончится неприятностями... Покажите мне то, что вы должны мне показать...

Он сам открыл калитку и вошел в дом. Полевой сторож, охранявший дом, услужливо посторонился.

Через застекленную дверь кухни Мегрэ сразу же заметил нечто странное: обе женщины были там, но Жюли он не видел.

— Где она? — спросил комиссар.

— Поднялась в свою комнату, закрылась и не хочет выходить.

— Вот так, ни с того ни с сего?

Жена смотрителя маяка объяснила:

— Ей стало лучше... Правда, она еще плакала, но уже меньше. Разговаривала с нами. Я предложила ей съесть что-нибудь, и она открыла шкаф...

— Ну и что?

— Не знаю... Мне показалось, что она испугалась, бросилась вверх по лестнице, и мы услышали, что она закрыла дверь своей комнаты на ключ.

В шкафу не было ничего особенного: посуда, корзина с несколькими яблоками, тарелка с маринованной селедкой, два блюда со следами жира — очевидно, в них лежали остатки мяса.

— Я жду, когда вы сообразоволюте заняться делом, —

нетерпеливо произнес мэр, продолжая стоять в коридоре. — Уже половина двенадцатого... Я думаю, что поведение этой девицы...

Мегрэ закрыл шкаф на ключ, положил его в карман и, тяжело ступая, направился к лестнице.

III. КУХОННЫЙ ШКАФ

— Откройте, Жюли!

Никакого ответа. Слышно только, что кто-то бросился на кровать.

— Откройте!

Бесполезно. Тогда Мегрэ ударил плечом в дверь, и замок вылетел.

— Почему вы не открывали?

Она не плакала. Не казалась возбужденной. Напротив, она свернулась калачиком и неподвижно глядела прямо перед собой. Когда комиссар вплотную подошел к ней, она вскочила с кровати и направилась к двери.

— Оставьте меня! — проговорила она.

— Тогда отдайте мне записку, Жюли.

— Какую записку?

Она дерзила, надеясь таким образом скрыть ложь.

— Капитан разрешал вашему брату навещать вас? Жюли молчала.

— Значит, не разрешал. А ваш брат все-таки приходил, и, кажется, приходил в ту ночь, когда пропал Жорис.

Она взглянула на него дерзко, почти с ненавистью.

— «Сен-Мишель» стоял в порту, и естественно, что брат мог зайти к вам. Один вопрос: когда он приходит, вы его кормите, не так ли?

— Скотина! — пробормотала Жюли сквозь зубы.

Мегрэ продолжал:

— Он приходил сюда вчера, когда вы были в Париже. Не застав вас, он оставил записку. Чтобы быть уверенным, что ее найдете вы и никто другой, он положил ее в кухонный шкаф... Дайте мне эту записку.

— У меня ее уже нет!

Мегрэ посмотрел на холодный камин, на закрытое окно.

— Отдайте мне записку.

Жюли сжалась в комок и походила не на взрослого разумного человека, а на обозленного ребенка, так что Мегрэ, поймав ее взгляд, пробормотал почти добродушно:

— Дуреха!

Записка была под подушкой, на которой Жюли только что лежала. Но вместо того чтобы смириться, упрямая девушка стала наступать на Мегрэ, пытаясь вырвать записку из рук комиссара, которого забавлял ее гнев.

— Ну хватит! — угрожающе произнес он, удерживая ее за руку.

Мегрэ прочел несколько строчек, написанных корявым почерком, со множеством ошибок:

«Если вернешься с хозяином, береги его, потому что кое-кто имеет на него зуб. Я вернусь с судном через пару дней. Котлеты не ищи: я их съел... Твой брат навеки».

Мегрэ опустил голову, настолько сбитый с толку, что не обращал внимания на девушку.

Четверть часа спустя начальник порта сказал ему, что «Сен-Мишель» теперь, должно быть, находится в Фекане и придет сюда ночью, если не изменится ветер.

— Вам известно местонахождение всех судов?

И Мегрэ озабоченно посмотрел на сверкающее море, где вдали виднелся один-единственный дымок.

— Между портами существует связь. Посмотрите, вот список судов, ожидаемых сегодня, — он указал на черную доску, висевшую на стене конторы, где мелом были написаны названия судов.

— Вы что-нибудь обнаружили? Не слишком верьте тому, что рассказывают даже серьезные люди... Если бы вы знали, сколько в городке мелких завистников!.. — сказал Делькур, помахав рукой капитану отплывающего судна. Глядя на бистро, он вздохнул: — Сами увидите!

К трем часам сотрудники прокуратуры, человек десять, закончили осмотр места преступления, вышли из дома Жориса, открыли садовую калитку и направились к четырем машинам, окруженным зеваками.

— Наверно, здесь много уток! — сказал заместитель прокурора господину Гранмэзону, окинув взглядом местность.

— Этот год неудачный, а вот в прошлом году...

Мэр бросился к первой тронувшейся машине:

— Остановимся на минутку у меня, хорошо? Жена ждет нас...

Мегрэ оставался последним, и мэр, желая казаться вежливым, сказал ему:

— Вы поедете с нами, разумеется...

В домике капитана остались только Жюли и две женщины, а у дверей полевой сторож ждал фургон из морга, чтобы отвезти тело в Кан.

В машинах обстановка уже напоминала иные возвращения с похорон, которые, в хорошей компании, заканчиваются превеселом. Мегрэ неудобно сидел на откидном стульчике. Мэр объяснял заместителю прокурора:

— Если бы это зависело только от меня, я жил бы тут круглый год. Но моя жена недолюбливает деревню, поэтому в основном мы живем в нашем доме в Кане. Жена только что вернулась из Жуен-лэ-Пен, где провела месяц с детьми.

— Сколько лет теперь старшему?

— Пятнадцать.

Портовые служащие смотрели на проезжающие машины. Вскоре на дороге, ведущей в Лион-сюр-Мэр, показалась вилла мэра: большой дом в нормандском стиле, окруженный лужайками с белыми оградами и фаянсовыми фигурками зверей. Госпожа Гранмэзон, в платье темного шелка, встречала в прихожей гостей со сдержанной улыбкой, подобающей даме высшего света. Дверь в гостиную была открыта. На столе в курительной были приготовлены сигары и ликеры. Все знали друг друга: здесь собралось небольшое избранное общество Кана. Горничная в белом переднике принимала пальто и шляпы.

— Господин судья, вы действительно ни разу не бывали в Вистреаме, хотя и живете в Кане столько лет?

— Двенадцать лет, мадам... А вот и мадемуазель Жизель...

К гостям вышла поклониться девочка лет четырнадцати, казавшаяся уже девушкой, особенно из-за манеры держаться, очень светской, как и у ее матери.. Между тем Мегрэ забыли представить хозяйке дома.

— Я думаю, после всего увиденного вы предпочтете рюмку ликера чашечке чаю... Немного коньяку, господин заместитель прокурора?.. Ваша жена все еще в Фонтенбло?..

Говорили разом со всех сторон. Мегрэ ловил на лету обрывки фраз.

— Нет, десяток уток за ночь — самое большее... Уверяю вас, совсем не холодно... Шалаш утеплен...

С другой стороны:

— ...сильно страдают от кризиса во фрахтовании?

— Все зависит от компании. Здесь этого не чувствуется. Ни одно судно не поставили на прикол. Но мелкие судовладельцы, особенно те, у которых только маленькие каботажные шхуны, начинают бедствовать. Можно сказать, что в принципе все шхуны следует продать — они не окупают себя...

— Нет, мадам, — шепотом объяснял в другой стороне заместитель прокурора. — Не нужно ничего бояться. Тайна этого убийства, если таковая вообще существует, будет скоро раскрыта.. Не так ли, господин комиссар? Но... вас представили? Комиссар Мегрэ, один из выдающихся руководителей уголовной полиции...

Мегрэ стоял как каменный, на лице — полное отсутствие светскости. Он как-то странно взглянул на Жизель, которая протягивала ему блюдо с пирожными:

— Нет, спасибо.

— Вы не любите пирожные?

— Ваше здоровье!

— За здоровье нашей любезной хозяйки!

Судебный следователь, высокий, худощавый человек лет пятидесяти, который видел плохо, хотя носил очки с толстыми стеклами, отвел Мегрэ в сторону:

— Разумеется, я предоставляю вам полную свободу действий. Но звоните мне каждый вечер и держите в курсе дела. Что вы обо всем этом думаете? Убийство с целью ограбления, не так ли?

И поскольку к ним подходил господин Гранмэзон, он продолжил громче:

— Вам повезло с мэром: он облегчит вашу задачу. Не правда ли, дорогой друг? Я говорил комиссару, что...

— Если он того желает, мой дом будет его домом... Если я не ошибаюсь, вы остановились в гостинице?

— Да. Благодарю за приглашение, но там я ближе к порту.

— И вы думаете, что обнаружите что-нибудь, сидя в бистро? Осторожней, комиссар!.. Вы не знаете Вистреама!.. Подумайте, каково может быть воображение

у людей, проводящих свою жизнь в бистро. Они готовы обвинить отца и мать, лишь бы рассказать что-нибудь позатейливее...

— Давайте не будем больше об этом говорить, — предложила госпожа Гранмэзон с очаровательной улыбкой. — Пирожное, комиссар? Действительно, не хотите? Вы не любите сладкого?..

Второй раз! Это уж слишком! В знак протеста Мегрэ чуть было не вытащил из кармана свою огромную трубку.

— Позвольте откланяться... Мне нужно разобраться в некоторых деталях дела...

Никто не пытался его удержать. В общем, его присутствием здесь не дорожили, да и он сам не горел желанием оставаться в этом доме. Выйдя на улицу, он набил трубку и медленно пошел к порту. Его уже знали. Известно было, что он пропустил стаканчик с заведомо-таями бистро, и здоровались с ним слегка по-свойски. Когда он подходил к пирсу, машина, увозившая тело капитана Жориса, удалялась в сторону Кана. За оконным стеклом первого этажа дома можно было различить лицо Жюли, которую женщины пытались увести на кухню.

Вокруг рыбацкого баркаса, только что вернувшегося с уловом, толпилось несколько человек. Матросы сортировали рыбу. Таможенники, опершись на парапет моста, коротали долгие часы дежурства.

— Я сейчас получил подтверждение, что «Сен-Мишель» прибывает завтра, — сказал капитан, подходя к Мегрэ. — Он три дня простоял в Фекане на ремонте бушприта...

— Скажите, он перевозит иногда сушеную тресковую икру?

— Тресковую икру? Нет. Ее привозят из Норвегии на скандинавских шхунах или пароходиках, которые не заходят в Кан, а идут прямо к портам, где ловят сардины, — в Конкарно, Сабль-д'Олонн, Сен-Жан-де-Люз...

— А моржовое масло?

На этот раз капитан вытаращил глаза:

— Это зачем?

— Не знаю...

— Нет! Суда каботажного плавания перевозят почти всегда одно и то же: овощи, особенно лук, в Англию, уголь — в бретонские порты, камень, цемент, шифер...

Я справлялся у шлюзовщиков по поводу последнего захода «Сен-Мишеля». Шестнадцатого сентября он пришел из Кана как раз к концу прилива. Портовики собирались заканчивать работу. Жорис сказал, что в фарватере было уже мало воды для выхода в море, особенно в тумане. А капитан судна настоял на том, чтобы все-таки пройти шлюз и отплыть на следующее утро прямо на рассвете. Они провели ночь вот тут, пришвартовались к сваям в передней части порта. Во время отлива судно едва не село на мель и могло отплыть только около девяти утра.

— Брат Жюли был на борту?

— Конечно! Их всего трое: капитан, он же хозяин судна, и два матроса. Большой Луи...

— Каторжника зовут так?

— Да. Он ростом повыше вас и придушит любого одной рукой...

— Опасный тип?

— Если вы спросите об этом мэра или другого местного буржуа, они вам ответят: да. Ну, а я не знал его до того, как он попал на каторгу. Не часто он тут и бывает. В Вистреаме он никогда не делал глупостей — вот и все, что я могу сказать. Пьет, конечно... Или, пожалуй... Трудно сказать... Всегда под градусом; появится — исчезнет... Прихрамывает, голова и плечи наискось, что ли, — вот и выглядит подозрительно... Только капитан «Сен-Мишеля» им вполне доволен...

— И он был вчера здесь до возвращения сестры.

Делькур отвернулся, не решаясь отрицать. И Мегрэ понял, что ему никогда всего не скажут, что эти моряки связаны чем-то вроде круговой поруки.

— Не он один.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего... Говорят, видели какого-то неизвестного...

Впрочем, кто его знает...

— Кто его видел?

— Не знаю... Болтают себе... Выпьем что-нибудь?

Второй раз Мегрэ вошел в бистро, пожимая протянутые руки.

— Скажите на милость! Быстро они управились, эти господа из прокуратуры...

— Что будете пить?

— Пиво.

Солнце ни разу не спряталось за весь день. Но к

вечеру полосы тумана протянулись между деревьями и казалось, что вода в канале задымилась.

— Снова на всю ночь в эту вату! — вздохнул капитан.

В тот же миг послышался вой сирены.

— Это сигнальный буй, там, при входе в фарватер.

— Капитан Жорис часто ходил в Норвегию? — спросил вдруг Мегрэ.

— Да, когда работал в Англо-Нормандской компании. Особенно сразу после войны — здесь не хватало леса. Лес — плохой груз, с ним невозможно маневрировать.

— Вы служили в одной и той же компании?

— Недолго. Я больше служил в бордоской компании «Вормс». Ходил, как говорят у нас, на «трамвае», то есть всегда по одному маршруту: Бордо — Нант, Нант — Бордо... И так — в течение восемнадцати лет!

— Откуда родом Жюли?

— Дочь рыбака из Пор-ан-Бессен. Впрочем, какой там рыбак! Ее отец был непутевый, умер во время войны. Мать и сегодня, должно быть, торгует рыбой на улице и пьет красное в бистро.

И снова, думая о Жюли, Мегрэ чуть заметно улыбнулся. Он вспомнил, как в его кабинет в Париже с решительным видом вошла девушка, одетая в приличный синий костюмчик. И как сегодня утром она, как школьница, пыталась вырвать у него записку брата.

Дом Жориса исчезал в тумане. Свету не было ни во втором этаже, откуда увезли покойника, ни в столовой. Свет горел только в коридоре и, кажется, на кухне, где соседки сидели с Жюли.

Помощники шлюзовщиков вошли, в свою очередь, в бистро, но, не желая мешать, сели за столик в глубине и начали партию в домино. Зажегся маяк.

— Повторите! — сказал капитан, указывая на рюмки. — Теперь я угощаю!

Тихим и неожиданно мягким голосом Мегрэ спросил:

— Если бы Жорис был жив, где бы он находился сейчас? Тут?

— Нет! Сидел бы у себя дома, в домашних тапках!

— В столовой? В спальне?

— На кухне... читал бы газету, а потом книгу по садоводству. Он пристрастился к цветам. Глядите! Поздняя осень, а у него в саду полно цветов.

Рабочие посмеивались, хотя им было немного неловко от того, что они не занимаются выращиванием цветов, а предпочитают сидеть в бистро.

— Он не ходил на охоту?

— Редко... Разве если пригласят...

— Мэр пригласит?

— Случалось и так... Когда были утки, они вместе охотились из шалаша...

Бистро так слабо освещалось, что сквозь табачный дым почти не было видно игроков в домино. Воздух от большой печки становился еще тяжелее. На улице стало почти темно, но из-за тумана темнота эта казалась мутной и словно нездоровой. По-прежнему выла сирена. Трубка Мегрэ потрескивала.

Откинувшись на стуле, с полузакрытыми глазами, он пытался собрать воедино разрозненные детали дела, которые образовывали пока бесформенную массу.

— Жорис исчез на полтора месяца, потом вернулся с раскроенным и залатанным черепом! — сказал он, не замечая, что думает вслух. — В день возвращения его ждал яд.

И только на следующий день Жюли нашла записку от брата. Мегрэ тяжело вдохнул и пробормотал, в виде заключения:

— В общем, его пытались убить! Потом вылечили! А потом все-таки убили! Если только...

События никак не вязались одно с другим. И Мегрэ пришла в голову странная мысль, настолько странная, что пугала.

«Если только в первый раз его пытались не убить, а просто лишить рассудка...»

Разве парижские медики не утверждали, что операция была сделана превосходным хирургом? Но неужели для того, чтобы лишить человека рассудка, нужно раскроить ему череп? И потом, как доказать, что Жорис действительно невменяем?

На Мегрэ смотрели в почтительном молчании. Только таможенник показал официантке на рюмки:

— То же самое!

Все сидели, удобно устроившись на стульях, разомлевшие от тепла и погруженные в не совсем ясные думы, которые под воздействием спиртного становились еще более смутными.

Слышно было, как проехали три машины: представители прокуратуры возвращались в Кан после приема у госпожи Гранмэзон.

Тело капитана Жориса находилось уже в холодном морге Института судебно-медицинской экспертизы.

Никто не разговаривал. В углу, где сидели шлюзовщики, костяшки домино стучали по обшарпанному столу. И чувствовалось, что мало-помалу вопросы эти овладели портовиками, стали почти осязаемыми, просто висели в воздухе, давили на каждого из присутствующих. Лица нахмурились. Самый молодой из таможенников, разволновавшись, поднялся, пробормотал:

— Пойду домой, жена ждет...

Мегрэ протянул кисет соседу, который, набив трубку, передал его по кругу. Тогда раздался голос Делькура. Он тоже встал, чтобы бежать от этой невыносимой обстановки.

— Сколько я вам должен, Марта?

— За два круга?.. Девять франков семьдесят пять сантимов и три франка десять за вчерашнее.

Все встали. Влажный воздух проникал через закрытую дверь. Рукопожатия перед уходом. На улице, в тумане, каждый направился в свою сторону. Крик сирены перекрывал звук шагов. Мегрэ стоял неподвижно и слушал, как удаляются во всех направлениях их шаги, то тяжелые и неуверенные, то вдруг убыстряющиеся. И он понял, что в этих людях непостижимым образом поселился страх. Они боялись, все те, кто уходил, боялись всего и ничего—какой-то неясной опасности, непредсказуемой катастрофы — боялись и темноты, и света: «Что если этим не кончится?»

Мегрэ стряхнул пепел из трубки и застегнул пальто.

IV. «СЕН-МИШЕЛЬ»

— Вам нравится? — беспокойно спрашивал хозяин при каждом новом блюде.

— Ничего, — отвечал Мегрэ, который, по правде говоря, даже не замечал того, что ел.

Он сидел один в ресторанчике гостиницы, рассчитанном на сорок — пятьдесят человек. Гостиница для отпу-

скинков, приезжающих покупаться летом в Вистреам. Мебель — как во всех пляжных гостиницах. Вазочки на столах.

Ничего общего с Вистреамом, интересующим комиссара, который начинал понимать жизнь городка и испытывал от этого удовлетворение. При каждом новом расследовании он больше всего не любил именно начало: первые неловкие встречи, ложные представления. Например, само название — Вистреам! В Париже ему почему-то казалось, что это — портовый городок типа Сен-Мало. А потом, в первый же вечер, Мегрэ понял, что это — мрачное место, где живут суровые и молчаливые люди. Теперь он знал Вистреам и чувствовал себя в нем как дома. Невзрачный городок, куда ведет дорога, обсаженная деревьями. Примечателен только порт: шлюз, маяк, дом Жориса, бистро, ритм порта: два шлюзования в день, рыбачки со своими корзинами, горстка людей, которая только и занята тем, что следит за проходом судов.

Другие слова имели более определенный смысл: капитан, судно, каботажное плавание... Он видел, как живет все это, и постигал правила игры.

Тайна не прояснилась. Все, что вначале представлялось загадочным, загадочным и осталось. Но по крайней мере, действующих лиц он видел каждого на своем месте, в своем окружении, занятого своим повседневным делом.

— Вы тут надолго? — спросил хозяин, подавая кофе.

— Не знаю.

— Произойди это во время отпусков, я понес бы ужасные убытки...

Теперь Мегрэ отчетливо различал четыре Вистреама: Вистреам — порт, Вистреам — городок, Вистреам — респектабельный, с виллами, такими как у мэра, вдоль дорог... Наконец, Вистреам — курортный, временно не существующий.

— Вы уходите?

— Пойду прогуляюсь перед сном...

Начинался прилив. Было холоднее, чем в предыдущие дни, потому что туман, не редая, превращался в капельки ледяной воды. Кругом все было черно, окна и двери закрыты. Виднелся только влажный глаз маяка. Со шлюза доносились голоса.

Короткий гудок парохода. Приближались два огня —

зеленый и красный; какая-то огромная масса скользила вдоль стены шлюза.

Теперь Мегрэ понимал, как тут все происходит: пароход шел со стороны моря. Появился силуэт человека. Сейчас примут у судна швартов и укрепят его на первом кнехте. Потом с мостика капитан прикажет дать задний ход, чтобы судно остановилось.

Рядом с Мегрэ прошел Делькур, беспокойно глядя в сторону пирсов.

— Что случилось?

— Не понимаю...

Он хмурил брови, напрягал зрение, как если бы хотел одним усилием воли различить что-то в этой кромешной тьме. Двое рабочих собирались закрывать ворота шлюза. Делькур крикнул им:

— Погодите немного!

И вдруг он произнес удивленно:

— Это он...

В то же время метрах в пятидесяти раздался голос:

— Эй, Луи! Ставь фок и подходи левым бортом!

Голос доносился снизу, из темной дыры, со стороны пирсов. Светлячок приближался. Едва угадывались движущиеся фигуры и парус, падающий со звоном своих колец на леер. Потом на расстоянии вытянутой руки мимо Мегрэ проплыл развернутый грот парус.

— Умудрились же! — проворчал капитан и, повернувшись к паруснику, крикнул: — Подайте вперед! Носом к левому борту парохода, иначе ворота не закрыть...

Какой-то человек соскочил на землю со швартовым и теперь, упершись руками в бока, глядел вокруг себя.

— «Сен-Мишель»? — спросил Мегрэ.

— Да... Они шли со скоростью парохода...

Внизу, на палубе, горела только маленькая лампочка, тускло освещаая бочку, кучу канатов, фигуру человека, бегущего от руля к носу шхуны.

Один за другим подходили шлюзовщики и со странным любопытством смотрели на судно.

— По местам, ребята! Давайте! Эй там, у рукояток!..

Когда ворота закрылись, вода стала проникать через затворы и суда начали подниматься. Слабый огонек совсем приблизился. Палуба почти достигла уровня причала, и человек, стоявший там, заговорил с начальником порта.

— Как дела?

— Ничего, — смущенно ответил Делькур. — Скоро вы справились!

— Ветер был попутный, и Луи поставил все паруса. Даже какой-то пароход обошли.

— Ты в Кан идешь?

— Да, на разгрузку. А тут что нового?

Мегрэ стоял в двух шагах, Большой Луи — немного подальше, но они почти не различали друг друга. Разговаривали только начальник порта и капитан «Сен-Мишеля». Впрочем, Делькур вскоре повернулся к Мегрэ, не зная что сказать.

— Правда, что Жорис вернулся? Кажется, об этом писали в газете...

— Он вернулся и снова уехал...

— Как это?

Большой Луи подошел чуть ближе, руки в карманах, одно плечо выше другого, огромная бесформенная фигура. В темноте он выглядел обрюзгшим верзилой.

— Он умер...

На этот раз Луи приблизился вплотную к Делькуру.

— Это правда?.. — пробурчал он.

Мегрэ слышал его голос впервые. Он тоже казался каким-то вялым, хриплым, монотонным. Лицо матроса по-прежнему невозможно было различить.

В первую же ночь после возвращения его отравили...

И осмотрительный Делькур, с явным намерением предупредить, поспешил добавить:

— А вот и комиссар из Парижа, которому поручено дело.

Он почувствовал облегчение. Уже давно он думал, как об этом сообщить. Может быть, он опасался какой-нибудь неосторожности со стороны экипажа «Сен-Мишеля»?

— А, это господин из полиции...

Судно продолжало подниматься. Капитан перемахнул через борт и прыгнул на пристань, не зная, подавать Мегрэ руку или нет.

— Ну и дела!.. — произнес он, думая о Жорисе.

Чувствовалось, что он еще более обеспокоен, чем Делькур. Луи, наклонив голову набок, переминался с ноги на ногу. Он пролаял что-то неразборчивое.

— Что он говорит? — спросил комиссар.

— Бормочет по-местному: «Сволочь на сволочи!»

— Кто — сволочь? — спросил Мегрэ у бывшего ка-
торжника.

Но тот только посмотрел ему в глаза. Они теперь
стояли близко друг от друга. Видно было, что лицо у
Большого Луи одутловатое, одна щека толще другой или
казалась такой, потому что он держал голову набок.
Опухшее лицо, большие навывкате глаза.

— Вчера вы были здесь, — сказал ему комиссар.

Шлюзование закончилось. Открывались верхние во-
рота. Пароход заскользил по каналу, и Делькуру при-
шлось бежать за ним, чтобы спросить, какой у него
тоннаж и откуда он идет. Слышно было, как с мостика
крикнули:

— Девятьсот тонн!.. Руан...

Но «Сен-Мишель» не выходил из шлюза. Люди, сто-
явшие на своих местах для проведения маневра, чувст-
вовали, что происходит что-то необычное, и ждали в тем-
ноте, напрягая слух. Вернулся Делькур, на ходу записы-
вая в свою книжку полученные данные.

— Ну так как? — торопил Мегрэ.

— Что — как? — проворчал Луи. — Вы говорите, что
я был здесь. Ну, значит, был...

Его трудно было понять, потому что он как-то особен-
но глотал слова, говорил, не открывая рта, как будто при
этом жевал что-то. К тому же у него был характерный
местный выговор.

— Зачем же вы приходили?

— Повидаться с сестрой...

— А поскольку ее не было дома, вы оставили ей записку.

Мегрэ рассматривал украдкой капитана шхуны, кото-
рый был одет так же, как и его матрос. В нем не было ни-
чего особенного. Скорее похож на заводского мастера,
чем на капитана каботажного плавания.

— Простояли три дня на ремонте в Фекане. Вот Луи
и воспользовался случаем проведать Жюли! — вмешался
капитан.

Очевидно, люди, стоявшие вокруг шлюза, прислуши-
вались к разговору и старались не шуметь. Вдали, не
переставая, выла сирена. Туман становился все более
влажным и оседал на блестящую черную мостовую.

На палубе шхуны открылся люк, из которого высу-
нулась голова человека с растрепанными волосами и не-
бритым лицом.

— Ну что?.. Так и будем стоять?..

— Заткнись, Селестен! — проворчал хозяин шхуны.

Делькур притоптывал ногами, чтобы согреться, или, может быть, чтобы скрыть замешательство: он не знал, что делать — остаться или уйти.

— Почему вы считаете, Луи, что Жорису грозила опасность?

— Ну... раз ему раскроили череп, — ответил Луи, пожимая плечами, — тут немудрено догадаться.

Трудно было обойтись без переводчика — настолько нечленораздельно звучала речь Луи, похожая на ворчание.

Чувство крайней неловкости, казалось, отягощалось тревогой, висевшей в воздухе. Луи посмотрел в сторону дома Жориса, но ничего не увидел, даже пятна в ночной тьме.

— Жюли там?

— Да... Вы пойдете к ней?

Он отрицательно помотал головой, как медведь.

— Почему?

— Она ревет, конечно...

Луи произнес что-то вроде «онарветь», с отвращением, как человек, который терпеть не может слез.

Они продолжали стоять. Туман сгущался, оседал на плечах. Делькур почувствовал необходимость прервать молчание.

— Может, пойти выпить...

Один из его подчиненных, стоявший неподалеку в темноте, предупредил его:

— Бистро только что закрыли.

Тогда капитан «Сен-Мишеля» предложил:

— Давайте пропустим в кубрике по одной...

* * *

Они сидели вчетвером: Мегрэ, Делькур, Большой Луи и капитан, которого звали Ланнек. Кубрик был невелик. Маленькая печка давала сильный жар, от которого все вокруг запотело. Свет от подвесной керосиновой лампы казался почти красным. Стенки кубрика были сделаны из сосновых досок, покрытых лаком. Дубовый стол был так стерт и изрезан ножом, что поверхность его являла собой сплошные неровности. На нем стояли грязные

тарелки, липкие захватанные стаканы из толстого стекла, полбутылки красного вина. В перегородке там и сям виднелись прямоугольные отверстия, как шкафы без створок. Кровати капитана и его помощника — Луи — были незаправлены. На них валялись сапоги и грязная одежда. Пахло смолой, спиртным, кухней и спальней, но все перекрывали трудно определяемые запахи корабля.

При свете люди казались менее загадочными. У Ланнека были темные усы, живые, умные глаза. Он уже достал из шкафа бутылку спиртного и споласкивал теперь стаканы, выливая воду прямо на пол.

— Кажется, вы были здесь в ночь на шестнадцатое сентября?

Большой Луи сидел ссутулившись и положив локти на стол. Наполняя стаканы, Ланнек ответил:

— Да, мы были здесь!

— Вы редко ночуете в порту, ведь так? Из-за прилива здесь глаз нельзя спускать со швартовых...

— Иногда случается, — ответил Ланнек, не моргнув глазом.

— Это позволяет выиграть несколько часов, — вступил в разговор Делькур, который, казалось, взял на себя роль примирителя.

— Капитан Жорис поднимался к вам на борт?

— Только во время шлюзования, а больше нет.

— Вы не видели и не слышали ничего странного?

— Ваше здоровье!.. Нет, ничего...

— Вы, Луи, уже спали?

— Надо думать, спал...

— Что вы сказали?

— Я сказал: надо думать, что спал... И уже давно.

— Вы не заходили к сестре?

— Может, и заходил... Ненадолго...

— А разве Жорис не запретил вам являться в свой дом?

— Болтовня!

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего... Болтовня все это... Я вам еще нужен?

Против него не было серьезных улик. Кроме того, Мегрэ вовсе не хотелось его арестовывать.

— Сегодня нет.

Луи сказал что-то по-бретонски хозяину, поднялся, допил из стакана и прикоснулся рукой к козырьку.

— Что он вам сказал? — спросил комиссар.

— Сказал, что я обойдусь без него, чтобы сходить в Кан и обратно. Я заберу его на обратном пути, как разгрузимся.

— Куда он пошел?

— Этого он не сказал.

Делькур подошел к люку, высунул голову и прислушался. Вскоре он вернулся и охотно сообщил:

— Он на борту драги.

— На борту чего?

— Вы видели две драги, в канале? Они стоят на приколе. Там можно переночевать. Моряки предпочитают провести ночь на каком-нибудь судне, чем в гостинице.

— Еще стаканчик? — предложил Ланнек.

Прищурившись, Мегрэ смотрел вокруг. Он устроился поудобнее.

— В какой порт вы зашли сразу после Вистреама шестнадцатого сентября?

— В Саутхэмптон... Мне нужно было там выгрузить строительный камень...

— А потом?

— Булонь.

— А в Норвегию вы не заходили после этого?

— Я был там только раз, шесть лет тому назад...

— Вы хорошо знали Жориса?

— Понимаете, я здесь со всеми знаком, от Ля Рошели до Роттердама... Ваше здоровье! Вот джин, как раз из Голландии. Сигары курите?

Он вынул из ящика коробку сигар.

— Они стоят там десять центов один франк!..

Сигары были толстые, с золотыми ободками.

— Странно! — вздохнул Мегрэ. — Мне сказали, что Жорис поднимался к вам на борт уже в порту, в сопровождении какого-то человека...

Ланнек сосредоточенно обрезал кончик сигары. Когда он поднял голову, его лицо оставалось бесстрастным.

— Мне незачем было бы это скрывать...

Послышался шум: наверху кто-то вскочил на палубу. Над лестницей показалась голова.

— Пароход из Гавра!

Делькур вскочил и уже на ходу бросил Мегрэ:

— Надо подготовить шлюз... «Сен-Мишель» сейчас отправится...

Ланнек сказал:

— Я думаю, мне можно идти дальше?

— В Кан?

— Да. Канал ведет только туда. Завтра вечером мы, очевидно, закончим разгрузку...

Все они казались простодушными! У них были открытые лица! И все-таки во всем этом чувствовалась фальшь. Чувство настолько неуловимое, что трудно было сказать, почему эта фальшь ощущалась и что именно было фальшивым. Хорошие люди! Ланнек, Делькур, Жорис, как и всегда, «Приюта моряка»! А разве сам Большой Луи не производил впечатления славного малого?

— Сиди, Ланнек! Я сам отдам швартовы...

И начальник порта пошел снять трос с кнехта. Выйдя из будки, старый матрос, совсем окоченевший и недовольный, пробормотал:

— Большой Луи опять смылся!

И он поставил паруса — фок и бом-кливер, потом багром оттолкнул шхуну от причала. Мегрэ соскочил на землю в последний момент. Туман окончательно превратился в дождь. Теперь можно было различить огни в порту, силуэты людей, пароход из Гавра, нетерпеливо подававший гудки.

Скрипели рукоятки. Вода вытекала из шлюза через открытые подъемные затворы. Паруса шхуны закрывали собой перспективу канала.

Стоя на мосту, Мегрэ различал две драги — жуткие сооружения со сложными контурами и зловещего вида надстройками, покрытыми ржавчиной.

Он подошел к ним осторожно, так как вокруг валялся всякий мусор, старые канаты, якоря и железный лом. Он прошел по доске, служившей сходнями, и увидел сквозь щели слабый свет.

— Большой Луи!.. — позвал он.

Свет тотчас погас. Из люка, на котором не было крышки, высунулся Большой Луи и проворчал:

— Чего вам?

И в то же самое время под ним, в трюме драги, послышался шорох. Потом осторожно проскользнула какая-то тень. Слышно было, как человек на что-то натыкался и как глухо при этом звенело железо.

— Кто тут с тобой?

— Со мной?..

Мегрэ искал вокруг, чуть не упал в трюм драги, на дне которой было около метра жидкой грязи. Несомненно, кто-то здесь находился, но теперь был уже далеко. Скрипы доносились теперь с другой стороны драги. Не зная, куда ступить, Мегрэ ударился головой об огромный ковш: он понятия не имел об устройстве этого апокалиптического судна.

— Молчишь?

В ответ — неясное бормотание, которое, должно быть, значило: «Не знаю, о чем вы говорите...»

В такой темноте понадобилось бы с десятков полицейских, чтобы отыскать обе драги, да вдобавок таких полицейских, которые бы хорошо знали все закоулки порта. Мегрэ отступил. Из-за дождя голоса были слышны удивительно далеко. Кто-то в порту говорил:

— ...как раз поперек фарватера...

Мегрэ подошел к шлюзу. Помощник капитана с гаврского парохода показывал что-то Делькуру, который, завидя комиссара, пришел в замешательство.

— Трудно поверить, что они потеряли ее и не заметили, — продолжал помощник капитана.

— Что потеряли? — спросил Мегрэ.

— Шлюпку.

— Какую шлюпку?

— Ту, на которую мы наткнулись прямо в порту. Она с парусника, который шел впереди нас. Название написано на корме: «Сен-Мишель».

— Возможно, она отвязалась, — вставил Делькур, пожимая плечами. — Это случается...

— Она не могла отвязаться, по той простой причине, что в плохую погоду шлюпку держат не на воде, за кормой, а поднимают на палубу.

Рабочие, каждый на своем месте, по-прежнему прислушивались к разговору.

— Завтра разберемся. Оставьте лодку здесь.

Повернувшись к Мегрэ, Делькур проговорил, неестественно улыбаясь:

— Видите, что за работа. Вечно что-то случается.

Но комиссар не улыбнулся в ответ. Напротив, самым серьезным тоном он произнес.

— Если завтра в семь или, скажем, в восемь утра меня здесь не будет, позвоните в прокуратуру Кана.

— Что?

— Спокойной ночи! А шлюпка пусть останется здесь.

Желая сбить их с толку, Мегрэ пошел вдоль пирса, засунув руки в карманы и подняв воротник. Море шумело у его ног, впереди, справа и слева. Воздух, пропитанный запахом йода, наполнял его легкие.

Дойдя почти до конца пирса, он нагнулся и подобрал что-то с земли.

V. ЧАСОВНЯ В ДЮНАХ

На рассвете, устало волоча ноги, Мегрэ вернулся в гостиницу «Универсаль». Его пальто отяжелело от сырости, в горле першило — всю ночь он курил трубку за трубкой. В гостинице было пусто. Однако на кухне он нашел хозяина, который разводил огонь.

— Провели всю ночь на улице?

— Да. Принесите мне кофе, и, пожалуйста, как можно скорее. Кстати, ванну тут можно принять?

— Если только котлы разжечь.

— Тогда не стоит...

Утро было серое, все еще стоял туман, но уже светлый, прозрачный. Веки у Мегрэ пощипывало, в голове было пусто. В ожидании кофе он подошел к открытому окну своей комнаты.

Странная ночь. Ничего особенно он не нашел — разве что несколько интересных деталей. И все-таки он продвинулся в расследовании драмы, нащупал немало звеньев в цепи событий. Прибытие «Сен-Мишеля». Поведение Ланнека. Нельзя даже сказать, что оно двусмысленно! И тем не менее в нем оставалась неопределенность. То же самое можно было сказать о Делькуре, да и обо всех прочих, когда они находились в порту.

Скажем, поведение Большого Луи явно подозрительно. Он не отправился на шхуне в Кан, а ушел ночевать в заброшенную драгу. Мегрэ был уверен, что Луи находился там не один. А немного позднее комиссар узнал, что при входе в порт «Сен-Мишель» потерял свою шлюпку. В конце пирса Мегрэ подбирает предмет, совершенно неподходящий для такого места: авторучку с золотым пером. Пирс был деревянный и стоял на сваях. В конце его, у сигнального огня, железная лестница спускалась в море. Там и нашли лодку.

Значит, на «Сен-Мишеле» находился пассажир, который пожелал остаться незамеченным в Вистреаме. Он причалил к берегу в лодке, а потом оставил ее плыть по течению. На верхних ступеньках лестницы, когда он наклонился, чтобы выбраться на пирс, золотая авторучка выпала у него из кармана. И пассажир спрятался на одной из драг, а потом Большой Луи пришел к нему.

Построение было почти математически точным. Объяснить эти факты по-иному было невозможно.

Заключение: в Вистреаме прячется какой-то неизвестный. Он прибыл сюда не просто так. Значит, у него была определенная цель. И принадлежал он к обществу, в котором пользуются золотыми авторучками. Это не моряк! И не бродяга! Хорошая авторучка предполагает и одежду хорошую. Крестьяне говорят о таких — «мсье». А зимой, в Вистреаме, такому «мсье» трудно остаться незамеченным. Днем он не мог покинуть драгу. Ну а ночью, не займется ли он делом, ради которого прибыл?

В самом мрачном расположении духа Мегрэ смирился с необходимостью следить этой ночью за драгой — занятие для начинающего сыщика. Под морозящим дождем часами напролет напряженно вглядываться в причудливые очертания драги. Но там ничего не произошло, никто не сошел на берег. Рассвело, и теперь комиссар злился, что не может принять горячую ванну. Он посмотрел на кровать, словно спрашивая себя, стоит ли ложиться на несколько часов.

Вошел хозяин с кофе.

— Вы не ложитесь?

— Пока не знаю. Могли бы вы отнести телеграмму на почту?

Это было распоряжение инспектору Люка, с которым он обычно работал, приехать в Вистреам, так как у него не было ни малейшего желания простоять на часах всю следующую ночь.

Из открытого окна хорошо был виден порт, дом капитана Жориса, песчаные отмели бухты, проступающие во время отлива. Пока Мэгрэ составлял текст телеграммы, хозяин смотрел на улицу. Вдруг, не придавая значения своим словам, он сказал:

— А вот и служанка капитана вышла прогуляться...

Комиссар поднял голову и увидел Жюли, которая, закрыв калитку, быстро пошла по направлению к берегу.

- Что находится в той стороне?
- О чем вы?
- Куда она может направляться? Там есть дома?
- Никаких домов, просто берег, на который никогда не ходят, так как там волнорез и ямы с тиной.
- Там есть какая-нибудь дорога, тропинка?
- Нет. Начиная от устья Орны вдоль берега тянутся одни болота... Да, забыл! В болотах устроены шалаши для охотников на уток...

Мегрэ, нахмутив лоб, уже выходил из гостиницы. Он быстро пересек мост, и, когда вышел на берег, Жюли опережала его всего на две сотни метров. Было безлюдно. Только чайки с громкими криками летали в тумане. Справа возвышались дюны, за которые комиссар зашел, чтобы оставаться незамеченным. Чувствовалась прохлада. Море было беспокойным. Его белая кромка разбивалась о берег с частотой дыхания; шуршали раздробленные ракушки.

Жюли не прогуливалась. Она шла быстро, кутаясь в черное пальтишко. После смерти Жориса она еще не успела заказать себе траурную одежду и носила все, что нашла потемнее, как это вышедшее из моды пальто, шерстяные чулки, шляпа с поломанными полями. Ноги Жюли увязали в песке, отчего ее походка была неровной. Дважды она обернулась, но не заметила Мегрэ, которого скрывали макушки дюн. Наконец, примерно в километре от Вистреама, она повернула направо и так резко, что едва не обнаружила комиссара. Но шла она не к шалашу, как подумал вначале Мегрэ. Пейзаж оставался безлюдным — только осока, да песок, да небольшое развалившееся строение, у которого отсутствовала целая часть стены. Лицом к морю, в пяти метрах от места, куда докатывались волны в час прилива, стояла часовня. Люди соорудили ее, по-видимому, еще несколько веков тому назад. Полукруглый свод. Пролом в стене позволял увидеть толщину других стен: около метра каменной кладки.

Жюли вошла, направилась в глубину часовни. И тотчас же Мегрэ услышал звук передвигаемых небольших предметов, скорее всего морских раковин. Стараясь не шуметь, он сделал несколько шагов вперед. В дальней стене виднелась небольшая ниша, окруженная решеткой. У ее основания — нечто вроде крохотного алтаря, и Жюли, согнувшись, искала что-то.

Девушка внезапно обернулась, узнала комиссара — он не успел спрятаться — и быстро спросила:

— Что вы здесь делаете?

— А вы?

— Я... Я пришла помолиться.

Жюли была встревожена. Весь ее облик говорил о том, что она что-то прячет. Должно быть от бессонной ночи, у нее были красные глаза. Две пряди плохо причесанных волос выбивались из-под шляпы.

— А, это — часовня Нотр-Дам-де-Дюн?..

Действительно, за решеткой в нише была расположена статуя богородицы, такая старая и разрушенная временем, что ее трудно было узнать. Прямо на стене, вокруг ниши, люди начертили, кто карандашом, кто перочинным ножом, слова, которые налезали друг на друга: «Пусть Дениз сдаст экзамен», «Святая богородица, сделай так, чтобы Жожо научился быстро читать», «Пошли здоровья всей семье и особенно дедушке с бабушкой». И более земные надписи. Сердца, пронзенные стрелами: «Робер и Жанна — любовь навеки».

На решетке оставались сухие стебельки, которые когда-то были цветами. Но в общем часовня была похожа на многие другие, не будь в ней морских раковин, сложенных на развалинах алтаря. Раковины всевозможных форм. И на всех, чаще всего карандашом, написаны слова. Иногда — неловкий детский почерк, иногда угадывалась более твердая рука: «Пусть будет удачным улов на Новой Земле и пусть папе не нужно будет вербоваться в новый рейс».

Глинобитный пол. Через огромную брешь в стене виднелся прибрежный песок и серебристое в белой дымке море. Жюли, не зная, как себя вести, с опаской поглядывала на раковины.

— Вы принесли свою? — спросил Мегрэ.

Она отрицательно покачала головой.

— Однако, когда я пришел, вы их передвигали. Что вы искали?

— Ничего... Я...

— Вы?..

— Ничего!

Жюли приняла упрямый вид. Она еще больше куталась в пальто.

Мегрэ пришлось одну за другой перебирать раковины

и читать надписи на них. Вдруг он улыбнулся. На одной огромной раковине он прочел: «Святая богородица, сделай так, чтобы Луи все удалось и мы стали счастливы». Дата: «13 сентября».

Иначе говоря, эта раковина с наивным посвящением оказалась здесь за три дня до исчезновения капитана Жориса. И разве сейчас Жюли пришла не за ней?

— Вы это искали?

— Какое вам дело?

Девушка не отрывала глаз от своей раковины. Можно было подумать, что она готовилась прыгнуть на Мегрэ, чтобы вырвать ее из рук комиссара.

— Отдайте ее мне!.. Положите ее на место!..

— Хорошо, я положу ее на место, но и вы ее не трогайте... Идемте! По дороге поговорим. .

— Мне не о чем с вами говорить...

Они двинулись в путь, наклоняясь вперед, так как ноги вязли во влажном песке. Было так холодно, что носы у них покраснели, а кожа на лице задубела.

— Ваш брат путного в жизни ничего не сделал, ведь так?

Она молча смотрела на песчаный берег.

— Есть вещи, которые невозможно скрыть. Я говорю не только о том. . что привело его на каторгу..

— Ну конечно! Опять это! И через двадцать лет будут говорить.

— Да нет! Нет, Жюли. Луи — хороший моряк. Говорят, даже — отличный моряк, способный занять место помощника капитана. Только в один прекрасный день он напивается со случайными знакомыми, делает глупости, не возвращается на борт, где-то бродит неделями, не работает. Ведь так? В такие дни он обращается за помощью к вам. К вам, а еще несколько недель назад и к Жорису. Потом он снова живет спокойно, как порядочный.

— Ну и что?

— Какой у вас был план тринадцатого сентября? Что вы хотели, чтобы вам удалось?

Жюли остановилась, посмотрела ему в лицо. Она заметно успокоилась, успела поразмыслить. В ее глазах появилась подкупающая серьезность.

— Я знала, что все это приведет к несчастью. А ведь брат ничего не сделал. Если бы он убил капитана, клянусь вам, я была бы первой, кто отплатил бы ему тем же.



Ее голос звучал глухо и решительно.

— Просто бывают совпадения. Да еще эта история с каторгой, от которой не отвязаться. Достаточно, чтобы человек один раз совершил ошибку, и потом на него будут вешать грехи за все, что происходит.

— Какой у Луи был план?

— Это был не план. Все куда проще. Он встретил какого-то богатого господина, не знаю только в Гавре или в Англии. Мне он не назвал его фамилию. Господин, которому надоело жить на суше и который хотел купить яхту для путешествий. Он обратился к Луи, чтобы тот ему подыскал судно.

Они все еще стояли на берегу. Вдали, в стороне Вистреама, виднелся лишь ярко-белый маяк на фоне бледного неба.

— Луи рассказал об этом своему патрону. Из-за кризиса Ланнек уже и раньше подумывал о продаже «Сен-Мишеля». Вот и все! «Сен-Мишель» — лучший каботажник из тех, что можно переделать в яхту. Сначала брат должен был получить десять тысяч франков за сделку. Потом покупатель предложил оставить его на судне капитаном как доверенное лицо.

Она пожалела о последних словах, которые могли вызвать иронию у Мегрэ, и всматривалась в его лицо, отыскивая следы улыбки. Казалось, она была благодарна комиссару за то, что не услышала от него: «Каторжник — доверенное лицо!».

Нет, Мегрэ размышлял. Он сам был удивлен простотой этого рассказа, той простотой, которая звучала до странности правдиво.

— Только вы не знаете, кто этот покупатель?

— Не знаю.

— Где ваш брат должен был снова встретиться с ним?

— Не знаю.

— Когда?

— Очень скоро. Кажется, шхуну хотели переоборудовать в Норвегии, а через месяц она должна была отправиться в Средиземное море, курсом на Египет.

— Француз?

— Не знаю.

— А сегодня вы пришли в часовню забрать вашу раковину?

— Потому что я подумала: если ее найдут, то вообра-

зят все что угодно, кроме правды. Признайтесь, ведь вы мне не верите?

Вместо ответа он спросил:

— Вы виделись с братом?

Она вздрогнула.

— Когда?

— Сегодня ночью или утром?

— Разве Луи здесь?

Казалось, что вопрос ее испугал, сбил с толку.

— «Сен-Мишель» пришел.

Эти слова ее немного успокоили, словно она боялась, что брат окажется здесь без шхуны.

— Так что, он отправился в Кан?

— Нет! Он пошел спать на какую-то драгу.

— Пойдемте! — сказала она. — Мне холодно.

Ветер с моря становился все свежее, а небо еще больше затягивалось облаками.

— Ему часто случается спать на старых судах?

Она не отвечала. Разговор оборвался сам собой. Они шли, слыша только шуршание песка под ногами. Перед их лицами жужжала прибрежная мошкара. Потревоженная в своем пиршестве, она тучами поднималась с водорослей.

Память Мегрэ соединила два образа: «Яхта... Золотая авторучка...» И его мозг продолжал машинально работать. Утром трудно было объяснить появление авторучки, потому что она никак не вязалась с «Сен-Мишелем» и затрапезным видом его хозяев. «Яхта... Золотая авторучка...» Теперь все выстраивалось в логической последовательности. Богатый, немолодой мужчина ищет яхту для путешествий и теряет авторучку. Правда, оставалось еще выяснить, почему этот человек, вместо того чтобы прийти в порт со шхуной, сошел с нее и пересел в лодку, затем выбрался на пирс и спрятался на полузатопленной драге.

— В тот вечер, когда исчез Жорис, Луи вам ничего не говорил о покупателе шхуны? Он вам не сказал, например, что тот находился на борту?

— Нет... Он мне только объявил, что дело было почти сделано.

Они подошли к подножию маяка. Дом Жориса стоял рядом, слева, и в саду еще виднелись цветы, посаженные капитаном. Жюли помрачнела, растерянно оглянулась вокруг, как человек, который больше не знает, что делать в жизни.

— Наверно, вас скоро вызовут к нотариусу по поводу завещания. Теперь вы богаты...

— Оставьте ваши сказки! — сухо сказала она.

— Что вы хотите сказать?

— Сами знаете. Эти сказки про состояние... Капитан не был богат...

— Вы не можете это знать.

— От меня он ничего не скрывал. Если бы у него были сотни тысяч франков, он об этом мне сказал бы. И конечно же, купил бы прошлой зимой охотничье ружье за две тысячи франков. Ведь оно ему так нравилось! Он увидел ружье у мэра и справился о его цене.

Они стояли у калитки.

— Вы войдете?

— Нет... Я, наверно, скоро вас увижу...

Она не решалась войти в дом, где ей предстояло остаться одной.

* * *

Прошло несколько часов, ничем не примечательных. Мегрэ бродил вокруг драги с видом зеваки, который в воскресный день с невольным почтением созерцает таинственное для него зрелище. Там были трубы большого диаметра, ковши, цепи, кабестаны...

— Не видели Большого Луи?

Его видели утром, довольно рано. Он выпил две рюмки рома в бистро и ушел куда-то по шоссе.

Мегрэ хотел спать. Ночью он, наверное, простудился. И настроение у него было, как у человека, заболевшего гриппом. Это было заметно по его движениям и по вялому выражению лица. Мегрэ не пытался скрывать свое дурное расположение духа, что вызывало еще большую тревогу у посетителей бистро, которые украдкой поглядывали на него. Разговор не клеился. Капитан Делькур спросил:

— Что мне делать со шлюпкой?

— Пришвартуйте ее где-нибудь.

И опять Мегрэ задал неловкий вопрос:

— Никто не видел сегодня на улице неизвестного человека?.. Не заметили ничего необычного около драг?

Никто ничего не видел! Но теперь, после этого вопроса, все стали чего-то ждать. Любопытно: люди ждали, что

произойдет какая-то драма. Предчувствие? Ощущение того, что цепь событий не замкнулась, что в ней не хватает одного звена?

Гудок парохода, который запрашивал шлюз. Портовики встали. Мегрэ, тяжело ступая, отправился на почту посмотреть, нет ли сообщений для него. Люка извещал телеграммой о своем приезде в 2 часа 10 минут.

В указанный час маленький поезд, идущий вдоль канала Кан-Вистреам и похожий на детскую игрушку со своими вагонами образца 1850 года, прогудел вдали. Под грохот туго затянутых тормозов и свист пара он остановился у ворот порта.

Люка вышел, протянул комиссару руку. Он удивился, увидев хмурое лицо Мегрэ.

— Ну как?

— Все в порядке.

Несмотря на разницу в чине, Люка не смог удержаться от смеха:

— Не похоже!.. Вы знаете, я не обедал...

— Пойдемте в гостиницу. Там наверняка что-нибудь осталось от обеда.

Они расположились в большом зале, где хозяин накрыл стол для инспектора. Разговаривали вполголоса. Хозяин, казалось, ждал удобного момента, чтобы вставить слово. Подавая сыр, он решил, что пора, и произнес:

— Знаете, что случилось с мэром?

Мегрэ вздрогнул, лицо его выражало такую встревоженность, что хозяин смутился:

— Ничего особенного... В общем, он упал у себя дома, спускаясь по лестнице. Не знаю, как это его угораздило, но он так разукрасил себе лицо, что слег в постель...

Мегрэ тотчас же осенила догадка. Именно догадка, потому что в долю секунды его острая мысль восстановила происшедшее.

— Госпожа Гранмэзон сейчас в Вистреаме?

— Нет, рано утром она уехала вместе с дочерью. Я думаю, она отправилась в Кан... На машине...

Мегрэ уже не чувствовал себя простуженным.

— Долго ты еще будешь есть? — буркнул он.

Люка невозмутимо ответил:

— Ну конечно, голодный за столом кажется чудовищем тому, у кого полон желудок... Еще три минуты... Не уносите камамбер, хозяин!

VI. ПАДЕНИЕ НА ЛЕСТНИЦЕ

Хозяин гостиницы не обманул. Но новость, как он ее представил, была по меньшей мере преувеличена: господин Гранмэзон не лежал в постели.

Когда, отослав Люка наблюдать за драгой, Мегрэ подходил к нормандской вилле мэра, он заметил за стеклом большого окна силуэт человека в классической позе больного, вынужденного сидеть дома. Черты лица не были видны, но это несомненно был мэр. Еще один человек, разглядеть которого было невозможно, стоял в глубине комнаты.

Мегрэ позвонил. Внутри послышался шум шагов — больше чем нужно, чтобы открыть дверь. Наконец появилась служанка, женщина средних лет, довольно строптивого вида. Должно быть, она безмерно презирала всех посетителей, так как даже не потрудилась поздороваться. Открыв дверь, она поднялась по ступенькам, ведущим в холл. Мегрэ пришлось самому закрывать за собой. Потом она постучала в двустворчатую дверь и исчезла, когда Мегрэ входил в кабинет мэра.

Во всем это чувствовалось что-то загадочное. Не та странность, которая сразу же бросается в глаза, а мелочи, которые поражали, и атмосфера, далекая от нормальной.

Дом был большой, почти новый, построенный в стиле, который часто встречается на побережье. Но учитывая огромное состояние семьи Гранмэзон, владельцев большинства акций Англо-Нормандской компании, можно было бы ожидать и большего богатства. Может быть, их особняк в Кане был более роскошным?

Мегрэ сделал несколько шагов, когда услышал голос: — Вот и вы, комиссар.

Голос доносился от окна. Господин Гранмэзон сидел в глубине большого кресла, положив ноги на стул. Против света его было плохо видно, но Мегрэ заметил черный шейный платок вместо воротничка. Левую часть лица мэр прикрывал рукой.

— Садитесь.

Мегрэ обошел комнату и уселся наконец прямо напротив судовладельца. Он с трудом скрывал улыбку, настолько неожиданным было зрелище: левая щека мэра, которую рука закрывала не полностью, сильно распухла, губа вздулась. Но больше всего мэр старался прикрыть огромный синяк, черневший вокруг глаза. Все это выгля-

дело бы не так комично, если бы судовладелец не стремился вместе с тем сохранить важность. Он сидел неподвижно и смотрел на Мэгрэ с враждебным недоверием.

— Вы пришли сообщить мне о результатах расследования?

— Нет. Вы так любезно приняли меня в прошлый раз вместе с господином из прокуратуры, что я хотел бы поблагодарить вас за прием.

Мэгрэ никогда не улыбался иронически. Напротив, чем больше он насмехался, тем более серьезным казалось его лицо.

Он разглядывал кабинет. Стены были увешаны схемами грузовых судов и фотографиями кораблей Англо-Нормандской компании. Мебель не представляла собой ничего особенного: красное дерево хорошего качества, но не более того. На письменном столе лежало несколько папок, письма, телеграммы. Наконец, покрытый лаком пол, на гладкой поверхности которого взгляд комиссара, казалось, останавливался с удовольствием.

— С вами, кажется, что-то приключилось?

Мэр вздохнул, пошевелил ногами и пробурчал:

— Оступился на лестнице.

— Сегодня утром? Как, должно быть, испугалась госпожа Гранмэзон!

— Моя жена к тому моменту уже уехала.

— Действительно, в такую погоду нечего делать у моря!.. Разве только охотиться на уток... Я предполагаю, что госпожа Гранмэзон сейчас в Кане вместе с вашей дочерью?

— Нет, в Париже.

В одежде судовладельца не было ничего изысканного. Темные брюки, халат поверх серой фланелевой рубашки, войлочные домашние туфли.

— А что было внизу лестницы?

— Что вы имеете в виду?

— На что вы упали?

Желчный взгляд. Сухой ответ:

— На пол.

Это была ложь, явная ложь. Такой синяк под глазом не получишь, упав просто на пол. Да и на шее после этого не остается следов удушения! А Мэгрэ прекрасно видел всякий раз, когда шейный платок мэра хоть немного сбивался, кровоподтеки, которые от него пытались скрыть.

- Вы, конечно, были один в доме?
- Почему, «конечно»?
- Потому что несчастные случаи всегда происходят, когда некому помочь!
- Служанка уходила за покупками.
- В доме только она?
- Есть еще садовник, но он уехал в Кан в магазины.
- Наверное, вам было очень больно...

Больше всего мэра тревожила серьезность Мегрэ, его участливый, почти проникновенный тон.

Часы показывали половину четвертого. Но уже становилось темно, и комната погружалась в полумрак.

— Вы позволите?

Мегрэ вытащил из кармана трубку.

— Если хотите сигару — они на камине.

Целый штабель коробок с сигарами. На подносе — бутылка старого арманьяка. Высокие двери кабинета из лакированной смолистой сосны.

— Ну, а ваше расследование?

Неопределенный жест Мегрэ. Он старался не смотреть на дверь, ведущую в гостиную; она как-то странно подрагивала.

— Никаких результатов?

— Никаких.

— Хотите мое мнение? Не надо было представлять это дело как нечто сложное.

— Ну разумеется! — процедил Мегрэ. — Что тут сложного! Однажды вечером исчезает человек и в течение месяца не дает о себе знать. Через полтора месяца его находят в Париже, с раскроенным и залатым черепом, с полной потерей памяти. Его привозят домой, и в ту же ночь он отравлен. Тем временем из Гамбурга на его банковский счет поступает триста тысяч франков. Все просто! Все ясно!

На этот раз, несмотря на добродушный тон комиссара, сомнений у мэра не оставалось.

— Во всяком случае, дело, быть может, проще, нежели вы думаете. И даже допустив, что в нем немало странного, не следовало, я считаю, создавать понапрасну такую тревожную обстановку. Если об этом рассуждать в некоторых кафе, можно слишком сильно смутить головы у тех, кому алкоголь и так затмил рассудок.

Мегрэ чувствовал на себе жесткий инквизиторский

взгляд. Мэр говорил медленно, чеканя слова, словно произносил обвинительный акт.

— С другой стороны, полиция ни разу не обратилась за сведениями к компетентным органам власти!.. Я, мэр, ничего не знаю о том, что происходит там, в порту...

— Ваш садовник носит сандали на веревочной подошве?

Мэр быстро взглянул на паркет, где виднелись следы, оставленные на воске. Рисунок веревочной подошвы был четким.

— Откуда я знаю!

— Простите, что прервал вас... Просто в голову пришла одна мысль... Так вы говорите?..

Но нить разговора была прервана. Господин Гранмэзон буркнул:

— Передайте мне коробку сигар сверху... Вот эту... Спасибо.

Он зажег сигару и простонал, потому что слишком широко открыл рот.

— В общем, что вам удалось узнать? Вы наверняка собрали интересный материал...

— Так мало!

— Странно, ведь портовикам нельзя отказать в воображении, особенно после нескольких аперитивов.

— Я думаю, вы отправили вашу супругу в Париж, чтобы избавить ее от зрелища всех этих драм? И тех, которые еще могут произойти?..

Это была не борьба, хотя с обеих сторон и чувствовались враждебные намерения. Может быть, просто потому, что они принадлежали к разным общественным классам. Мегрэ выпивал в бистро с рыбаками и шлюзовщиками. Мэр принимал господ из прокуратуры, угощал их чаем с ликерами и пирожными.

Мегрэ — просто человек, на него невозможно наклеить этикетку. Господин Гранмэзон — человек вполне определенного круга. Он принадлежит к местной знати, происходил из старинной буржуазной семьи и пользовался солидной репутацией судовладельца, дела которого процветают. Конечно, мэр охотно принимал демократичный вид: на улице разговаривал со своими подчиненными. Но эта демократичность была снисходительной, так сказать, предвыборной. Она являлась частью обдуманной линии поведения.

Мегрэ казался таким уверенным в себе, что это пугало мэра. Господин Гранмэзон, со своим розовым пухлым лицом, начал терять свою важность и высказывать смятение. Чтобы скрыть его, он притворился рассерженным.

— Господин Мегрэ, — начал он, произнеся эти два слова, как будто начинал декламацию. — Господин Мегрэ, я позволю себе напомнить вам, что в качестве мэра Вистреамской общины...

В этот момент Мегрэ встал, подошел к одной из дверей и спокойно открыл ее. Сделал он это так непринужденно, что его собеседник широко раскрыл глаза.

— Да войдите же, Луи. Это действует на нервы — постоянно видеть, как дергается дверь, и слышать, как вы за ней сопите.

* * *

Если он надеялся на эффект, то его ждало разочарование. Большой Луи, скособочив как обычно плечи и наклонив голову, послушно вошел в кабинет и устоял в пол. Но это была также поза человека, попавшего в затруднительное положение: простой матрос, которого вводят в дом важной и богатой персоны. Что касается мэра, то он сильно затягивался своей сигарой, выпуская густые клубы дыма и глядя прямо перед собой.

— Я зажгу свет, с вашего позволения, — сказал Мегрэ.

— Минутку... Закройте сначала шторы на окнах. — Проходим не обязательно видеть... Вот так... Шнур слева... Осторожно...

Большой Луи неподвижно стоял посреди комнаты. Мегрэ повернул выключатель, подошел к ярко горевшему камину и машинально принялся ворошить угли.

Это была его страсть. А еще, когда он был озабочен — стоять у печки, заложив руки за спину, до тех пор, пока не начинало жечь спину.

Но изменилась ли хоть как-нибудь обстановка? Господин Гранмэзон по-прежнему насмешливо посматривал на комиссара, погруженного в размышления.

— Луи был здесь, когда... это... с вами случилось?

— Нет! — сухо ответил мэр.

— Как жаль! Вы могли бы, скатываясь с лестницы, упасть, например, на его кулак...



— Что позволило бы вам подлить масла в огонь, рассказывая посетителям портовых кафе всякие фантастические истории. Пора с этим кончать, комиссар... Нам обоим — вам и мне — надлежит заниматься этим печальным делом... Вы приехали из Парижа... Вы привезли мне капитана Жориса в весьма плачевном состоянии, и все говорит за то, что не в Вистреаме его так обработали... Вы были здесь, когда его убили... Следствие вы ведете, как вам заблагорассудится...

Его голос звучал резко.

— Уже лет десять я являюсь мэром этого городка, знаю своих подопечных и считаю себя ответственным за все, что с ними происходит. Как мэр я являюсь одновременно главой местной полиции. Так вот...

Он остановился на секунду, чтобы затянуться сигарой. Пепел упал и рассыпался у него по халату.

— Пока вы бегаєте по кафе, я тоже не сижу сложа руки, не в обиду вам будь сказано...

— И вызываете Большого Луи...

— Я вызову и других, если сочту нужным... А теперь, полагаю, у вас больше нет ничего существенного мне сообщить?..

Он встал на слегка затекшие ноги, чтобы проводить посетителя до двери.

— Надеюсь, — тихо сказал Мегрэ, — вы не будете иметь ничего против, если Луи пойдет со мной... Прошлой ночью я уже брал у него показания... Теперь надо задать ему еще несколько вопросов.

Господин Гранмэзон жестом показал, что это ему безразлично. Но сам Большой Луи не двинулся с места и, как пригвожденный, не отрываясь продолжал смотреть в пол.

— Вы идете?

— Пока нет... — проворчал, как обычно, брат Жюли.

— Заметьте себе, — сказал мэр, — я нисколько не возражаю против того, чтобы он шел с вами. Хочу, чтобы вы зафиксировали это и не обвиняли меня в том, что я вставляю вам палки в колеса. Я вызвал Большого Луи для выяснения некоторых обстоятельств. Если он пожелал остаться, — значит, он еще не все мне сообщил...

Однако на этот раз в воздухе уже чувствовалась тревога! И не только в воздухе! И не только тревога! В глазах мэра сквозила паника. Большой Луи улыбался с видом какого-то животного удовлетворения.

— Я подожду вас на улице!— сказал ему комиссар.

Но ответа не последовало. Только мэр произнес:

— До встречи, господин комиссар...

Дверь кабинета была открыта. Служанка пришла из кухни и молча, с недовольным видом, проводила Мегрэ за порог виллы и закрыла за ним дверь.

Дорога была пустынна. Метрах в ста в окне какого-то дома виднелся свет, и дальше, на порядочном расстоянии друг от друга, другие светящиеся окна: строения на Рива-Бэлла окружены большими садами.

Засунув руки в карманы и ссутулившись, Мегрэ сделал несколько шагов и оказался у конца садового забора, за которым начинался пустырь.

Итак, все дома в той части городка, что тянется вдоль берега. За садами нет ничего, кроме песка с осокой.

В темноте показался силуэт. Послышался голос:

— Это вы, коми...

— Люка?..

Они быстро подошли друг к другу.

— Что ты здесь делаешь?

Люка не спускал глаз с садовых кустов. Он тихо сказал:

— Человек с драги...

— Вышел отсюда?

— Нет, еще тут...

— Давно?

— Не больше четверти часа... Сразу за виллой.

— Через забор перелез?

— Нет... Похоже, что ждет кого-то. Я услышал ваши шаги и пошел посмотреть...

— Веди...

Они обогнули сад и оказались позади виллы. Люка выругался.

— В чем дело?

— Его тут больше нет...

— Ты уверен?

— Он стоял у этого куста тамариска...

— Думаешь, он вошел в дом?

— Не знаю...

— Оставайся здесь и не сходи с места...

Мегрэ побежал к дороге, но и там никого не обнаружил. В окне кабинета виднелась полоска света, однако до подоконника было не дотянуться.

Тогда он решительно пересек сад и позвонил в дверь. Служанка открыла почти тотчас же.

— Мне кажется, я забыл трубку в кабинете господина мэра...

— Сейчас посмотрю.

Служанка оставила его на пороге, но как только она удалилась, он вошел и, бесшумно поднявшись на несколько ступенек, заглянул в кабинет.

Мэр по-прежнему сидел на своем месте, вытянув ноги. Перед ним стоял маленький столик, с другой стороны которого сидел Большой Луи. На столике лежали шашки.

Передвинув шашку, бывший каторжник пролаял:

— Ваш ход...

Мэр, с раздражением глядя на служанку, которая продолжала искать трубку, произнес:

— Разве вы не видите, что ее здесь нет. Скажите комиссару, что он потерял ее, должно быть, в другом месте... Ваш ход, Луи.

Луи, уверенный в себе, заявил развязно:

— А потом вы принесете нам выпить, Маргарита!

VII. ДИРИЖЕР

Когда Мегрэ появился на пороге виллы, Люка понял, что дело принимает крутой оборот. Нервы комиссара были на пределе. Он глядел прямо перед собой, но, казалось, ничего не видел.

— Ты его не нашел?

— Думаю, что даже и не стоит искать. Чтобы поймать человека в дюнах, нужно прочесывать всю местность.

Покусывая конец трубки, Мегрэ наглухо застегнул пальто и засунул руки в карманы.

— Ты видишь щель в шторах, — показал он на окно кабинета. — И стенку, прямо напротив. Так вот, встав на стенку, ты, я думаю, сможешь заглянуть внутрь через эту щель.

Люка был таким же массивным, как и Мегрэ, но меньше его ростом. Вздыхая, он забрался на стену, глядя в то же время на дорогу, чтобы убедиться, что прохожих не было.

С наступлением ночи поднялся ветер с моря. Он быстро набирал силу, сотрясая ветки деревьев.

— Видишь что-нибудь?

— Нет, не дотягиваюсь немножко, сантиметров пятнадцать—двадцать.

Мегрэ молча подошел к куче камней, лежавших на краю дороги, и принес несколько из них.

— Попробуй так.

— Вижу край стола, но людей еще не вижу.

Комиссар принес несколько новых камней.

— Теперь хорошо! Они играют в шашки. Служанка подает стаканы, они дымятся, думаю, это грог.

— Оставайся тут!

И Мэгре принялся ходить взад и вперед по дороге. В ста метрах от виллы был виден «Приют моряка», а за ним — порт. Проехал грузовичок булочника. Комиссар чуть не остановил его, чтобы убедиться, что никто в нем не прячется, но раздумал.

Бывают очень простые на первый взгляд операции, но осуществить их невозможно. Например, найти человека, который вдруг испарился за виллой мэра! Где искать его: в дюнах, на берегу, в порту, в городке? Перекрыть все дороги? Тут не хватило бы и двадцати жандармов. Если этот человек хитер, то он все равно ускользнет. Не известно даже — ни кто он, ни как он выглядит.

Мегрэ вернулся к стене, где стоял в неудобной позе Люка.

— Что они делают?

— Продолжают играть.

— Разговаривают?

— Не открывая рта. Каторжник положил локти на стол. Он пьет уже третий стакан грога.

Прошло еще четверть часа. Люка услышал звонок и позвал комиссара.

— Звонит телефон. Мэр хочет подойти, но трубку снимает Большой Луи.

Они не могли расслышать, что говорит Луи, но было совершенно ясно, что он доволен.

— Кончил?

— Опять садится за шашки.

— Оставайся здесь.

Мегрэ пошел в бистро. Там, как обычно в это время, несколько человек играли в карты. Увидев комиссара, они хотели пригласить его выпить с ними.

— Сейчас не могу. Девушка, у вас есть телефон?

Аппарат висел на стене в кухне, где старуха служанка чистила рыбу.

— Алло, это почта? Я из полиции. Скажите, пожалуйста, откуда сейчас звонили мэру?

— Из Кана, мсье.

— Какой номер?

— Сто двадцать два. Это привокзальное кафе.

— Благодарю вас...

Некоторое время он так и стоял посреди бистро, ничего не замечая вокруг себя.

— Отсюда до Кана двенадцать километров... — прошептал он вдруг.

— Тринадцать! — поправил только что вошедший капитан Делькур. — Как дела, комиссар?

Мегрэ ничего не слышал.

— ...то есть всего полчаса на велосипеде.

Он вспомнил, что портовые рабочие, жившие почти все в городке, приезжали в порт на велосипедах, которые они оставляли на целый день напротив бистро.

— Проверьте, пожалуйста, все ли велосипеды на месте!

И с этой минуты все пошло, как в отлаженном механизме. Мозг Мегрэ работал наподобие шестерни, движение которой точно соответствовало развитию событий.

— Черт возьми! Нет моего велосипеда...

Мегрэ не удивился, не стал задавать вопросов. Он снова прошел в кухню и снял трубку.

— Соедините меня с полицейским комиссариатом Кана... Да... Спасибо... Алло! Это главный комиссариат? Говорит комиссар Мегрэ из уголовной полиции. Когда уходит поезд на Париж? Как? Не раньше одиннадцати часов?.. Нет! Слушайте и записывайте...

Первое. Проверить, действительно ли госпожа Гранмэзон... да, жена судовладельца... уехала на автомобиле в Париж.

Второе. Узнать, не появлялся ли у них в доме или в конторе какой-нибудь незнакомый человек.

Да, это просто! Но еще не все. Вы записываете?

Третье. Обойти все гаражи города. Сколько их? Около двадцати?.. Подождите! Меня интересуют только те, которые дают машины напрокат... Начните с района вокзала... Так! Выяснить, не брал ли кто напрокат машину до Парижа, с шофером или без... Узнать, не купил ли кто-нибудь

подержанную машину... Алло! Подождите, черт возьми!.. Возможно, что он оставил в Кане велосипед... Да, это все!.. У вас достаточно полицейских, чтобы проделать все сразу?.. Хорошо, договорились!.. Как только что-нибудь узнаете, звоните мне в «Приют моряка» в Вистреаме.

Конечно, портовики, сидящие за аперитивом в жарко натопленном зале, все слышали. Когда Мегрэ вернулся туда, их лица были серьезны, полны тревоги.

— Вы думаете, что мой велосипед?.. — начал один из шлюзовщиков.

— Грогу! — сухо распорядился Мегрэ.

Это был уже не тот человек, который еще накануне добродушно улыбался и чокался с каждым из них. Сейчас он едва их видел, почти не узнавал...

— «Сен-Мишель» не вернулся из Кана?

— Он заявлен на вечернее шлюзование. Но погода не позволит ему выйти в море.

— Шторм?

— Во всяком случае потреплет прилично! Начинает дуть северный ветер, а он ничего хорошего не обещает. Слышите?..

Напрягая слух, можно было услышать шум волн, ударявших о сваи пирса. Дверь быстро сотрясалась от штормовых порывов ветра.

— Если мне вдруг позвонят, позовите меня. Я буду на дороге в ста метрах отсюда...

— Напротив дома мэра?

На улице Мегрэ с большим трудом раскурил трубку. Тяжелые облака проплывали так низко, что, казалось, задевали вершины тополей, растущих вдоль дороги. На расстоянии пяти метров инспектор Люка, стоявший на стенке, был почти не виден.

— Что нового?

— Они больше не играют. Луи это вдруг надоело и он смешал шашки на доске.

— Что они делают?

— Мэр полулежит в кресле. Луи курит сигары и пьет грог. Разломал уже с десяток сигар. Делает это с ироническим видом, чтобы разозлить мэра.

— Сколько грога он выпил?

— Пять или шесть стаканов...

Мегрэ была видна только узкая светящаяся щель на фасаде. Мимо, по направлению к городку, проехали на

велосипедах каменщики, возвращающиеся с работы. Потом появился какой-то крестьянин на дребезжащей повозке. Угадывая присутствие людей в темноте, он стал погонять лошадь и несколько раз оглянулся.

— А что служанка?

— Ее не видно больше. Наверно, на кухне. Мне еще долго тут стоять?.. В таком случае, хорошо бы принести еще несколько камней, а то приходится стоять на цыпочках...

Мегрэ принес камни. Грохот моря становился все более отчетливым. Волны у берега достигали, должно быть, двух метров высоты и разбивались на песке в белую пену.

В районе порта хлопнула какая-то дверь. Это в бистро. В саду появился силуэт человека, который что-то искал.

Мегрэ рванулся вперед.

— А, это вы... Вас просят к телефону...

Вызывал Кан.

— Алло! Комиссар Мегрэ? Вы угадали! Госпожа Гранмэзон проехала сегодня через Кан, направляясь из Вистреама в Париж. Она оставила дочь дома, на попечение гувернантки. В двенадцать часов она выехала на машине... Насчет незнакомца вы тоже были правы! Достаточно было обратиться в первый же гараж — напротив вокзала... Этот человек приехал на велосипеде и хотел взять напрокат машину без шофера... Ему ответили, что тут этим не занимаются... Человек торопился... Он спросил, нельзя ли тогда по крайней мере купить скоростную машину, желательную подержанную. Ему продали автомобиль за двенадцать тысяч франков, которые он тут же выложил. Желтая машина спортивного типа, с открытым верхом... На ней, как на всех машинах, предназначенных на продажу, написана буква «W»...

— Известно, куда она направилась?

— Человек спрашивался, как проехать в Париж через Лизьё и Эврё.

— Звоните в полицию и жандармерию Лизьё, Эврё и Сен-Жермена. Предупредите Париж, чтобы следили за всеми въездами в город, особенно в районе Майо.

— Машину нужно остановить?

— Да, и арестовать водителя! У вас есть его описание?

— Хозяин гаража говорит, что он довольно высокого роста, средних лет, в светлом элегантном костюме...

— Распоряжение остается в силе: звонить мне в Вистреам, как только...

— Простите, скоро семь часов... После семи телефонной связи с Вистреамом нет... Если только вы обратитесь к мэру...

— Почему?

— Потому что его номер первый и ночью у него прямая связь с Каном.

— Посадите кого-нибудь на коммутатор. Если попросят мэра, надо прослушать разговор... У вас есть машина?

— Да, малолитражка.

— Подойдет, чтобы доставить сюда сообщение. Да, по-прежнему «Приют моряка».

В бистро капитан Делькур отважился на вопрос:

— Это за убийцей погоня?

— Не знаю!

Люди в бистро не могли понять, почему Мегрэ, еще накануне такой сердечный и простой, теперь казался далеким и даже ожесточенным. Он вышел, не объяснив ничего. На улице он снова погрузился в грохот моря и ветра. На мосту, дрожавшем под натиском бури, ему пришлось наглухо застегнуть пальто. У дома капитана Жориса он остановился и, поколебавшись с минуту, приложил глаз к замочной скважине. В глубине коридора он увидел застекленную дверь кухни, в которой горел свет. За стеклом кто-то ходил между плитой и столом.

Мегрэ позвонил. Жюли замерла с блюдцем в руках, потом поставила его на стол, вышла из кухни и направилась к входной двери.

— Кто там? — спросила она с тревогой.

— Комиссар Мегрэ!

Жюли открыла, пропустила его. Глаза у нее еще были красными от слез. Она нервничала и с опаской озиралась вокруг.

— Входите... Я рада, что вы пришли. Если б вы знали, как мне страшно в доме совсем одной! Кажется, не останусь я здесь.

Мегрэ вошел в кухню, как обычно чисто прибранную. На столе, покрытом белой клеенкой, стояла только большая чашка и тарелка с хлебом и маслом... От кастрюли на плите распространялся какой-то сладковатый запах.

— Какао? — удивился он.

— Не хочется готовить для себя одной... Вот и обхожусь чашкой какао...

— Ешьте... Не обращайтесь на меня внимания...

Сначала она смущалась, затем, решившись, наполнила чашку и стала опускать в нее большие куски хлеба с маслом, которые потом ела ложкой, глядя прямо перед собой.

— Ваш брат еще не приходил?

— Нет! Ничего не понимаю... Только что ходила в порт, думала его там встретить. Моряки, если им нечего делать, вечно шатаются в порту...

— Вы знали, что ваш брат дружит с мэром?

Она изумленно посмотрела на комиссара.

— Что вы хотите сказать?

— Сейчас они заняты тем, что играют в шашки.

Жюли подумала, что ее разыгрывают, но когда Мегрэ заверил, что это чистая правда, она растерялась.

— Не понимаю...

— Почему?

— Потому что мэр не так уж прост с людьми. И главное, я знаю, он не любит Луи. Сколько раз он к нему придирался. Хотел даже отнять у него вид на жительство.

— А с капитаном Жорисом?

— Что?

— Господин Гранмэзон дружил с капитаном?

— Как со всеми! Он здоровается за руку, шутит, добавляет два слова о погоде, и это все. Иногда, я уже вам говорила, он брал моего хозяина на охоту... Но это, чтобы не быть одному...

— Вы еще не получили письма от нотариуса?

— Получила! Он мне пишет, что я являюсь единственной наследницей. Но что это, собственно, значит? Правда, что по наследству дом отойдет ко мне?

— Да, как и триста тысяч франков!

Она машинально продолжала есть, потом проговорила:

— Это невозможно... Нелепость... Ведь я же вам говорю — у него никогда не было таких денег!

— Где его место?.. Он обедал на кухне?

— Там, где вы сидите, в плетеном кресле.

— Вы вместе ели?

— Да... Разве что время от времени я шла взглянуть на плиту и подать что-нибудь... За ужином он любил читать газету, иногда вслух.

Мегрэ не был расположен к чувствительности. И все-таки его взволновал безмятежный покой этой обстановки. Казалось, что часы тикают необычайно медленно. Отблеск света от медного маятника отражался на противоположной стене. И этот сладковатый запах какао... При малейшем движении Мегрэ плетеное кресло привычно поскрипывало, так же как и во времена, когда в нем сидел капитан Жорис.

Жюли было страшно в этом доме одной. Но она не решалась уехать. И он понимал: что-то удерживало ее в этом привычном окружении.

Она встала и направилась к двери. Он следил за ней глазами. Жюли впустила белую кошку, которая подошла к миске с молоком, стоявшей у печки.

— Бедная Мину! — сказала она. — Хозяин так любил ее... После ужина Мину забиралась к нему на колени и сидела так, пока он не отправлялся спать...

Какой глубокий покой! В нем даже чувствовалось нечто угрожающее. Тяжелый, до предела напряженный покой!

— Вы действительно ничего мне не хотите сказать, Жюли?

Она подняла на него вопросительный взор.

— Я думаю, что вот-вот открою правду. Любое ваше слово поможет мне! Вот почему я спрашиваю, не хотите ли вы что-нибудь рассказать мне?

— Клянусь вам...

— О капитане Жорисе?

— Ничего!

— О вашем брате?

— Ничего... Клянусь вам...

— О человеке, который, наверное, был в этих местах и которого вы не знаете!

— Не понимаю.

Она продолжала есть свою приторную похлебку, от одного вида которой Мегрэ передергивало.

— Ладно, я ухожу!

Это ее огорчило — снова одиночество. И очень хотелось задать один вопрос:

— Скажите, а похороны... Я думаю, нельзя так долго ждать, ведь труп...

— Он в морге, во льду, — смущенно произнес Мегрэ. Жюли сильно вздрогнула.

— Ты здесь, Люка?

В темноте ничего нельзя было различить. К тому же грохот бури покрывал все другие шумы. В порту люди, каждый на своем месте, ожидали прибытия судна из Глазго, которое, сделав неверный маневр, гудками подавало сигналы у пирса.

— Я здесь.

— Что они делают?

— Едят. Хотел бы я быть на их месте. Креветки, ракушки, омлет и что-то похожее на холодную телятину.

— Они оба за столом?

— Да. И Большой Луи положил локти на стол.

— Они разговаривают?

— Мало. Время от времени губы шевелятся, но, кажется, им не о чем особенно разговаривать.

— Пьют?

— Луи пьет. На столе две бутылки. Дорогое вино. Мэр все время подливает своему гостю.

— Как если бы он хотел его напоить?

— Похоже. Служанка смешно ведет себя. Так боится задеть матроса, что когда ей надо пройти мимо него, она делает крюк, чтобы его обогнуть.

— Никто больше не звонил?

— Нет. А вот Луи сморкается в салфетку, встает. Подождите. Он идет за сигарой. Коробка — на камине. Он протягивает ее мэру, который отказывается, покачивая головой. Служанка несет сыр. — И инспектор Люка добавил жалобно: — Хоть бы сесть на что-нибудь! У меня замерзли ноги. Шевельнуться боюсь, чтобы как-нибудь не грохнуться.

Этого было мало, чтобы разжалобить Мегрэ: он и сам не раз бывал в такой ситуации.

— Я сейчас принесу тебе поесть и выпить.

Ужин был накрыт в гостинице «Универсаль», но Мегрэ обошелся куском хлеба с паштетом, который он проглотил стоя. Своему коллеге он приготовил бутерброд и захватил остаток бордоского вина.

— А я-то сделал для вас такой буйабес¹, какого вы не отведаете даже в Марселе! — сокрушался хозяин.

¹ Б у и а б е с — рыбный суп с чесноком и пряностями, распространенный на юге Франции.

Но ничто не могло удержать Мегрэ. Вернувшись к стене, он в десятый раз задал все тот же вопрос:

— Что они делают?

— Служанка убрала со стола. Судовладелец в своем кресле курит сигарету за сигаретой. По-моему, Луи засыпает. Сигара у него все еще во рту, но дыма не видно.

— Что ему дали выпить?

— Полный стакан из бутылки, которая стояла на камине.

— Арманьяк, — вспомнил Мегрэ.

— Смотрите-ка! На третьем этаже зажегся свет. Наверное, служанка ложится спать. Мэр встает. Он...

Какие-то голоса, там, у бистро. Шум мотора. Едва различимые слова:

— В ста метрах? В доме?

— Нет... Прямо напротив.

Мегрэ пошел навстречу машине. Он остановил ее довольно далеко от виллы, чтобы не спугнуть мэра. В машине сидели несколько человек в полицейских мундирах.

— Какие новости?

— Из Эврё сообщили, что человек в желтой машине арестован.

— Кто он?

— Подождите! Он протестует! Грозится вызвать посла.

— Иностранец?

— Норвежец. Нам сказали по телефону его фамилию, но было трудно разобрать: Мартино или Мотино... Его документы в порядке. Жандармы спрашивают, что им делать...

— Везти его сюда, вместе с желтой машиной... Кто-нибудь из жандармов наверняка умеет водить. Следуйте в Кан... Попытайтесь узнать, где обычно останавливается госпожа Гранмэзон, когда приезжает в Париж...

— Нам это уже сообщили: в гостинице «Лютеция», на бульваре Распай...

— Позвоните туда из Кана и узнайте, приехала ли она и что делает. Это не все! Если она там, обратитесь от моего имени в уголовную полицию и попросите установить за ней наблюдение. Но пусть действуют осторожно!..

Машина в три приема развернулась на узкой дороге. Мегрэ снова подошел к Люка, но тот уже спускался со стены.

— Что ты делаешь?
— А не на что больше смотреть.
— Они разошлись?
— Нет, но мэр подошел к окну и наглухо задернул шторы...

В ста метрах виднелось судно из Глазго, медленно входившее в шлюз. Раздавались команды на английском языке. Порыв ветра сорвал шляпу с головы комиссара. Окно третьего этажа вдруг погасло. Теперь весь фасад виллы погрузился в темноту.

VIII. МЭР ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Мегрэ стоял посреди дороги, засунув руки в карманы и нахмутив брови.

— Вы чем-то встревожены? — спросил Люка, который хорошо знал своего шефа.

Да и сам он был встревожен, судя по тому, как мрачно он рассматривал стоящую перед ним виллу.

— Нам следовало бы находиться там, внутри, — пробормотал комиссар, всматриваясь в каждое окно.

Все они были заперты. Никакой возможности проникнуть в дом. Мегрэ бесшумно подошел к двери, наклонил голову, чтобы послушать. Он знаком приказал Люка молчать. И оба прильнули ухом к дубовым створкам двери. Голосов не было слышно. Но в кабинете раздавалось топтание ног и глухой, размеренный стук. Неужели они дрались? Мало вероятно: удары не были бы такими размеренными. Два человека, которые дерутся, передвигаются туда-сюда, толкают друг друга, натыкаются на мебель, и удары сыпятся то чаще, то реже.

А тут как будто сваи забивали. Можно было даже уловить тяжелое дыхание того, кто наносил удары. И контрапунктом — глухое хрипение.

Мегрэ встретился взглядом с инспектором. Комиссар показал рукой на замочную скважину, и Люка понял, вытаскивал из кармана набор отмычек.

— Тихо!

Внутри дома наступила тяжелая, тревожная тишина. Ни ударов, ни шагов. Разве что — едва уловимо — хриплое дыхание человека, теряющего последние силы.

Люка дал знак и открыл дверь. Слева, из кабинета, пробивался свет. Мегрэ с досадой пожал плечами. Он превышал свои полномочия, значительно превышал, тем более в доме у официального лица, человека такого щепетильного, как мэр Вистреама.

— Ну, да ладно!

Из коридора он отчетливо слышал дыхание, но только одного человека. Никакого движения. Люка нащупал в кармане револьвер. Одним толчком Мегрэ распахнул дверь. Он остановился, в крайнем смущении и растерянности. Быть может, он ожидал увидеть новую драму? Но это было нечто другое! В высшей степени ошеломляющее. Господин Гранмэзон стоял с разбитой губой и подбородком, залитым кровью. Его халат, растрепанные волосы, отупелое выражение лица придавали ему вид боксера, поднимающегося после нокаута. Едва держась на ногах, он опирался о камин, так сильно наклонившись назад, что только чудом не падал. В двух шагах от него стоял растрепанный Большой Луи. На его еще сжатых кулаках виднелась кровь — кровь мэра!

Значит, в коридоре они слышали шумное дыхание Большого Луи! Это он так запыхался, избивая мэра! От него сильно пахло спиртным. На столе валялись стаканы.

Полицейские были настолько ошеломлены, а мэр и Большой Луи так отупели, что прошло некоторое время, прежде чем они заговорили.

Господин Гранмэзон вытер губу и подбородок полый халата и, сляясь удержаться на ногах, пролепетал:

— Что же это... Что же?..

— Прошу извинить меня за то, что вошел в дом, — вежливо сказал Мегрэ. — Я услышал шум... Дверь была не заперта.

— Это ложь!

Мэр собрался с силами, чтобы произнести это слово.

— Во всяком случае, я лщу себя мыслью, что пришел вовремя, чтобы защитить вас.

Мегрэ взглянул на Большого Луи, который ничуть не казался смущенным и теперь даже как-то странно улыбался, пристально следя за мэром.

— Я не нуждаюсь в защите.

— Однако этот человек напал на вас.

Стоя перед зеркалом, господин Гранмэзон кое-как

приводил себя в порядок и нервничал, видя, что кровь на лице не останавливается. Он являл собой причудливое, потрясающее сочетание силы и слабости, уверенности и вялости. Заплывший глаз, ссадины и раны лишали его лица обычной кукольной гладкости. Оно посерело.

С неожиданной быстротой он вновь принял самоуверенный вид и повел атаку на полицейских:

— Я имею все основания предполагать, что вы взломали дверь моего дома...

— Простите! Мы хотели прийти вам на помощь.

— Ложь! Вы не могли знать, что я подвергался какой-либо опасности. И я ей не подвергался!

Он нарочито отчеканил последние слова.

Мегрэ смерил глазами внушительную фигуру Большого Луи.

— Надеюсь, однако, что вы разрешите мне забрать с собой этого господина.

— Ни в коем случае!

— Он вас избил. И притом так жестоко...

— Мы объяснились! Это никого не касается.

— У меня есть все основания думать, что вы, несколько поспешно спускаясь сегодня утром по лестнице, упали именно на него...

Нужно было бы сфотографировать улыбку Большого Луи: он просто ликовал. Стараясь отдышаться, он в то же время наблюдал за тем, что происходило вокруг него. Последняя сцена, казалось, доставила ему особенное удовольствие. Он наслаждался ею. Вероятно, ему были известны тайные пружины происходящего.

— Я уже говорил вам, господин Мегрэ, что и я со своей стороны предпринял расследование. Я не вмешиваюсь в ваши дела, соблаговолите и вы не вмешиваться в мои... И не удивляйтесь, если я подам в суд на вас за нарушение неприкосновенности жилища со взломом.

Трудно сказать, чего больше было в этой сцене: комического или трагического. Мэр хотел казаться важным, держался очень прямо, но губа у него кровоточила, лицо представляло собой сплошной синяк, халат был помят. Присутствие Большого Луи, вероятно, подстегивало его.

Нетрудно было восстановить события: каторжник, очевидно, наносил удары с близкого расстояния и с такой силой, что в конце концов не мог уже больше поднять кулак.

— Прошу прощения, господин мэ́р, но я не могу сейчас уйти. Поскольку вы — единственный человек в Вистреаме, у которого ночью работает телефон, я позволил себе дать ваш номер, так как мне должны звонить.

Вместо ответа Гранмэзон сухо сказал:

— Закройте дверь!

Действительно, дверь оставалась открытой. Мэр взял одну из сигар, рассыпанных на камине, хотел закурить ее, но прикосновение табака к раненой губе было, очевидно, болезненным, потому что он нетерпеливо бросил сигару.

— Будь добр, соедини́сь с Каном, Люка.

Мегрэ переводил взгляд с мэра на Большого Луи. Мысли стремительно проносились в его голове. Так, например, господин Гранмэзон, на первый взгляд, должен был казаться поверженным, слабым не только физически, но и морально: он был избит, его застали в самом унижительном положении. Так нет же! За несколько минут он оправился, ему удалось вернуть себе хоть отчасти свою респектабельность. Он казался почти спокойным, взгляд его был надменным.

Роль Большого Луи была проще: он взял верх, у него не было ни единой царапины. Еще недавно его трудноописуемая улыбка выражала почти детскую радость. А теперь он чувствовал себя неловко, не знал, что делать, куда встать, на что смотреть.

Мегрэ задавался вопросом: «Если предположить, что один из них — главный в этом деле, то который?» — и не знал, что ответить. Временами казалось — Гранмэзон, временами — Луи.

— Алло! Полиция Кана? Комиссар Мегрэ просит передать вам, что он будет находиться всю ночь в доме мэра... Да... Звоните по номеру один... Алло! Какие новости? Уже в Лизьё?.. Спасибо. Да.

Обращаясь к шефу, Люка сказал:

— Машина только что проехала через Лизьё. Они будут здесь через сорок пять минут.

— Если я не ошибаюсь, вы сказали... — начал мэр.

— Что я останусь тут всю ночь? Да! С вашего позволения, разумеется... Уже два раза вы мне начинали говорить о вашем собственном расследовании. Я думаю, лучше всего будет, если вы позволите, объединить результаты, которые мы получили таким образом.

Мегрэ не иронизировал. Он был зол. Зол на невероят-

ную ситуацию, в которую попал. Зол, потому что ничего не понимал.

— Объясните мне, пожалуйста, Луи, почему, когда мы вошли, вы... хм... наносили удары господину мэру?

Но Большой Луи не отвечал, глядя на мэра и как бы предлагая: «Вам говорить!»

Господин Гранмэзон произнес сухо:

— Это мое личное дело.

— Конечно! Каждый имеет право быть избитым, если ему это нравится, — проворчал вконец рассерженный Мегрэ. — Люка, попросите гостиницу «Лютеция».

Удар достиг цели. Господин Гранмэзон открыл рот, желая что-то сказать. Его рука сжала мраморную доску камина.

Люка говорил по телефону:

— Подождать три минуты?... Спасибо... Да...

Мегрэ громко произнес:

— Вы не находите, что расследование принимает пре-
странный оборот? Кстати, господин Гранмэзон, вы могли бы мне оказать услугу. Вы — судовладелец и, должно быть, знакомы с людьми из разных стран. Не слышали ли вы о некоем... подождите, как его... некоем Мартино... или Мотино из Бергена или Тронхейма. Словом, какой-то норвежец...

Молчание. Лицо Большого Луи стало суровым. Он машинально налил себе вина в один из опрокинутых на столе стаканов.

— Жаль, что вы с ним незнакомы. Он сейчас приедет.

Все! Можно было больше ни о чем не спрашивать: никто не ответит ни слова! Никто и не вздрогнет. Об этом говорила поза мэра. Господин Гранмэзон переменял тактику. Продолжая стоять, прислонившись к камину, перед углями, которые жгли ему ноги, он смотрел в пол с самым безразличным видом. Странное лицо! Размытые черты, с подтеками и синяками, кровь на подбородке. Смесь решительности и не то паники, не то страдания.

Тем временем Большой Луи уселся верхом на стуле. Зевнув несколько раз, он задремал.

Зазвонил телефон. Мегрэ быстро снял трубку.

— Алло! Гостиница «Лютеция»? Алло! Не вешайте трубку... Соедините меня с госпожой Гранмэзон. Да... Она должна была приехать сегодня после обеда или вечером... Да, я жду.

— Я надеюсь, — тусклым голосом начал мэр, — вы не собираетесь впутывать мою жену в ваши по меньшей мере странные действия?

Ни слова в ответ. Мегрэ ждал, прижав к уху трубку и уставившись на скатерть перед собой.

— Алло! Да... Как вы говорите? Она уже уехала в обратном направлении?.. Минуточку, давайте по порядку. В котором часу приехала госпожа Гранмэзон? В семь часов... Очень хорошо. На своей машине с шофером... Вы говорите, она поужинала в гостинице и потом ее позвали к телефону... Она уехала сразу же после звонка?.. Спасибо. Нет, этого достаточно.

Никто не шевелился. Господин Гранмэзон казался более спокойным. Мегрэ повесил трубку и снова снял ее:

— Алло! Почтовое отделение Кана? С вами говорят из полиции. Скажите, абонент, от которого я вам звоню, заказывал переговоры с Парижем, еще до моего звонка? Да? С четверть часа тому назад? Просил соединить с гостиницей «Лютеция», да? Благодарю вас...

На лбу у Мегрэ блеснули капельки пота. Указательным пальцем он медленно набил трубку, потом налил себе вина в один из двух стаканов, стоявших на столе.

— Я полагаю, комиссар, вы отдаете себе отчет в том, что все ваши действия в настоящий момент противозаконны. Вы проникли в дом, взломав дверь. Вы остаетесь здесь без приглашения. Вы решаетесь сеять панику в моей семье. И наконец, в присутствии постороннего, вы обращаетесь со мной как с преступником. Вы ответите за все это.

— Хорошо!

— И поскольку я уже не хозяин в собственном доме, прошу вашего разрешения отправиться спать.

— Нет!

Мегрэ уже прислушивался к отдаленному шуму мотора.

— Пойди открой им, Люка.

Он машинально бросил в огонь лопатку угля и повернулся к двери как раз в тот момент, когда в комнату входили новые люди.

Между двумя жандармами из Эврё шел мужчина в наручниках.

— Оставьте нас, — сказал Мегрэ жандармам. — Идите в портовое бистро и ждите меня, если понадобится, всю ночь.

Ни мэ́р, ни Большо́й Луи не двинулись с места. Можно было подумать, что они ничего не видели или ничего не хотели видеть. Со своей стороны человек в наручниках сохранял полное спокойствие. При виде распухшего лица мэра он едва заметнó улынулся.

— К кому я должен обратиться? — спросил он, оглядывая присутствующих. Мегрэ пожал плечами как бы для того, чтобы показать, что жандармы явно перестарались, вынул из кармана маленький ключ и разомкнул наручники.

— Благодарю вас... Я был так удивлен...

Мегрэ с негодованием перебил:

— Удивлены чем? Тем, что вас арестовали? Вы уверены, что это вас так сильно удивило?

— То есть я жду, когда мне наконец скажут, в чем моя вина.

— Да хотя бы в краже велосипеда!

— Простите, но я взял его взаймы! Хозяин гаража, где я купил машину, может это подтвердить. Велосипед я оставил в гараже и просил хозяина переправить его в Вистреам, а также заплатить владельцу за причиненный ущерб.

— Так, так! А ведь вы не норвежец!..

Незнакомец говорил без акцента, да и внешне отнюдь не походил на типичного скандинава. Он был высокого роста, хорошо сложен и еще молод. Его элегантный костюм был немного помят.

— Прошу прощения! Я не норвежец по происхождению, но имею норвежское подданство...

— Вы живете в Бергене?

— В Тромсё, на Лофотенских островах.

— Вы коммерсант?

— У меня фабрика по переработке отходов трески.

— Таких, как икра, например?

— Икра и прочее. Из голов и печени делаем рыбий жир, из костей — удобрения...

— Прекрасно! Просто прекрасно! Остается только выяснить, что вы делали в Вистреаме в ночь с шестнадцатого на семнадцатое сентября...

Незнакомец не смутился, медленно огляделся вокруг и сказал:

— Меня не было в Вистреаме.

— Где же вы были?

— А вы?

Улыбнувшись, он поправился:

— Я хочу сказать: смогли бы вы сами, так вдруг, сказать, что вы делали в такой-то день и час, когда прошло уже более месяца?

— Вы находились в Норвегии?

— Возможно.

— Держите!

И Мегрэ протянул собеседнику золотую авторучку, которую норвежец, поблагодарив, преспокойно положил в карман.

Честное слово, красивый мужчина! Примерно одного возраста и роста, что и мэр, но стройнее, мускулистее. Его темные глаза выражали напряженную внутреннюю жизнь. Улыбка тонких губ говорила о большой уверенности в себе.

Он вежливо отвечал на вопросы комиссара.

— Думаю, — сказал он, — что произошла ошибка, и я был бы счастлив продолжить свой путь в Париж.

— Это уже другой вопрос. Где вы познакомились с Большим Луи?

Вопреки ожиданию Мегрэ, незнакомец не посмотрел на матроса.

— Большой Луи? — повторил он.

— Вы познакомились с капитаном Жорисом, когда он еще плавал?

— Простите, я не понимаю.

— Ну конечно! А если я спрошу вас, почему вы предпочли провести ночь на борту заброшенной драги, а не в гостинице, вы тоже посмотрите на меня круглыми глазами.

— О да. Согласитесь, что на моем месте...

— И однако вчера вы прибыли в Вистреам на борту «Сен-Мишеля». При входе в порт вы пересели со шхуны в лодку. Вы направились на драгу и провели там ночь. Сегодня после обеда вы обошли виллу, в которой мы сейчас находимся, потом взяли велосипед и отправились в Кан. Купили машину. Выехали в Париж. В гостинице «Лютеция» вы должны были встретиться с госпожой Гранмэзон? В таком случае, нет смысла никуда уезжать. Или я сильно ошибаюсь, или она будет здесь сегодня ночью.

Молчание. Мэр превратился в статую, а взгляд его был

столь неподвижен, что в нем не чувствовалось никакой жизни. Большой Луи почесывал в затылке и зевал, продолжая сидеть посреди стоящих.

— Вас зовут Марино?

— Да, Жан Марино.

— Ну так вот, господин Жан Марино, поразмыслите! Действительно ли вам нечего мне сказать? Очень возможно, что один из здесь присутствующих скоро предстанет перед судом.

— Мне не только нечего вам сказать, но я прошу у вас разрешения предупредить норвежского консула, чтобы он принял необходимые меры.

И этот туда же! Господин Гранмэзон грозил уже подать жалобу, теперь и Марино собирался сделать то же самое! Только Большой Луи никому не угрожал, готовый принять любую ситуацию, когда есть что выпить.

Снаружи доносился грохот шторма, который с приливом достиг своей высшей точки.

Выражение лица Люка было очень красноречиво. Без всякого сомнения, он думал: «Ну и попали же мы в переделку! Хоть что-нибудь обнаружилось бы!»

Мегрэ ходил по комнате, сердито затягиваясь трубкой.

— В общем, вы ничего не знаете, ни тот, ни другой, по поводу злоключений и смерти капитана Жориса?

Отрицательное покачивание головой, молчание. Вгляд Мегрэ то и дело останавливался на Марино.

В этот момент снаружи слышались быстрые шаги и стук в дверь. Люка, поколебавшись, пошел открывать. Вбежала запыхавшаяся Жюли и, еле переводя дыхание, проговорила:

— Комиссар, мой брат...

Она тут же удивленно замолчала, увидев перед собой гигантскую фигуру поднявшегося со стула Большого Луи.

— Ваш брат?.. — переспросил Мегрэ.

— Ничего... Я...

Она попыталась улыбнуться, все еще тяжело дыша. Пятясь к двери, она наткнулась на Марино, повернулась к нему и прошептала:

— Извините, мсье.

Было ясно, что она не знакома с ним.

Через оставленную открытой дверь в дом врвался ветер.

IX. ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

Жюли торопилась все рассказать.

— Я была дома совсем одна... Мне было страшно... Легла спать, не раздеваясь. Вдруг в дверь сильно постучали... Пришел Ланнек, капитан на шхуне брата...

— «Сен-Мишель» пришел?

— Он стоял в шлюзе, когда я подошла. Ланнек хотел срочно видеть моего брата. Кажется, они торопятся отплыть. Я ему сказала, что Луи даже не заходил ко мне... И расстроилась из-за него, потому что он бормотал что-то странное, что — я не поняла.

— А почему вы пришли сюда? — спросил Мегрэ.

— Я хотела знать, нет ли какой опасности для Луи... Ланнек мне сказал, что опасность есть и что, возможно, уже ничем не поможешь. А в порту мне сказали, что вы здесь...

Уставившись с недовольным видом в пол, Большой Луи пожал плечами, как бы говоря, что женщины часто волнуются по пустякам.

— Вам грозит опасность? — спросил Мегрэ, пытаясь поймать его взгляд.

Большой Луи рассмеялся. Смех его был деланным, еще более идиотским чем обычно.

— Чем встревожен Ланнек?

— А я почему знаю?

Оглядев собравшихся, Мегрэ задумчиво произнес:

— В общем, вы ничего не знаете! И все находитесь в одинаковом положении. Вы, господин мэр, не знакомы с господином Мартино и не знаете, почему Большой Луи, которого вы принимаете как доброго знакомого, играете с ним в шашки, кормите и поите, вдруг принимается бить вас по лицу кулаками...

Ни слова в ответ.

— Мало того! Вы считаете такое обращение с вами естественным! Не защищаетесь! Отказываетесь подать жалобу! Вы даже неставляете Большого Луи за дверь...

И, обращаясь к Большому Луи:

— Вы тоже ничего не знаете! Вы проводите ночь на драге, но кто там находится вместе с вами — вам неизвестно... Вас принимают в этом доме, а за гостеприимство вы платите хозяину отменными тумаками... И тоже не встречались с господином Мартино...

Никто даже не вздрогнул. Все упрямо рассматривали узоры на скатерти.

— И вы, господин Мартино, тоже знаете не больше других. Вам хоть известно, на чем вы прибыли из Норвегии во Францию? Нет!.. Мягкой постели в гостинице вы предпочитаете кушетку на борту заброшенной драги... Вы уезжаете на велосипеде, затем покупаете машину, чтобы ехать в Париж... Но вы ничего не знаете! Вы не знакомы ни с господином Гранмэзоном, ни с Луи, ни с капитаном Жорисом... Ну а вы, Жюли, конечно же, знаете обо всем этом еще меньше других...

Мегрэ обескураженно взглянул на Люка. Тот понял: не приходилось и думать, чтобы арестовать их всех подряд. Каждый из них вел себя странно, лгал и противоречил самому себе, но не оставлял ни одной настоящей улики.

Часы показывали одиннадцать вечера. Мегрэ выбил трубку в камин и сказал ворчливо:

— Я вынужден просить всех вас оставаться в распоряжении правосудия. Мне, несомненно, придется еще задать вам несколько вопросов, несмотря на ваше неведение... Я полагаю, господин мэр, что вы не имеете намерения покинуть Вистреам?

— Нет!

— Благодарю вас... Вы, господин Мартино, могли бы снять номер в гостинице «Универсаль», где остановился и я.

Норвежец поклонился.

— Люка, проводи господина в гостиницу...

Затем, обращаясь к Большому Луи и Жюли:

— Вы оба идите за мной...

Он вышел, отпустил двух ожидавших его жандармов, увидел, как Люка и Мартино сворачивают в сторону гостиницы, где хозяин ждал, не ложился спать.

Жюли ушла из дому без пальто. Ее брат, видя, что она дрожит от холода, снял куртку и насильно надел ее на плечи девушки. Из-за ветра было трудно говорить. Приходилось идти согнувшись. В ушах беспрестанно свистел ветер, ледяной воздух обжигал лицо, так что векам было больно. Подойдя к порту, они увидели свет в окнах бистро. В перерыве между шлюзованиями портовики еще шли сюда, пили горячий грог, стучали ногой об ногу. Все лица повернулись в сторону троицы, шагающей против ветра по направлению к мосту.



— Это «Сен-Мишель»? — спросил Мегрэ при виде парусника, выходящего из шлюза в порт. Он показался Мегрэ гораздо более высоким, чем в первый раз.

— Без балласта! — проворчал матрос.

Он хотел сказать, что «Сен-Мишель» выгрузился в Кане и плыл налегке с тем, чтобы взять новый груз.

Они подходили к домику Жориса, когда к ним приблизилась чья-то тень. Чтобы узнать друг друга, нужно было встать лицом к лицу. Подошедший не очень уверенно сказал Большому Луи:

— А, вот и ты... Поторопись, отплываем...

Мегрэ посмотрел на низкорослого капитана-бретонца, потом на море, которое с беспрестанным грохотом кидалось на приступ пирсов. Небо, усеянное бегущими тучами, выглядело тревожно.

«Сен-Мишель» стоял на якоре у свай, в полной темноте, если не считать маленькой лампочки, горевшей над рубкой.

— Вы хотите отплыть? — спросил комиссар.

— Да, черт возьми!

— Куда держите курс?

— В Ларошель, загрузим вино.

— Большой Луи вам действительно необходим?

— А вы думаете, можно справиться вдвоем в такую погоду?

Жюли замерзла. Она слушала разговор, переступая с ноги на ногу. Ее брат посмотрел сначала на Мегрэ, потом на судно, где уже скрипели шкивы.

— Подождите меня на шхуне, — сказал Мегрэ Ланнеку.

— Только...

— Что?

— Через два часа вода спадет, и нам не выйти в море...

В его глазах промелькнуло смутное беспокойство. Было видно, что он не в своей тарелке. Он переминался с ноги на ногу и не мог ни на чем сосредоточить свой взгляд.

— Мне нужно зарабатывать на жизнь!

Ланнек и Луи переглянулись, и Мегрэ понял значение этого взгляда. Иной раз на интуицию можно вполне положиться. Взгляд капитана, казалось, выражал нетерпение: «Судно рядом... Остается отдать один швартов... Двинь полицейскому — и порядок!»

Большой Луи, поколебавшись, мрачно посмотрел на сестру, мотнул головой.

— Ждите меня на судне! — повторил Мегрэ.

— Но...

Он не ответил и подал знак брату и сестре следовать за ним в дом.

Они сидели втроем в кухне капитана Жориса, где в железной печке уютно горел огонь. Тяга была такой сильной, что гудение пламени иногда переходило в оглушительный грохот. Мегрэ впервые видел брата и сестру вместе.

— Дай нам что-нибудь выпить, — сказал комиссар Жюли, и девушка достала из шкафа графин с кальвадосом и разрисованные стаканы.

Мегрэ чувствовал, что сейчас он был лишним. Жюли дорого бы заплатила, чтобы остаться с братом наедине. Тот следил за ней глазами, в которых угадывалась любовь и какая-то неуклюжая нежность. Как настоящая хозяйка, Жюли, налив мужчинам, осталась стоять и подложила угля в печку.

— Светлая память капитану... — сказал Мегрэ.

Потом наступило долгое молчание, которое Мегрэ нарочно выдерживал. Это давало каждому из них возможность проникнуться теплой, спокойной атмосферой кухни. Мало-помалу гудение печки, сопровождаемое размеренным тиканьем часов, стало звучать как мелодия. После уличного ветра и холода щеки покраснелись, зрачки начали блестеть. Воздух наполнился острым запахом кальвадоса.

— Капитан Жорис... — задумчиво повторил Мегрэ. — Сейчас я сижу на его месте, в его кресле... Плетеное кресло, скрипящее при каждом движении... Если бы он был жив, то вернулся бы теперь из порта и, вероятно, тоже попросил бы немного спиртного, чтобы согреться... Ведь так, Жюли?..

Она широко раскрыла глаза, потом отвернулась.

— Он не сразу бы пошел спать... Держу пари, что он снял бы обувь... Вы принесли бы ему тапки... Он сказал бы вам: «Мерзкая погода... А все-таки «Сен-Мишель» решил выйти в море, да поможет ему бог...»

— Откуда вы знаете?

— Что?

— Что он говорил «да поможет ему бог»... Он именно так и говорил!..

Она была взволнована и смотрела на Мегрэ с признательностью. Большой Луи сгорбил спину.

— Больше он этого не скажет... Он был счастлив... У него был красивый дом, сад с цветами, которые он любил, сбережения. Казалось, все его любят... И все-таки кто-то положил этому конец, бросив немного белого порошка в стакан с водой...

Лицо Жюли сморщилось. Она прилагала отчаянные усилия, чтобы не расплакаться.

— Немного белого порошка, и все! А тот, кто это сделал, будет жить счастливо — ведь никому не известно, кто он!

Вероятно, он только что был среди нас...

— Молчите! — попросила Жюли, умоляюще сложив руки. Слезы текли по ее лицу.

Но комиссар знал, что делает. Он продолжал тихо говорить, медленно произнося слово за словом. Игрой это было трудно назвать, он сам отдался ей. Отдался действию этой щемящей душу атмосферы, в которой он тоже мысленно рисовал приземистую фигуру начальника порта.

— У покойного Жориса только один друг — я! Человек, который бьется в одиночестве, чтобы узнать правду, чтобы помешать убийце Жориса быть счастливым.

Соппротивление было сломлено. Жюли рыдала. Мегрэ продолжал:

— Все вокруг молчат, все лгут, так что невольно подумаешь, что все в чем-то виноваты, все замешаны в преступлении.

— Это неправда! — крикнула Жюли.

Большой Луи, которому становилось все больше не по себе, снова наполнил оба стакана.

— Большой Луи первый молчит.

Жюли посмотрела сквозь слезы на брата, словно пораженная правотой этих слов.

— А он ведь кое-что знает... И немало знает... Может, он боится убийцы?.. Может, ему есть чего бояться?..

— Луи! — крикнула Жюли.

Луи глядел в сторону с суровым выражением лица.

— Скажи, что это неправда, Луи! Ты слышишь?

— Не знаю я, чего комиссар...

Ему не сиделось на месте, он встал.

— Луи лжет больше других. Он уверяет, что незнаком с норвежцем, а сам его знает! Говорит, что не имеет дел

с мэром, а я застаю его в доме мэра, когда он избивает хозяйина...

На губах каторжника появилась еле заметная улыбка. Но Жюли иначе оценивала события.

— Это правда, Луи?

И поскольку он не отвечал, она схватила его за руку.

— Тогда почему ты не говоришь правду?.. Ты ничего плохого не сделал, я в этом уверена!..

Он высвободил руку, смущенный и, вероятно, готовый сдаться. Мегрэ не дал ему времени опомниться.

— Хватило бы, возможно, одной маленькой детали, крохотной правды, чтобы рухнула вся эта башня лжи...

Но нет! Несмотря на умоляющий взгляд сестры, Луи встряхнулся, как великан, сбрасывающий с себя мелких, но злобных врагов.

— Ничего я не знаю...

Чувствуя что-то неладное, Жюли строго спросила:

— Почему ты молчишь?

— Не знаю я ничего!

— Комиссар говорит...

— Не знаю я ничего!

— Послушай, Луи! Я всегда верила тебе, ты знаешь! Я тебя защищала даже перед капитаном Жорисом...

Произнеся последние слова, она поняла свою оплошность, покраснела и поспешила заговорить о другом:

— Ты должен сказать правду! Я больше так не могу! И не останусь одна больше в этом доме...

— Помолчи! — выдохнул Луи.

— Что он должен вам сказать, комиссар?

— Две вещи. Во-первых, кто такой Мартино. Во-вторых, почему мэр позволяет себя избивать...

— Ты слышишь, Луи? Ведь это нетрудно.

— Я ничего не знаю...

Она начинала злиться:

— Берегись, Луи! Я же могу подумать, что...

Огонь в печке продолжал гудеть. Медленно тикали часы, в медном маятнике отражался свет лампы.

Луи казался слишком громоздким, слишком мощным, слишком грубым в этой чистенькой кухонке скромного рантье. Он сидел, свесив голову набок и перекосив плечи, и не знал, куда девать свои руки, на чем остановить свой бегающий взгляд.

— Так говори же!

— Да что я скажу!..

Он хотел налить себе еще, но Жюли схватила графин.

— Хватит! Опять напьешься!

Жюли находилась в состоянии болезненной нервозности. Она смутно чувствовала драматизм момента и цеплялась за надежду, что все станет ясно с одного слова.

— Луи... этот человек, норвежец... это он должен был купить «Сен-Мишель» и стать твоим хозяином?

Ответ был категоричен:

— Нет!

— Тогда кто он? Его никогда не видели у нас. Иностранцы сюда не приезжают...

— Не знаю...

Она продолжала настаивать, с чисто женским чутьем находя нужные слова.

— Мэр же тебя терпеть не мог... Правда, что ты ужинал у него сегодня вечером?

— Правда...

Она задрожала от нетерпения.

— Но тогда скажи мне хоть что-нибудь! Это необходимо. Или я подумаю, что ты...

Жюли не договорила. Она была ужасно несчастна. Она смотрела на плетеное кресло, на печку, на часы, на вазу, разрисованную цветами.

— Ты хорошо относился к капитану, я знаю! Ты сто раз это говорил, и если вы поссорились, то...

Это нужно было объяснить.

— Не подумайте чего-нибудь такого, господин комиссар! Мой брат любил капитана Жориса, и тот его тоже любил... Вот только... Но неважно!... Луи не справиться с собой, когда у него заводятся деньги — он сразу все спускает... Капитан знал, что иногда он берет у меня деньги, и выговаривал ему за это... Вот и все! И если в конце концов капитан запретил ему приходить сюда, то потому, чтобы он больше не брал у меня денег. Но мне капитан говорил, что, в сущности, Луи — хороший парень, правда, с одним недостатком — слаб характером...

— А Луи, наверно, знал, — медленно сказал Мегрэ, — что умри Жорис и вы получили бы триста тысяч в наследство!

Все произошло так стремительно, что комиссар чуть было не оказался на полу. Луи навалился на него, пытаясь схватить за горло. Жюли пронзительно закричала.

Комиссару удалось схватить на лету руку Луи. Медленным, но сильным движением он вывернул ее матросу за спину и прогремел:

— Убери лапы!

Жюли, прижавшись к стене и закрыв лицо руками, рыдала, издавая слабые безутешные крики.

— Боже мой! Боже мой!

— Будешь ты говорить, Луи? — отчеканил Мегрэ, выпуская руку бывшего каторжника.

— Мне нечего сказать.

— А если я тебя арестую?

— Ну и что!

— Следуй за мной.

Жюли воскликнула:

— Господин комиссар, умоляю вас! Луи, говори ради бога!

Они стояли уже у застекленной двери кухни. Большой Луи обернулся. На багровом лице блестели глаза. Он строил немыслимую гримасу и протянул руку к плечу сестры.

— Лили, клянусь тебе...

— Оставь меня!

Поколебавшись, он шагнул в коридор, обернулся еще раз.

— Послушай...

— Нет! Нет! Убирайся!

Луи потащился за Мегрэ, остановился на пороге, хотел обернуться, но пересилил себя. Дверь за ними закрылась. Они не прошли и нескольких метров под шквальным ветром, как дверь открылась и на пороге появился четкий силуэт девушки. Она позвала:

— Луи!

Слишком поздно. Мужчины уже шагали в темноте. Порыв ветра с дождем вымочил их в несколько секунд. Ничего не было видно, даже стенок шлюза. Однако из темноты над ними раздался голос:

— Это ты, Луи?

Говорил Ланнек, с борта шхуны. Он услышал шаги и высунул голову из люка. Должно быть, он понял, что матрос шел не один, потому что быстро произнес по-бретонски:

— Прыгай на бак и смываемся.

Мегрэ понял, но ждал, не видя в темноте, где начина-

ется и где кончается шхуна. Он неясно видел лишь массивную фигуру Луи, его мокрые плечи, блестевшие под дождем.

Х. ТРОЕ СО ШХУНЫ

Большой Луи взглянул на море, превратившееся в черную дыру, потом украдкой на Мегрэ, пожал плечами и буркнул, обращаясь к комиссару:

— Подниметесь на борт?

Мегрэ заметил, что Ланнек держит что-то в руках: это был конец швартова. Он проследил глазами и увидел, как трос скользит по береговому кнехту, возвращаясь на судно. Значит, трос был просто наброшен на кнехт, а оба конца его закреплены на палубе. Это позволяло экипажу «Сен-Мишеля» отдать швартовы, не спускаясь на берег. Комиссар ничего не сказал. Он знал, что в порту никого не было. Жюли, должно быть, рыдала в своей кухне, в трехстах метрах отсюда, а кроме нее ближе всего к судну находились сидящие в тепле быстро портовики. Он ступил на стрингер, соскочил на палубу. Луи последовал за ним. Несмотря на волнорезы, море в порту было беспокойным, и «Сен-Мишель» поднимался и опускался на волнах, как бы подчиняясь мощному дыханию.

В черноте ночи виднелись лишь слабые желтые отблески на мокрых предметах. На носу судна маячил неясный силуэт: капитан, удивленно смотревший на Луи. На нем были высокие резиновые сапоги, непромокаемый плащ, зюйдвестка. Он не выпускал из рук каната. Трое со шхуны наблюдали за Мегрэ, таким странным среди них в своем пальто с бархатным воротником и котелке, который он придерживал рукой.

— Вы не отплывете сегодня ночью! — сказал он.

Никто не возражал, только Ланнек и Большой Луи обменялись взглядами, которые значили: «Отплывем все-таки?» — «Не стоит».

Порывы ветра становились такими неистовыми, что было трудно удержаться на ногах. Наконец Мегрэ направился к знакомому ему люку.

— Пойдемте поговорим... Позовите также второго матроса.

Он предпочитал, чтобы в тылу у него никого не было.

Все четверо спустились по крутой лестнице. Моряки сняли сапоги и плащи. Горела подвесная лампа, на столе стояли стаканы рядом с морской картой, испещренной карандашными пометками и жирными пятнами.

Ланнек бросил в печку два брикета угля. Он не предлагал своему гостю выпить и глядел на него искоса. Старый Селестен уселся в дальнем углу. Он был зол и встревожен, гадая, зачем это его вызвали в кубрик. Позы моряков говорили сами за себя: никто не хотел начинать разговора, потому что они не знали, что было уже известно Мегрэ. Капитан вопросительно смотрел на Большого Луи, который отвечал ему взглядами, полными отчаяния: он не мог объяснить происходящее в двух словах.

Откашливаясь, чтобы прочистить горло, Ланнек проворчал:

— Вы хорошо подумали?

Мегрэ сидел на скамейке, положив локти на стол. Он машинально вертел в руках пустой стакан, такой засаленный, что стекло потеряло прозрачность. Большой Луи стоял, немного наклонив голову, чтобы не задевать потолок. Ланнек для виду перебирал что-то в шкафу.

— Подумал о чем?

— Не знаю, какие у вас права, знаю только, что лично я подчиняюсь морским властям. Кто еще имеет право запретить судну войти в порт или выйти из него?

— Ну и что?

— Вы мешаете мне отплыть из Вистреама, а мне нужно в Ларошель, взять груз. За каждый день опоздания я должен платить неустойку.

Разговор начинался скверно — в серьезном, полуофициальном тоне. Мегрэ уже слышал подобные речи: разве мэр не угрожал ему вот так же? А Жан Мартино, который тоже зывал к властям, правда, не к морским: он угрожал дипломатическим скандалом.

Мегрэ шумно втянул воздух, бросил на моряков быстрый взгляд, в котором промелькнуло озорство.

— Не строй из себя хитреца, — сказал он по-бретонски, — а лучше налей-ка выпить.

Трюк Мегрэ мог не пройти. Но старый матрос первым удивленно повернулся к комиссару. Морщины на лбу Большого Луи разгладились. Ланнек, еще не совсем оттаивший, спросил:

— Вы бретонец?

— Не совсем. Я с Луары, но учился в Нанте.

Ланнек скривился: гримаса истинного бретонца с побережья, когда ему говорят о бретонцах внутренних районов и особенно о полубретонцах района Нанта.

— Больше нет того голландского джина, что мы пили в прошлый раз?

Ланнек взял бутылку, медленно наполнил стаканы: он был рад хоть чем-нибудь заняться. Он еще не знал, что делать. Мегрэ же, приветливый, с трубкой в зубах, сдвинув шляпу на затылок, усаживался поудобнее.

— Можешь сесть, Луи.

Тот повиновался. Неловкость не исчезала, но она стала другой: эти трое сердились на себя за то, что не отвечали сердечностью на сердечность. И все-таки они вынуждены были оставаться настороже.

— Ваше здоровье, ребята! Ведь признайтесь, что, мешая вам выйти в море сегодня ночью, я избавляю вас от хорошенькой качки.

— Опасно только в проходе в порту, — пробормотал Ланнек, глотнув джина. — Когда выйдешь в открытое море, уже не страшно. Но проход опасен, особенно из-за течения Орны и песчаных отмелей. Каждый год там кто-нибудь да сядет.

— С «Сен-Мишелем» никогда не было никаких неприятностей.

Капитан поспешил прикоснуться рукой к деревянному. Селестен недовольно промычал что-то, услышав про неприятности.

— «Сен-Мишель», может быть, лучший парусник на побережье. Вот, например, два года назад в сильном тумане он всем днищем сел на камни у английского берега. Прибой был дьявольский. Другое бы судно так и осталось сидеть на камнях, а наше, оказавшись на плаву при следующем приливе, даже не нуждалось в заходе в сухой док для осмотра.

Мегрэ чувствовал, что на этой почве они могли бы договориться. Но он не был расположен всю ночь беседовать о судовождении. От мокрой одежды поднимался пар, струйки воды стекали по лестнице. И, честно говоря, комиссар плохо переносил все усиливающуюся качку шхуны, которая время от времени сильно ударялась бортом о сваи.

— Из нее выйдет прекрасная яхта! — произнес Мегрэ, глядя в сторону.

На этот раз Ланнек вздрогнул.

— Да, из нее могла бы выйти прекрасная яхта, — правил он. — Только палубу надо переделать, облегчить немного паруса, особенно вверху.

— Норвежец уже подписал бумаги?

Ланнек быстро взглянул на Большого Луи. Тот вздохнул. Эти двое дорого бы заплатили за несколько секунд разговора с глазу на глаз. Что Луи рассказал комиссару? Что мог сказать Ланнек? Большой Луи ушел в себя. Он не строил никаких иллюзий. Невозможно было объяснить капитану, что происходит. Все было так сложно! Конечно, сейчас начнутся неприятности! Луи предпочел выпить: налил себе джина, залпом опрокинул содержимое стакана, посмотрел на комиссара почти без враждебности, словно смирившись.

— Какой норвежец?

— Ну норвежец, который не совсем норвежец... Мартино... Однако он не мог увидеть «Сен-Мишель» в Тромсё, так как шхуна никогда не ходила так далеко на север.

— Заметьте, что она могла бы это сделать. «Сен-Мишель» спокойно дойдет и до Архангельска.

— Когда он вступает во владение шхуной?

Старый матрос в своем углу усмехнулся. Его ирония относилась не к Мегрэ, а к им троим, экипажу шхуны.

Ланнек ограничился довольно жалким ответом:

— Не понимаю, что вы хотите сказать.

Мегрэ толкнул его в бок:

— Чудак ты! Ну-ка, ребята, хватит хмуриться, как на похоронах, и упрячиться, как истинные бретонцы... Мартино обещал купить шхуну. Так купит он ее в конце концов или нет?

Вдруг его осенила догадка:

— Дайте-ка мне реестр экипажа.

Он почувствовал, что попал в точку.

— Я не знаю, где он...

— Ланнек, ведь я просил тебя не дурить. Дай мне реестр, тысяча чертей!

Он притворился эдаким грубоватым ворчуном. Капитан пошел к шкафу и принес истрепанный портфель, ставший серым от времени. Он был полон документов, деловых писем на бланках навигационных компаний. В большой желтой папке лежали огромные листы бумаги: это был реестр экипажа. Он был составлен всего полтора месяца

назад, а именно 11 сентября, то есть за пять дней до исчезновения капитана Жориса.

«Шхуна «Сен-Мишель», водоизмещением 270 тонн, оснащена для каботажного плавания. Владелец: Луи Лёгран, из Пор-ан-Бессен. Капитан: Ив Ланнек. Матрос: Селестен Гроле».

Большой Луи налил себе в стакан. Ланнек в замешательстве опустил голову.

— Смотри-ка! Теперь, выходит, ты владелец судна, Большой Луи?

Тот не ответил. В своем углу Селестен жевал табак.

— Послушайте, ребята, не будем терять времени. Я не намного глупее вас, хотя мало что понимаю в морских делах. У Большого Луи нет ни гроша. Судно вроде этого стоит по меньшей мере сто пятьдесят тысяч франков.

— Я не отдал бы его за эту цену! — сказал Ланнек.

— Ну, положим, двести тысяч франков. Значит, Большой Луи купил «Сен-Мишель» для кого-то другого. Предположим, для Жана Мартино, который почему-то не хочет, чтобы знали, что он владелец яхты... Ваше здоровье!

Селестен дернул плечами, как если бы вся эта история внушала ему глубокое отвращение.

— Одиннадцатого сентября, когда состоялась продажа, Мартино находился в Фекане?

Моряки насупились. Луи взял кусочек жевательного табака, лежавший на столе, и откусил от него, а Селестен замысловато разрисовывал пол кубрика плевками.

Разговор прервался, потому что в лампе кончился керосин и она коптила. Пришлось пойти на палубу за бидоном с керосином. Ланнек вернулся весь промокший. С минуту все сидели в темноте. Когда свет зажегся, они по-прежнему оставались на своих местах.

— Мартино находился там, я в этом уверен! Судно было куплено на имя Большого Луи, а Ланнек остался на нем капитаном, может быть, на некоторое время, а может быть, и навсегда.

— На некоторое время.

— Я так и думал! На время, необходимое, чтобы «Сен-Мишель» совершил один необычный рейс.

Ланнек встал, зубами разорвал сигарету.

— Вы пришли в Вистреам. Ночью шестнадцатого сентября шхуна стояла в порту, готовая к отплытию. Где был Мартино?

Капитан сел снова. Он сник, но был еще полон решимости молчать.

— Шестнадцатого сентября утром «Сен-Мишель» выходит в море. Кто находится на борту? Мартино все еще тут? А Жорис?

Мегрэ не походил ни на судью, ни даже на полицейского. Голос его продолжал оставаться приветливым, глаза — хитрыми. Казалось, он играет с приятелями в загадки-отгадки.

— Вы идете в Англию, потом берете курс на Голландию. Это там Мартино и Жорис покидают шхуну? Ведь им надо плыть дальше. У меня есть все основания считать, что они отправились в Норвегию...

Большой Луи что-то пробурчал.

— Что ты говоришь?

— Что у вас ничего не получится.

— Капитан Жорис уже был ранен, когда попал на судно? Или его ранили по дороге? Или уже в Скандинавии?

Он не ждал ответа.

— Вы втроем продолжаете каботажные плавания как и раньше, но не удаляетесь от северных районов, ждете письма или телеграммы, где вам было бы указано время и место встречи. На прошлой неделе вы стоите в Фекане, где Мартино вас впервые встретил. Большой Луи узнает, что капитан Жорис был найден в Париже в престранном состоянии и что его привезут в Вистреам. Он приезжает сюда на поезде. В доме капитана никого нет. Он оставляет сестре записку и возвращается в Фекан.

Мегрэ вздохнул, не торопясь, раскурил трубку.

— Ну, вот мы и подошли к концу. Приезжает Мартино. Вы возвращаетесь в Вистреам вместе с ним. Мартино покидает судно при входе в порт — доказательство того, что он не хочет быть увиденным. Встреча между ним и Большим Луи на драге... Ваше здоровье!

Он налил джина, выпил, чувствуя на себе мрачные взгляды моряков.

— В общем, чтобы все понять, остается только узнать, зачем Большой Луи ходил к мэру, в то время как Мартино направлялся в Париж. Странное поручение: надавать тумачков человеку, который столь разборчив в своих знакомствах.

При воспоминании об избииении мэра Большой Луи невольно расплылся в счастливой улыбке.

— Вот так, друзья мои! Теперь запомните хорошенько, что все в конце концов объяснится. Так не лучше ли сразу?

Мегрэ выбил трубку о каблук, закурил другую. Селестен попросту спал: храпел с открытым ртом. Большой Луи, наклонив голову, уставился в грязный пол. Ланнек напрасно пытался взглядом спросить совета, что делать.

Наконец капитан пробормотал:

— Нам нечего сказать.

На палубе послышался шум, как если бы упало что-то тяжелое. Мегрэ вздрогнул. Большой Луи высунул голову в люк, так что на лестнице виднелись только его ноги. Если бы он вылез, комиссар, очевидно, последовал бы за ним. Теперь слышался только шум дождя и скрип шкивов. Сколько это длилось? Не более полминуты. Большой Луи спустился, волосы у него прилипли ко лбу из-за воды, струящейся по лицу. Он ничего не объяснил.

— Что это такое?

— Тали.

— То есть?

— Один из шкивов ударился о релинги.

Капитан подбросил угля в печку. Поверил ли он тому, что сказал Луи? Во всяком случае, Луи не отвечал на его вопросительные взгляды. Он потряс Селестена за плечо:

— Иди поставь шкот на бизань-мачте.

Матрос тер глаза, ничего не понимая. Пришлось повторить ему еще раз. Тогда он надел плащ, надвинул на голову зюйдвестку, поднялся по лестнице, все еще полусонный, недовольный, что приходилось выходить на холод и дождь. Слышно было, как он стучал своими сабо, передвигаясь по палубе прямо над их головами. Большой Луи налил себе по меньшей мере шестой стакан, но нисколько не пьянел. Все те же неправильные черты лица, немного опухшего, глаза навывкате. У него был вид человека, уныло бредущего по жизни.

— Что ты думаешь об этом, Большой Луи?

— О чем?

— Чудак! Ты подумал о своем положении? Разве ты не понимаешь, что расплачиваться придется тебе? Сначала — твое прошлое: бывший каторжник! Потом ты становишься хозяином этого судна, хотя у тебя не было ни гроша. Жорис не хотел тебя больше видеть у себя в доме, потому что ты слишком часто выколачивал у него деньги... «Сен-Мишель» находится в Вистреаме в ночь

похищения капитана!.. Ты здесь в день его отравления!.. В довершение всего твоя сестра получит по завещанию триста тысяч франков.

Думал ли вообще о чем-нибудь Большой Луи? Взгляд его совершенно ничего не выражал; бесцветные глаза уставились в стенку кубрика.

— Что он там делает? — встревожился Ланнек, глядя на полуоткрытый люк, откуда в кубрик стекала вода, образуя лужицу на полу.

Мегрэ выпил немного, но достаточно, чтобы кровь ударила ему в голову, особенно в этой запутанной обстановке. Достаточно и для того, чтобы впасть в несколько мечтательную задумчивость. Теперь, когда Мегрэ знал всех членов экипажа, он довольно хорошо представлял себе жизнь их на борту «Сен-Мишеля». Один — на кровати, почти всегда одетый. На столе — неизменная бутылка и грязные стаканы. Другой — на палубе, слышен стук его сапог или сабо. И потом этот глухой, беспрестанный шум моря... Слабо светящийся компас... Свет фонаря, болтающегося на фок-мачте... Глаза, устремленные в темноту, ищут светлячок маяка... Пирсы, разгрузка... Два-три дня безделья, которые проходят в основном в бистро, похожих одно на другое...

Наверху послышался какой-то неясный звук. Большой Луи, кажется, тоже погрузился в тяжелую дремоту. Маленький будильник показывал уже три часа. Бутылка почти пуста... Ланнек зевнул, поискал сигареты по карманам...

Наверное, вот так, в этой атмосфере парника, с запахами человеческого жилья и горячей печки и провели они ту ночь, когда исчез капитан Жорис... Сидел ли он тогда вместе с ними, выпивая, борясь со сном?

На этот раз на палубе послышались голоса. Из-за сильного ветра до кубрика доносились только отдельные звуки. Мегрэ встал, нахмурил брови. Ланнек наливал себе в стакан; подбородок Большого Луи касался груди, глаза его были полузакрыты. Мегрэ нащупал револьвер в кармане, поднялся по ступенькам почти отвесной лестницы. Люк был такой ширины, чтобы через него мог пролезть человек, а комиссар был широк в плечах и массивен. Поэтому он даже не смог защищаться: едва голова его показалась на поверхности палубы, как на рот ему накиннули повязку и завязали ее на затылке. Это сделали

люди, находившиеся наверху: Селестен и еще кто-то. В то же время снизу у него выхватили револьвер и связали ему руки за спиной. Мегрэ сильно лягнул ногой и ударил что-то, кажется чье-то лицо. Но уже в следующее мгновение ноги ему опутал канат.

— Тащи! — равнодушно сказал Большой Луи.

Это оказалось самым трудным: Мегрэ был тяжелый. Снизу его подталкивали, сверху тащили.

Дождь падал отвесной стеной. Ветер врвался в бухту с неслыханной силой.

Мегрэ показалось, что он разглядел четыре силуэта, но было совсем темно: фонарь погасили. К тому же резкий переход от тепла и света к ледяной тьме сбивал с толку.

— Раз... два... хоп!

Его раскатали, как мешок; он подлетел довольно высоко и упал на мокрые камни пирса. Большой Луи подошел к нему, осмотрел веревки, чтобы убедиться в их прочности. На секунду лицо бывшего каторжника приблизилось к лицу Мегрэ. Ему показалось, что Луи проделывал все это с мрачным видом, как самую тягостную работу.

— Нужно будет сказать сестре... — начал он.

Что сказать? Он и сам не знал. На шхуне слышались быстрые шаги, скрип, отдаваемые вполголоса распоряжения. Кливера были поставлены, по мачте медленно поднимался грот.

— Скажите ей, что когда-нибудь мы еще увидимся... И с вами — тоже, может быть...

Он тяжело вскочил на судно. Лицо Мегрэ было повернуто в сторону моря. Фонарь на конце фала доставал до верха мачты. Около штурвала виднелся черный силуэт.

— Отчаливаем!

Вокруг кнехтов заскользили канаты: их тянули с судна. Захлопали паруса. Нос шхуны отделился от свай, и она развернулась почти на триста шестьдесят градусов: таким сильным был порыв ветра. Но рулевой выровнял судно. На мгновение оно замерло на месте, а потом поплыло между пирсами: черная масса в черноте ночи. Светящаяся точка на палубе... Высоко на мачте — другая, кажущаяся звездой, затерянной в штормовом небе.

Мегрэ не мог шевельнуться. Он неподвижно лежал в луже, на краю бесконечного пространства.

Там, на шхуне, они, наверное, разопьют бутылку джина, чтобы взбодриться. Кто-нибудь подбросит угля

в печку... Один стоит у штурвала... Двое других лежат на влажных постелях...

Среди капель, стекавших по лицу комиссара, одна была, кажется, солонее других. Большой, сильный мужчина, в расцвете сил, наверное самый мужественный и суровый во всей уголовной полиции, лежал, брошенный здесь до утра, около кнехта, на краю пирса. Если бы он мог повернуться, то увидел бы маленький деревянный навес «Приюта моряков», где уже никого не было.

XI. ОТМЕЛЬ «ЧЕРНЫЕ КОРОВЫ»

Море быстро отступало. Мегрэ слышал шум волн, сначала в конце пирсов, потом дальше, на песчаном берегу, с которого уходила вода. Как всегда с отливом стихал и ветер. Стрелы дождя редели, и когда на рассвете побледили самые низкие тучи, ночной ливень превратился в холодный моросящий дождь. Мало-помалу предметы выступали из тьмы, в которую они были погружены. Угадывались косые мачты рыбацких лодок, лежавших теперь, при отливе, на прибрежной тине. Где-то очень далеко на лугу мычали коровы. Негромкими ударами церковный колокол скромно оповещал об утренней мессе. Но нужно было еще ждать: верующие не ходят через порт. Шлюзовщикам до начала прилива тоже нечего тут делать. Разве что рыбак случайно пройдет... Но кто вылезет из кровати в такую непогоду?

Со стороны Мегрэ казался просто кучей мокрой одежды. Он мысленно представлял себе все кровати Вистреама, прочные деревянные кровати с огромными перинами, в которых под теплыми одеялами лениво нежатся жители городка, и неприязненно поглядывают на бледный прямоугольник окна. Они стараются еще немного продлить удовольствие, прежде чем ступить голыми ногами на пол.

А инспектор Люка тоже лежал в своей постели? Нет! Ведь иначе невозможно объяснить события. Комиссар так представлял их себе: Жану Мартино удалось каким-то образом освободиться от инспектора. Может быть, связав его, как это сделали и с Мегрэ? Затем он подошел к «Сен-Мишелю» и услышал голос комиссара. Он терпеливо ждал появления кого-нибудь на палубе. И вот когда Большой

Луи высунул голову из люка, Марино шепотом или запиской дал ему указание. Дальше все просто: шум на палубе — туда посылают Селестена. Он переговаривается с Марино, чтобы выманить Мегрэ из кубрика. Когда комиссар наполовину вылезает оттуда, двое наверху затыкают ему рот, а двое внизу связывают ему руки и ноги.

Теперь шхуна находится, по-видимому, уже далеко от зоны территориальных вод, которую отделяют от берега всего лишь три мили. Если только они не зайдут в какой-нибудь французский порт, что маловероятно, то Мегрэ бессилен что-либо сделать.

Он не шевелился, так как при каждом движении вода подтекала под пальто. Прижав ухо к земле, он слышал различные шумы и узнавал их один за другим. Так он узнал шум насоса, который стоял в саду Жориса. Значит, Жюли встала. Должно быть, надела сабо и пошла качать воду, чтобы умыться. Но девушка не выйдет из дому. Вот она зажгла свет, потому что еще не совсем рассвело.

Шаги... Кто-то перешел мост и ступил на каменную стенку пирса. Человек шел медленно. С пирса он что-то бросил в лодку, наверное, связку веревок. Рыбак? Мегрэ с трудом повернул голову и увидел его в двадцати метрах от себя, когда тот собирался спуститься по железной лестнице, ведущей к морю. Несмотря на кляп, Мегрэ удалось испустить слабый стон. Рыбак поглядел вокруг, заметил черную грудку, долго и недоверчиво смотрел, потом, наконец, решился подойти.

— Что вы тут делаете?

Он, очевидно, слышал о предосторожностях, необходимых при обнаружении преступления, так как с опаской сказал:

— Пожалуй, сначала надо вызвать полицию.

Он все-таки вытащил кляп. Мегрэ начал объяснять, и рыбак не очень уверенно принялся развязывать веревки, бормоча проклятия в адрес того, кто затянул такие узлы.

В бистро служанка открывала ставни. Море становилось беспокойным, хотя ветер и стих. Но это уже не был бешеный ночной шум. Волны, которые шли из открытого моря, достигали на песчаных отмелях трехметровой высоты и разбивались там с глухим грохотом, как бы сотрясая сушу.

Рыбак, невысокий старик, заросший бородой, все еще смотрел недоверчиво и не знал, что делать.

— Надо бы, однако, сообщить в жандармерию.

— Да говорю же вам, что я и сам вроде жандарма в штатском!

— Жандарм в штатском, — беспокойно повторял недоверчивый старик.

Его взгляд скользнул по поверхности моря, пробежал по линии горизонта и остановился вдруг на какой-то точке справа от пирса, по направлению к Гавру. Рыбак испуганно уставился на Мегрэ.

— Ну что там такое?

Рыбак был так взволнован, что не отвечал. Мегрэ понял, только взглянув в свою очередь на горизонт. Вода почти полностью ушла из бухты Вистреама. На расстоянии больше мили тянулся песок, цвета спелой ржи, а за ним, вдаль, бушевала белая пена волн. Справа от пирса, примерно в километре, какое-то судно сидело на мели. Одна его половина лежала на песке, другая оставалась в воде. Волны с силой разбивались о его корпус. Две мачты, одна из которых квадратная. Шхуна из Пенполя. Не иначе, как «Сен-Мишель».

В той стороне все было мертвенно-бледным: море и небо сливались в один цвет. И только черное пятно лежащего на мели корабля.

— Слишком поздно ушли после прилива, — прошептал пораженный зрелищем рыбак.

— Такое часто случается?

— Бывает! Вода в проходе стояла низко. Вот течением реки и вытолкнуло их на отмели «Черных коров».

Унылое безмолвие: моросящий дождь, от которого воздух казался ватным. При виде судна, почти полностью выступавшего из воды, трудно было представить, что его экипаж подвергался какой-либо опасности. Но когда «Сен-Мишель» сел на мель, море еще достигало подножья дюн. Не меньше десяти рядов кипящих пеной волн!

— Надо предупредить капитана порта...

Мелкая деталь: рыбак стал машинально поворачиваться в сторону дома Жориса, потом пробурчал:

— Правда, что...

И пошел в другом направлении. Шхуну, вероятно, заметили с другого места, должно быть с церковной паперти, потому что к ним приближался наспех одевшийся Делькур в сопровождении трех человек. Он рассеянно пожал руку Мегрэ, не замечая, что комиссар промок до нитки.

— Я же им говорил!
— Они предупредили, что уходят?
— То есть, когда я увидел, как они тут швартуются, то подумал, что они не будут ждать прилива, и посоветовал капитану остерегаться течения...

Они спустились на песок. Нужно было идти по лужам, в которых оставалось еще сантиметров тридцать воды. Ноги увязали в песке. Шли долго, с трудом.

— Это опасно для них? — спросил Мегрэ.

— Их уже нет на борту! Иначе они подавали бы сигналы тревоги, подняли бы флаг бедствия..

И внезапно озабоченным тоном добавил:

— Вот только шлюпки у них не было. Вы помните? Когда пароход привел шлюпку, ее поставили в шлюз...

— Тогда как же?

— Ну, значит, они добрались до берега вплавь... Или пожалуй...

Делькуру было не по себе. Его что-то тревожило.

— Странно, что они не поставили шхуну на упоры с обеих сторон, чтобы она не легла на борт... Если только она сразу не перевернулась.. Ну и дела!..

Подошли поближе. «Сен-Мишель» выглядел плачевно. Виднелся киль, окрашенный зеленой краской, ракушки, прилипшие к нему. Моряки уже рассматривали шхуну со всех сторон, искали повреждения, но ничего не находили.

— Просто сели на мель...

— Ничего серьезного?

— Думаю, что с ближайшим приливом буксир сможет стащить его оттуда... Не понимаю только.

— Что вы не понимаете?

— Почему они бросили судно... Ведь они не из робкого десятка и знают, что шхуна крепкая... Вы посмотрите, какая постройка! Эй, Жан-Батист! Сходи-ка за лестницей...

Без лестницы невозможно было забраться на шестиметровый борт накренившейся шхуны.

— Да не стоит!

Со шхуны свешивался порванный вант. Зацепившись за него, Жан-Батист, как обезьяна, вскарабкался по нему, покачался несколько секунд в воздухе и спрыгнул на палубу. Через несколько минут он спустил вниз конец веревочной лестницы.



— На борту никого?

— Никого!

На берегу, на расстоянии нескольких километров, виднелись дома Див, заводские трубы. Дальше можно было различить очертания Кабура, Улгата, скалистый выступ, скрывающий Довиль и Трувиль.

Мегрэ для очистки совести поднялся по лестнице. На наклонной палубе он чувствовал себя очень неуверенно. Ощущение опасности куда большее, чем на маленьком судне во время страшного шторма. В кубрике валялись осколки разбитого стекла, дверцы шкафчиков раскрылись. Между тем начальник порта не знал, что делать. Он не мог распоряжаться шхуной. Начать снимать ее с мели, вызвать буксир из Трувиля, взять на себя ответственность за все операции?

— Если шхуну оставить здесь до следующего прилива — ей крышка! — проворчал он.

— Хорошо, попытайтесь сделать все, что в ваших силах... Скажите, что это я распорядился...

Никогда еще до сих пор тревога не была столь гнетущей, столь тяжелой. Люди невольно смотрели в сторону пустынных дюн, как если бы ждали, что оттуда появятся моряки с «Сен-Мишеля». Мужчины, женщины и дети шли из деревни в порт. Возвращаясь в Вистреам, Мегрэ заметил в порту Жюли, которая бежала ему навстречу.

— Это правда?.. Они потерпели крушение?..

— Нет... Сели на мель... Такой здоровяк, как ваш брат, должен был выбраться...

— Где он?

Все это было мрачно, непонятно. Когда Мегрэ подходил к гостинице «Универсаль», хозяин окликнул его.

— Я еще не видел двух ваших друзей. Будить их?

— Не стоит...

Комиссар сам поднялся в комнату Люка, который лежал на кровати, связанный так же крепко, как и Мегрэ, прошлой ночью.

— Сейчас вам все объясню...

— Не нужно!.. Пошли...

— Что нового? Вы совсем промокли... У вас такой измотанный вид...

Мегрэ привел его на почту, которая находилась напротив церкви, в верхней части городка. Люди выходили на улицу. Те, кто мог, побежали на берег.

— Ты что, не смог защититься?

— Он меня скрутил на лестнице... Мы поднимались на второй этаж... Он шел сзади... Потом вдруг схватил меня за ногу, и все произошло так быстро, что я и пальцем не успел пошевелить. Вы же его видели!

Всех поражал вид Мегрэ. Можно было подумать, что он всю ночь просидел по шею в воде. На почте он даже не смог писать — бумага намокала от воды, стекавшей с его одежды.

— Возьми перо... Телеграммы во все мэрии и жандармские отделения области... Див, Кабур, Улгат... Южные поселки также: Люк-сюр-Мэр, Льон, Кутанс... Проверь по карте... Включая самые мелкие деревушки... Приметы четверых: Большого Луи, потом Мартино, капитана Ланнека и старого матроса, по имени Селестен. Когда отправишь телеграммы, позвони в ближайшие районы, чтобы еще выиграть время...

Он оставил Люка заниматься телеграммами и телефонными переговорами. В бистро напротив почты он залпом выпил стакан горячего грога. Детишки в это время смотрели на него во все глаза, прильнув лицами к стеклам окна.

Вистреам проснулся. Его жители волновались, нервничали, смотрели на море или спускались к берегу. Новости быстро распространялись, обросшие деталями, искаженные.

По дороге Мегрэ встретил старого рыбака, который освободил его на рассвете.

— Ты не рассказывал, что...

— Я сказал, что нашел вас... — с безразличным видом ответил рыбак.

Комиссар дал ему двадцать франков и зашел в гостиницу переодеться. Его сильно знобило. Бросало то в жар, то в холод. Он оброс щетиной, а под глазами были мешки. Однако несмотря на усталость, голова у него работала деятельно. Даже быстрее обычного. Он успевал все увидеть вокруг себя, отвечать людям, задавать вопросы, неуклонно следуя при этом логике своей мысли. Было около десяти часов, когда он вернулся на почту. Люка заканчивал телефонные звонки. Телеграммы были уже отправлены. На его вопрос жандармы ответили, что пока ничего не замечено.

— Мадемуазель, господин Гранмэзон не заказывал телефонного разговора?

— Час тому назад... С Парижем...

Она назвала ему номер. Заглянув в телефонный справочник, он понял, что речь шла о коллеже «Станислав».

— Мэр часто заказывает этот номер?

— Довольно часто. Кажется, это пансион, где находится его сын.

— Правильно, у него ведь есть сын. Лет пятнадцать, не так ли?

— По-моему, да. Но я его никогда не видела.

— Господин Гранмэзон не звонил в Кан?

— Нет. Это ему звонили из Кана. Кто-то из его родственников или служащих, потому что звонили из дому.

Затрещал телеграф. Делеша в порт: «Буксир Атос будет рейде полдень. Подпись: пароходство Трувиля».

Наконец звонок из полиции Кана:

— Госпожа Гранмэзон прибыла в Кан в четыре часа утра. Ночь провела дома, на улице Дюфур. Только что выехала на машине в Вистреам.

* * *

Когда Мегрэ из порта взглянул на берег, то увидел, что море отступило уже далеко и севшая на мель шхуна оставалась почти на полпути между водой и дюнами. Капитан Делькур выглядел мрачным. Все с тревогой глядели на горизонт.

Сомнений не оставалось. С отливом ветер стих, но к полудню, когда начнется прилив, разразится настоящая буря. Это ощущалось по цвету неба, болезненно серому, и по коварному зеленому цвету волн.

— Мэра никто не видел?

— Он передавал мне через служанку, что ему нездоровится и что он мне поручает руководить операцией.

Засунув руки в карманы, Мегрэ медленно направился к вилле. Позвонил. Прошло около десяти минут, прежде чем ему открыли. Служанка хотела что-то объяснить. Не слушая ее, Мегрэ пошел по коридору. У него был такой решительный вид, что она осеклась и побежала к двери кабинета.

— Это комиссар! — крикнула она.

Мегрэ вошел в комнату, обстановка которой ему уже была знакома, бросил шляпу на стул и кивком головы поздоровался с человеком, полулежавшим в кресле. Следы

вчерашних побоев на лице стали еще более заметны: они были уже не красными, а синими. Ярко пылал камин. Лицо господина Гранмэзона выражало решимость молчать и даже не замечать посетителя. Мегрэ повел себя так же. Он снял пальто и, подойдя к камину, повернулся спиной к огню, как человек, который думает только о том, как бы ему согреться. Пламя обжигало его икры. Он часто попыхивал трубкой, выпуская клубы дыма.

— До вечера это дело будет закончено! — произнес он наконец, как бы разговаривая сам с собой.

Мэр попытался сохранить спокойствие, взял газету, которая лежала рядом, и притворился, что читает ее.

— И может быть, нам с вами придется, скажем, съездить в Кан.

— В Кан?

Господин Гранмэзон поднял голову и нахмурился.

— Да, в Кан. Следовало бы сказать вам об этом раньше, что избавило бы госпожу Гранмэзон от бессмысленной поездки сюда.

— Я не понимаю, какое отношение моя жена...

— ...имеет к этой заварухе, — закончил Мегрэ. — И я тоже не понимаю.

И он направился к письменному столу, на котором лежали спички, чтобы зажечь погасшую трубку.

— Впрочем, это неважно, — продолжал он уже более спокойно, — поскольку все скоро выяснится... Да, кстати... Знаете, кто является в настоящее время владельцем «Сен-Мишеля», которого сейчас пытаются снять с мели?.. Большой Луи! Точнее, он мне кажется подставным лицом и действует в интересах некоего Мартино.

Мэр определенно старался угадать скрытые мысли полицейского. Но он избегал отвечать и, в особенности, задавать вопросы.

— Вы сейчас поймете связь. Большой Луи покупает «Сен-Мишеля» для этого Мартино за пять дней до исчезновения капитана Жориса... Это единственное судно, которое покинуло порт Вистреама сразу после исчезновения капитана. Оно делает заход в Англию и Голландию до того, как вернуться во Францию... из Голландии. Должно быть, есть каботажные суда такого же типа, которые ходят обычно в Норвегию... А Мартино норвежец. И до того как оказаться в Париже с раскроенным и зашитым черепом, капитан Жорис побывал в Норвегии.

Мэр внимательно слушал.

— Это не все. Мартино возвращается в Фекан, чтобы сесть на «Сен-Мишель». Большой Луи, его правая рука, находится здесь за несколько часов до смерти Жориса. Немного позднее приходит «Сен-Мишель» с Мартино на борту. А этой ночью он пытается скрыться, уводя с собой большинство из тех, кого я просил остаться здесь в распоряжении следственных органов. Кроме вас!

Мэр немного помолчал и вздохнул.

— Остается объяснить, зачем вернулся Мартино и почему по телефону вы велели вашей супруге срочно возвращаться.

— Надеюсь, вы не намекаете на...

— Я? Ничуть. Слышите? Шум мотора. Держу пари, что это госпожа Гранмэзон приехала из Кана. Могу я вас просить о любезности ничего ей не говорить?

Звонок. Шаги служанки в коридоре. Приглушенные голоса, потом лицо служанки в приоткрытой двери. Но почему она молчит? Что значит этот тревожный взгляд, обращенный к хозяину?

— Ну что еще? — с нетерпением бросил мэр.

— Дело в том, что...

Мегрэ оттолкнул ее, выскочил в коридор, где стоял один шофер в ливрее.

— Вы потеряли госпожу по дороге? — в упор спросил он у шофера.

— То есть она...

— Где она вас оставила?

— На развилке дорог на Кан и Довил. Она не совсем хорошо себя чувствовала.

Мэр стоял в кабинете с суровым лицом и часто дышал.

— Подождите меня! — крикнул он шоферу.

Но, натолкнувшись на Мегрэ, который загораживал дорогу своей массивной фигурой, он остановился.

— Я полагаю, вы согласитесь, что...

— Вполне. Вы правы: мы должны туда ехать.

ХII. НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО

Машина остановилась на перекрестке, где не было домов, и шофер обернулся, чтобы получить распоряжение. С того момента, как выехали из Вистреама, господин

Гранмэзон казался другим человеком. Там он контролировал свои поступки и думал о собственном достоинстве даже в самых незавидных ситуациях. Сейчас все выглядело иначе. Нечто похожее на панику охватило мэра. И это было тем более ощутимо, что лицо его было сплошь покрыто синяками от ударов. Его беспокойный взгляд блуждал по мелькавшему за окном пейзажу. Когда машина остановилась, он вопросительно посмотрел на Мегрэ, но комиссар не смог отказать себе в удовольствии и ляпнул:

— Что будем делать?

Ни на дороге, ни в окрестных садах не было ни души. Разумеется, госпожа Гранмэзон вышла из машины не для того, чтобы усесться на обочине. Если она отослала шофера, добравшись досюда, — значит, у нее была назначена встреча или же она вдруг заметила человека, с которым хотела бы говорить без свидетелей.

Листья деревьев были влажными. От земли поднимался сильный запах перегноя. Коровы, не переставая жевать, следили за машиной. А мэр искал глазами, всматривался в пейзаж, надеясь, быть может, обнаружить жену за какой-нибудь изгородью или стволом дерева.

— Посмотрите! — сказал Мегрэ, как бы помогая новичку.

На дороге в Див виднелись характерные следы от шин. Здесь останавливалась какая-то машина, с трудом развернулась на узкой дороге и отправилась обратно.

— Старый грузовичок... Поехали, шофер!

Отъехали они недалеко. Задолго до въезда в Див следы обрывались у каменистой дорожки. Господин Гранмэзон, по-прежнему настороже, смотрел вокруг с тревогой и ненавистью.

— Что там, по-вашему?

— Деревня, метрах в пятистах.

— В таком случае, машину лучше оставить здесь.

Из-за крайней усталости Мегрэ казался ко всему безразличным. Он буквально спал на ходу и шел, казалось, только по инерции. Глядя, как они идут по дороге, любой бы подумал, что тут командовал мэр, а комиссар с покорностью подчиненного следовал за ним. Они прошли мимо дома, вокруг которого копошились куры. Хозяйка удивленно посмотрела на них. Затем они оказались позади церквушки, величиной с хижину. Слева от нее была табачная лавка.

— Вы позволите? — сказал Мегрэ, показывая свой пустой кисет.

Он вошел в лавку, где продавались также бакалейные товары и всякая домашняя утварь. Из комнаты со сводчатым потолком вышел старик и позвал дочь, которая подала Мегрэ табак. Пока дверь оставалась открытой, комиссар успел увидеть настенный телефон.

— В котором часу мой друг приходил позвонить сегодня утром?

— Да уже больше часа тому назад.

— В таком случае, и госпожа приехала?

— Конечно! Она даже остановилась здесь, чтобы спросить дорогу. Да это нетрудно... По этой улочке последний дом направо.

Мегрэ вышел по-прежнему невозмутимый. Тем временем господин Гранмэзон, стоя перед церквушкой, смотрел вокруг себя с таким видом, что неизбежно должен был вызывать подозрение у местных жителей.

— Мне пришла в голову одна мысль, — сказал Мегрэ. — Давайте поделимся. Вы будете искать слева, там, где поля. А я тем временем поищу справа.

Он заметил радостный блеск в глазах своего спутника. Мэр ликовал, стараясь не подавать виду. Он надеялся отыскать жену и поговорить с ней с глазу на глаз.

— Хорошо, — ответил он с притворным равнодушием.

* * *

Деревня насчитывала не более двадцати домишек, которые в некоторых местах, прижавшись друг к другу, образовывали подобие улицы, заваленной, правда, навозными кучами. Дождь не прекращался, мелкий, как водяная пыль, и на улице никого не было. Однако занавески на окнах шевелились. Заними в полумраке домов угадывались сморщенные лица старух.

На краю деревушки, прямо перед изгородью, окружавшей луг, где паслись две лошади, Мегрэ увидел одноэтажное строение с покосившейся крышей. Он обернулся и, услышав шаги мэра на другом конце деревушки, не стал стучать, а, поднявшись на две ступеньки, переступил порог. Тотчас послышался какой-то шорох. В помещении, едва освещенном огнем от очага, появился силуэт в белом старушечьем колпаке.

— Кто там? — спросила сгорбленная старуха, семена навстречу Мегрэ.

Было жарко. Пахло соломой, капустой и курятником. Вокруг поленницы что-то клевали цыплята. Мегрэ, который почти касался головой потолка, увидел дверь в глубине комнаты и понял, что нужно действовать быстро. Не говоря ни слова, он подошел к этой двери и открыл ее. Госпожа Гранмэзон была там и что-то писала за столом. Рядом с ней стоял Жан Мартино. Их охватило замешательство. Женщина поднялась с соломенного стула, а Мартино сразу же схватил и смял лист бумаги, лежавший на столе. Оба они инстинктивно приблизились друг к другу.

В домишке было только две комнаты. Вторая была спальней старухи. На ее стенах, покрытых известкой, висели два портрета и дешевые картинки в черных с позолотой рамках. Высокая кровать и стол, за которым писала госпожа Гранмэзон и который обычно служил туалетным столиком. Видно было, что с него только что сняли таз для умывания.

— Через несколько минут ваш муж будет здесь! — начал Мегрэ.

Мартино в ярости бросил:

— И вы это сделали?

— Молчи, Раймон.

Говорила она. И была с ним на ты, называла его не Жан, а Раймон. Отметив про себя эти детали, Мегрэ подошел к двери, прислушался и вернулся в комнату.

— Не угодно ли вам передать мне письмо, которое вы начали писать!

Те переглянулись. Госпожа Гранмэзон казалась усталой и бледной. Мегрэ уже видел ее однажды, но тогда она исполняла священные обязанности хозяйки богатого дома, принимающей у себя сливки общества. В тот раз он отметил безупречное воспитание и заученную грациозность, с которой она умела протянуть чашку чая или ответить на комплимент. Он представил себе ее жизнь: заботы по дому в Кане, визиты, воспитание детей. Два-три месяца в году на водах или в санаториях, умеренное кокетство. Не столько забота о том, чтобы казаться красивой, сколько стремление сохранить достоинство. Конечно, все это оставалось в женщине, которая находилась перед ним. Но было и другое. По правде говоря, она выказывала больше

хладнокровия и решительности, чем ее спутник, который почти терял самообладание.

— Отдай ему письмо, — сказала она, когда Мартино уже собирался его разорвать.

На бумаге было всего несколько строк:

«Господин директор, имею честь просить вас...»

Крупный почерк с наклоном, характерный для девушек, воспитывавшихся в пансионах начала века.

— Сегодня утром вам дважды звонили, не так ли? Один раз — ваш муж... Или, вернее, вы ему сами позвонили и сообщили, что едете в Вистреам. Потом позвонил господин Мартино с просьбой приехать сюда. Он послал за вами грузовичок на перекресток дорог.

На столе за чернильницей лежала какая-то пачка, которую Мегрэ не сразу заметил, — кипа банкнот по тысяче франков. Мартино проследил за взглядом комиссара. Было слишком поздно прятать деньги. Тогда, поддавшись неожиданно охватившей его усталости, он опустил на край старухиной кровати и уставился в пол.

— Это вы привезли ему деньги?

И снова та же атмосфера, типичная для этого следствия! Та же, что и на вилле в Вистреаме, когда Мегрэ застал Большого Луи, избивавшего мэра, и после чего матрос и судовладелец молчали оба. Та же, что в прошлую ночь, на борту «Сен-Мишеля», когда трое моряков избегали ему отвечать. Какая упрямая инертность! Отчаянная решимость не произнести ни малейшего слова, которое внесло бы ясность.

— Я полагаю, что это письмо адресовано директору коллежа. Поскольку ваш сын учится в коллеже «Станислав», письмо, вероятно, касается его. А деньги... Ну конечно! Мартино был вынужден в спешке оставить севшую на мель шхуну и вплавь добираться до берега. Там он, по-видимому, и оставил свой бумажник. И вы ему привезли деньги, чтобы...

Внезапно изменив и тему, и тон, он спросил:

— А остальные, Мартино? Все целы?

Мартино колебался с ответом, но в конце концов утвердительно кивнул головой.

— Я у вас не спрашиваю, где они прячутся. Знаю, что этого вы не скажете...

— Верно!

— Что «верно»?

Это с порога прозвучал яростный голос мэра — дверь была настежь распахнута. Мэр был неузнаваем. Он задышался от гнева, сжимая кулаки, готовый прыгнуть на врага. Он переводил взгляд со своей супруги на Мартино, с Мартино на пачку денег, которая все еще лежала на столе. Взгляд его был угрожающим, но время от времени в нем сквозили не то ужас, не то ощущение краха.

— Что верно? Что он сказал? Что он еще вам налгал? А она? Она, которая... которая...

Он не мог больше говорить. Он задышался от гнева. Мегрэ стоял рядом, готовый вмешаться.

— Что верно? Что здесь вообще происходит? Что значит этот разговор? Чьи это деньги?..

В соседней комнате старуха шаркала ногами и с порога звала цыплят: «Цып-цып-цып-цып!» Кукурузные зерна градом посыпались на каменные ступеньки крыльца. Ногой старуха отгоняла соседскую курицу:

— Кыш, кыш! Пошла вон, Чернушка!..

А в спальней комнате — ни звука! Глубокая тишина! Мертвенная, гнетущая, как и небо в это дождливое утро. Все эти люди были охвачены страхом... Они конечно боялись!.. Все!.. И Мартино! И мэр! И его жена!.. Да, они боялись, но каждый по-своему... У каждого, можно сказать, был свой страх!

Мегрэ принял торжественный вид и медленно, как судья, начал:

— Прокуратура поручила мне найти и арестовать убийцу капитана Жориса, раненного выстрелом из пистолета в голову и, месяц спустя, отравленного стрихнином у себя дома. Желает ли кто-нибудь из присутствующих сделать по этому поводу заявление?

До сих пор никто не замечал, что комната не отапливалась. И вдруг в ней стало холодно. Каждое слово звучало гулко, как в церкви. Казалось, что в воздухе еще звучат слова: «...отравлен... стрихнином...» И особенно конец: «...сделать... заявление?» Мартино первым опустил голову. Госпожа Гранмэзон сверкающими глазами взглянула на мужа, потом на норвежца. Но никто не ответил. Никто не осмелился выдержать тяжелый взгляд Мегрэ. Две минуты... Три минуты... Слышно было, как старуха подкладывала поленья в очаг. Вновь раздался голос Мегрэ, нарочито сухой, лишенный всякого чувства:

— Жан Мартино, именем закона, вы арестованы!

Крик женщины. Всем своим существом госпожа Гранмэзон устремилась было к Мартино, но, не закончив движения, лишилась чувств. Мэр в дикой злобе отвернулся к стене. А Мартино, словно смирившись, устало вздохнул. Он не решился прийти на помощь женщине, потерявшей сознание. Мегрэ склонился над ней, поискал глазами стакан воды.

— Уксус есть? — спросил он у старухи.

Уже и без этого тяжелый воздух хибары смешался с запахом уксуса. Вскоре госпожа Гранмэзон пришла в себя. Нервно всхлипнув несколько раз, она впала в совершенную прострацию.

— Вы в состоянии идти?

Знаком она дала понять, что может, и, действительно, пошла, но неровной походкой.

— Господа, прошу вас следовать за мной! Надеюсь, на этот раз я смогу рассчитывать на ваше послушание?

Ошеломленная старуха смотрела, как они прошли через кухню. И только когда все уже были на улице, она бросилась к двери и крикнула:

— Господин Раймон, вы вернетесь к обеду?

Раймон! Уже второй раз звучало это имя. Мартино отрицательно покачал головой.

Все четверо проследовали по деревенской улице. Перед табачной лавкой Мартино остановился и, замешкавшись, сказал Мегрэ:

— Прошу прощения. Я не знаю, вернусь ли еще сюда, а мне не хотелось бы оставлять за собой долги. Я должен здесь заплатить за телефонный разговор, грог и пачку сигарет.

Заплатил Мегрэ. Обогнули церковь. В конце неровной дороги их ждала машина. Комиссар пригласил своих спутников сесть в нее и, помедлив несколько секунд, сказал шоферу:

— В Вистреам! Но сначала остановитесь у жандармерии.

По дороге все молчали. За стеклом — дождь, однообразное небо, ветер, который постепенно усиливался и раскачивал мокрые деревья. Перед жандармерией Мегрэ попросил Мартино выйти из машины и отдал распоряжение начальнику отделения:

— Поместить его в камеру... Вы отвечаете за него... Ничего нового?

— Буксир пришел. Ждут, когда повысится уровень моря.

Машина вновь тронулась в путь. Нужно было проехать около порта. Мегрэ еще раз остановил машину и вышел на минутку. Был полдень. Шлюзовщики находились на своих местах, ожидая пароход из Кана. Полоска песка на пляже сделалась уже, и белая пена воды касалась дюн. Справа стояла толпа людей, наблюдавших захватывающее зрелище: буксир из Трувиля стоял на якоре в полумиле от берега. Небольшая шлюпка с трудом пробиралась к «Сен-Мишелю». Волны уже наполовину выпрямили корпус судна. Мегрэ увидел, что мэр тоже следит за спасательными работами. Из бистро вышел капитан Делькур.

— Получится? — спросил Мегрэ.

— Думаю, что да! Вот уже два часа они освобождают шхуну от балласта. Если он конечно не порвет швартовы... — И чтобы определить капризы ветра, он посмотрел на небо так, будто смотрел на карту. Он заметил мэра и его супругу в машине, почтительно поздоровался, но потом уже больше не смотрел в их сторону. Мегрэ вопросительно взглянул на него:

— Новости есть?

— Не знаю.

Новости были у Люка, который появился в этот момент. Но прежде чем их объявить, он отвел своего шефа в сторону.

— Взяли Большого Луи.

— А?..

— Сам попался!.. Сегодня утром жандармы из Див заметили следы на поле... Следы человека, который шел, прямо перемахивая через изгороди... Следы вели к реке, где обычно какой-то рыбак оставляет на берегу свою лодку. А на этот раз лодка была на другом берегу реки...

— Жандармы перебрались на тот берег?

— Да, и вышли на пляж, почти напротив шхуны. Там у дюн есть...

— Развалины часовни!

— Вы уже знаете?

— Часовня Нотр-Дам-де-Дюн...

— Так вот, Большого Луи там и накрыли! Он забрался туда и наблюдал за спасательными работами. Когда я появился, он умолял жандармов не уводить его сразу, оставить на пляже, пока не закончится со шхуной... Я решил... Он там в наручниках... Отдает распоряжения,

боится, как бы его судно не погибло. Хотите взглянуть на него?

— Не знаю... Может быть, чуть позже...

Ведь его ждали те двое: супруги Гранмэзон продолжали сидеть в машине.

— Вы считаете, что мы в конце концов узнаем правду?

И поскольку Мегрэ не отвечал, Люка добавил:

— Лично я начинаю думать, что нет! Все лгут, а те, что не лгут, молчат, хотя и знают кое-что. Можно подумать, что весь городок виновен в смерти Жориса...

Но комиссар только пожал плечами и, буркнув: «До скорого», вернулся к машине. К великому удивлению шофера, он коротко приказал:

— Домой!

Как будто речь шла о его собственном доме, где хозяином был он.

— Домой — в Кан?

По правде говоря, об этом он еще не думал, но слова шофера навели его на мысль.

— Да, в Кан!

Господин Гранмэзон насупился. Что касается его супруги, то она, казалось, безучастно, без всякого сопротивления плыла по течению.

* * *

По пути от городских ворот до улицы Дюфур человек пятьдесят поздоровались с четой Гранмэзон, сняв шляпу. По-видимому, все узнавали машину мэра. Здоровались почтительно. Судовладелец походил на вельможу, объезжающего свою вотчину.

— Простая формальность! — процедил Мегрэ, когда машина наконец остановилась. — Простите, что привез вас сюда. Но как я уже говорил вам, необходимо, чтобы сегодня вечером все было закончено...

По обеим сторонам тихой улицы стояли частные особняки, какие можно увидеть теперь только в провинции. Перед домом из почерневшего камня возвышалась башня. На решетке перед входом надпись на медной дощечке возвещала: «Англо-Нормандская навигационная компания». Во дворе надпись со стрелкой: «Контора». Еще дощечка, еще стрелка: «Касса» и уведомление: «Контора открыта с 9 до 16 часов.» Было немногим более

полудня. Дорога до Кана заняла всего десять минут. В этот час большинство служащих ушло на обед, но некоторые из них еще сидели за своими столами. В комнатах конторы царил полумрак и торжественная обстановка: толстые ковры, мебель в стиле Луи-Филиппа.

— Мадам, прошу вас подняться к себе. Через некоторое время, быть может, я попрошу вас уделить мне несколько минут.

Первый этаж был целиком занят под помещения компании. В просторном вестибюле по обеим сторонам стояли светильники из кованого железа. Мраморная лестница вела на второй этаж, где располагались супруги Гранмэзон. Мэр Вистреама, злобно насупившись, ждал распоряжения Мегрэ на свой счет.

— Что вы еще хотите знать? — глухо сказал он и, подняв воротник пальто, надвинул шляпу на глаза, чтобы скрыть от служащих, во что кулаки Большого Луи превратили его лицо.

— Ничего особенного. Я прошу у вас только позволения свободно походить здесь, подышать самым воздухом дома.

— Я вам нужен?

— Ни в коей мере.

— В таком случае, разрешите мне подняться к госпоже Гранмэзон.

Почтительный тон, с которым он говорил о своей жене, никак не вязался с утренней сценой в доме старухи. Мегрэ посмотрел, как он быстро поднимается по лестнице, прошел в конец коридора и удостоверился, что в особняке был только один выход. Он вышел, нашел поблизости полицейского и поставил его стоять у ограды.

— Понятно? Выпускать всех, кроме судовладельца. Вы его знаете?

— Еще бы! Но... что он натворил? Такой большой человек! Вы знаете, что он председатель Торговой палаты?

— Тем лучше!

Кабинет справа в вестибюле: «Секретарь». Мегрэ постучал, толкнул дверь, вдохнул запах сигареты, но никого не увидел. Кабинет слева: «Управляющий». Там была та же атмосфера, торжественная и значительная, те же темно-красные ковры, обои с позолотой, потолки с причудливой лепкой. Впечатление такое, что никто здесь не

осмелился бы заговорить громко. Можно было себе представить господ, преисполненных достоинства, в визитках и брюках в полоску — они курят толстые сигары и ведут деловую беседу. Да, солидное дело! С вековыми традициями, которые здесь, в провинции, передаются из поколения в поколение, от отца к сыну. «Господин Гранмэзон?.. Его подпись надежна, как золото в слитках».

Мегрэ как раз вошел в кабинет судовладельца. Мебель в стиле ампира, более подходящая для высокого начальства. На стенах фотографии кораблей, статистические данные, разноцветные графики и таблицы. Мегрэ прохаживался по кабинету, засунув руки в карманы, когда в дверях показалось испуганное лицо какого-то старика, убеленного сединами.

— Что это такое?..

— Полиция! — бросил Мегрэ таким сухим тоном, как если бы он дорожил контрастностью впечатления. Он увидел, как старик весь затрепетал, полный смятения.

— Не волнуйтесь. Речь идет о расследовании дела, которое мне поручил ваш патрон. Ведь вы...

— Главный кассир, — поспешил подтвердить старик.

— Это вы служите в компании вот уже...

— Сорок два года. Я поступил сюда еще при господине Шарле.

— Да-да. И это ваш кабинет направо? В сущности, сейчас все держится на вас, ведь правильно? По крайней мере, мне так говорили.

Здесь у Мегрэ все шло как по маслу. Достаточно было увидеть дом, затем старого слугу, чтобы обо всем догадаться.

— Это естественно, не так ли? Когда господин Эрнест отсутствует...

— Господин Эрнест?

— Ну да, господин Гранмэзон, я знал его еще ребенком, вот и зову его господин Эрнест.

Мегрэ как бы между прочим вошел в контору старика. В ней вовсе не было роскоши, чувствовалось, что посетителей там не бывает. Но, с другой стороны, письменный стол был завален кучами папок, среди которых лежали бутерброды, завернутые в бумагу. На спиртовке дымился маленький кофейник.

— Вы здесь и обедаете, господин... Вот тебе и на, вдруг забыл ваше имя.

— Бернарден... Но все меня зовут «папаша Бернар»... Я ведь живу один, так что и на обед ходить домой незачем... Вот... А господин Эрнест вас пригласил по поводу мелкой кражи на той неделе? Надо было меня предупредить.. Потому что сейчас уже все уладилось... Один молодой человек взял две тысячи франков в кассе... Его дядя возместил сумму... Молодой человек дал слово... Вы понимаете? В таком возрасте... Да и дурные примеры были у него перед глазами...

— Об этом мы еще поговорим... Прошу вас, продолжайте ваш обед... В общем, вы были доверенным лицом сначала господина Шарля, а потом господина Эрнеста...

— Сначала я был кассиром... Тогда у них не было главного кассира... Можно даже сказать, что должность эту ввели специально для меня...

— Господин Эрнест единственный сын у господина Шарля?

— Да, единственный сын. Была еще дочь, которая вышла замуж за одного промышленника из Лилля, но она умерла при родах, вместе с ребенком...

— А господин Раймон?

Старик удивленно поднял голову.

— Как! Господин Эрнест вам говорил?..

Как бы там ни было, папаша Бернар стал сдержаннее.

— Он не принадлежал к этой семье?

— Кузен! Тоже Гранмэзон... Только состояния у него не было. Отец его умер где-то в колониях... Такое случается во всех семьях, не правда ли?..

— Во всех! — подтвердил, не моргнув глазом, Мегрэ.

— Отец господина Эрнеста в некотором роде усыновил юношу... То есть подыскал ему здесь место...

Мегрэ хотел большей точности в изложении событий и он перестал хитрить.

— Минутку, господин Бернар! Позвольте, я соберусь с мыслями... Основатель «Англо-Нормандской компании» — господин Шарль Гранмэзон... Так? У господина Шарля Гранмэзона единственный сын, каковым является господин Эрнест, в настоящее время глава компании...

— Да...

Старик начал теряться. Его удивлял этот тон.

— Так! У господина Шарля был брат, который умер в колониях, оставив также единственного сына — Раймона Гранмэзона.

- Да... Я не...
- Подождите! Да ешьте, прошу вас. Господин Раймон, сирота без состояния, принят в дом своего дяди. Ему дают место в компании. Какое именно?
- Некоторое замешательство.
- Гм... Его назначили в отдел фрахтования, кем-то вроде начальника.
- Так! Господин Шарль умирает. Господин Эрнест ему наследует. Господин Раймон все еще здесь.
- Да.
- Происходит ссора! Минутку! Господин Эрнест уже женат в момент ссоры?
- Не знаю, имею ли право...
- А я бы вам советовал говорить, если вы не хотите на старости лет иметь неприятности с правосудием.
- Правосудием? Господин Раймон вернулся?
- Неважно. Господин Эрнест уже был женат?
- Нет. Еще не был.
- Так! Господин Эрнест — глава компании. Его кузен — начальник отдела. Что происходит?
- Я не думаю, что в праве...
- Я даю вам это право.
- Такое бывает во всяких семьях.... Господин Эрнест был человеком серьезным, как его отец. Даже в том возрасте, когда обычно делают глупости, он уже был таким.
- А господин Раймон?
- Прямая противоположность!
- Ну и?..
- Об этом здесь знаю только я да и сам господин Эрнест. Были обнаружены нарушения в отчетности... Серьезные нарушения.
- И?..
- Господин Раймон исчез... Иначе говоря, вместо того чтобы отдать его в руки правосудия, господин Эрнест попросил его отправиться жить за границу...
- В Норвегию?
- Не знаю... О нем я больше ничего не слышал...
- Вскоре господин Эрнест женился?
- Именно так... Через несколько месяцев...
- Стены были уставлены полками с досье зловещего зеленого цвета. Старый клерк ел без всякого аппетита. Он был встревожен и сердился на самого себя при мысли, что помимо своей воли уже столько рассказал.

— Когда это произошло?

— Дайте подумать... Это было в те годы, когда расширяли канал... Пятнадцать лет тому назад... Немного меньше...

Уже некоторое время над головой слышался звук шагов.

— Это в столовой? — спросил Мегрэ.

— Да...

И вдруг поспешные шаги, глухой удар, звук падающего на пол тела.

Папаша Бернар побледнел как лист бумаги, в которую были завернуты его бутерброды.

ХІІІ. ДОМ НАПРОТИВ

Господин Гранмэзон был мертв. Вытянувшееся на ковре тело казалось огромным — голова около ножек стола, ноги — у окна. Крови всего несколько капель. Пуля прошла между ребрами и попала в сердце. В нескольких сантиметрах от него лежал револьвер, выпавший из рук мэра в момент падения.

Госпожа Гранмэзон не плакала. Она стояла, опираясь на массивный камин, и смотрела на мужа, как будто еще не осознала случившегося.

— Кончено! — просто сказал Мегрэ, выпрямляясь.

Строгий и грустный салон. Темные шторы на окнах, сквозь которые проникал сизоватый свет дня.

— Он с вами говорил?

Она отрицательно покачала головой. Затем с трудом прошептала:

— Когда мы вернулись, он все ходил взад и вперед. Два-три раза повернулся ко мне, и я подумала, что он собирается мне что-то сказать. А потом он вдруг выстрелил, но я даже не видела револьвера...

Она говорила так, как говорят очень взволнованные женщины, когда им трудно следить за ходом своих мыслей. Но глаза ее оставались сухими. Было очевидно, что она никогда не любила Гранмэзона, во всяком случае, настоящей любви здесь не было. Он был ее мужем, и она исполняла свой долг перед ним. Привычка совместной жизни породила своего рода чувство привязанности. Но перед телом этого человека она была далека от того

душераздирающего горя, которое свидетельствует о страстном чувстве. Госпожа Гранмэзон, неподвижно глядя в пустоту и чувствуя себя совершенно разбитой, спросила только:

— Это он?

— Он. — подтвердил Мегрэ

Вокруг распростертого тела, на которое падал беспощадный свет, воцарилось молчание. Комиссар наблюдал за госпожой Гранмэзон. Он видел, как ее взгляд обратился к окну, отыскивая что-то напротив. Тень грусти легла на ее лицо

— Позвольте задать вам несколько вопросов до того, как сюда придут?

Она согласилась.

— Вы знали Раймона до знакомства с мужем?

— Я жила в доме напротив.

Серый дом, довольно похожий на этот. Над дверью позолоченный герб нотариуса.

— Я любила Раймона. И он любил меня. Его кузен ухаживал за мной, но по-своему.

— Они — очень разные, не правда ли?

— Эрнест уже был таким, каким вы его знали. Человеком холодным, без возраста. А у Раймона была дурная репутация, потому что он вел жизнь слишком беспорядочную для маленького городка. По этой причине, а также потому, что у него не было состояния, отец не соглашался на мой брак с ним.

Странными были эти признания, сделанные шепотом, рядом с телом мужа. Казалось, что это итог жизни, грустный итог.

— Вы были любовницей Раймона?

Она утвердительно опустила веки.

— И он уехал?

— Никого не предупредив. Ночью. Об этом мне сказал его кузен. Уехал, захватив с собой часть суммы из кассы компании.

— И Эрнест женился на вас. Ваш сын — не его, не правда ли?

— Это сын Раймона. Представьте себе, когда он уехал и оставил меня одну, я знала, что скоро стану матерью. А Эрнест просил моей руки. Вы только посмотрите на эти дома, улицу, город, где все друг друга знают.

— Вы сказали правду Эрнесту?



— Да. И все-таки он женился на мне. Ребенок родился в Италии, где я провела почти год, чтобы избежать кривотолков. Поведение мужа мне представлялось неким героизмом.

— А потом?

Она отвернулась, потому что ее взгляд упал на труп мужа. Вздохнув, она едва слышно продолжала:

— Не знаю. Думаю, что он любил меня по-своему. Он помогался меня и получил свое. Вы это можете понять? Человек, не способный к порыву. Женившись, он жил, как и раньше, для самого себя. Я была частью его дома. В общем, как доверенное лицо в конторе. Не знаю, получал ли он в дальнейшем известия о кузене, но когда ребенок, увидев фотографию Раймона, спросил о нем, Эрнест ответил:

— Это кузен, который плохо кончил.

Мегрэ был серьезен и слегка взволнован: пред его глазами предстала целая жизнь. И не одна, а жизнь дома, семьи. Ведь так продолжалось пятнадцать лет! Покупались новые пароходы. Устраивались приемы в этом же салоне, партии в бридж и званые вечера. Были и крестины. Лето проводили в Вистреаме или в горах.

А сейчас госпожа Гранмэзон чувствовала лишь усталость. Она опустила в кресло, провела рукой по лицу.

— Не понимаю, — прошептала она. — Этот капитан... Я его никогда не видела. Вы правда думаете, что?..

Мегрэ прислушался и пошел открывать дверь. На пороге стоял старый служащий. Он был встревожен, но не осмеливался войти в комнату. Он вопросительно смотрел на комиссара.

— Господин Гранмэзон умер. Сообщите домашнему врачу, а служащим и слугам немного погоды.

Он закрыл дверь, сунул было руку в карман за трубкой, передумал. Он испытывал странное чувство симпатии, уважения к этой женщине, которая при первой встрече показалась ему весьма банальной.

— Это муж послал вас вчера в Париж?

— Я не знала, что Раймон во Франции. Муж меня просто попросил забрать сына в коллеже и провести с ним несколько дней на юге. Я сделала, как он хотел, хотя не понимала, зачем это нужно. Но когда я приехала в гостиницу «Лютетия», Эрнест мне позвонил и сказал, чтобы я не шла в коллеж, а немедленно возвращалась.

— А сегодня утром это Раймон звонил вам?
— Да, позвонил и умолял срочно привезти ему немного денег. Он мне клялся, что от этого зависит наше общее благополучие.

— Он не обвинял вашего мужа?
— Нет, там, в деревянной лачуге, Раймон о нем даже не говорил. Он говорил про своих моряков, друзей, которым он должен заплатить, чтобы уехать отсюда. Говорил о каком-то кораблекрушении.

Пришел врач, друг семьи. Он был потрясен.

— Господин Гранмэзон покончил с собой! — решительно объявил Мегрэ. — Вам же еще надлежит определить болезнь, от которой он скончался. Вы меня понимаете? Полицию я беру на себя...

Он подошел к креслу, поклонился госпоже Гранмэзон, которая после некоторого колебания спросила:

— Вы мне не сказали, почему...

— Раймон вам когда-нибудь все расскажет... И последний вопрос. Шестнадцатого сентября ваш сын был в Вистреаме с вашим мужем, не так ли?

— Да, он оставался там до двадцатого...

Пятясь спиной к двери, Мегрэ вышел из комнаты. Тяжело ступая, он спустился по лестнице на первый этаж, прошел по коридору, ощущая груз на своих плечах и какое-то отвращение в душе. На улице он глубоко вдохнул свежий воздух и постоял некоторое время с непокрытой головой, под дождем, как если бы хотел освежиться, стряхнуть с себя страшную атмосферу этого дома. Взглянув последний раз на окна, Мегрэ посмотрел на дом напротив, где госпожа Гранмэзон провела свою юность. И глубоко вздохнул.

* * *

— Выходите!..

Мегрэ открыл дверь камеры, в которой был заперт Раймон, и знаком велел арестованному следовать за ним. Он шел впереди, сначала по улице, потом по дороге, ведущей в порт. Мартино удивлялся, не понимая причины этого странного освобождения.

— Вы ничего не хотите мне сказать? — бросил Мегрэ нарочито недовольным тоном.

— Ничего!

— Вы дадите себя осудить?

— Я повторю перед судьями, что не убивал!

— Но правды вы не скажете?

Раймон опустил голову. Вдали уже виднелось море, слышались гудки буксира, который шел по направлению к пирсу, ведя за собой на стальном тросе «Сен-Мишеля». Тогда небрежно, как о самом обыденном случае, Мегрэ сказал:

— Гранмэзон умер.

— А? Что вы сказали?..

Мартино схватил его за руку и лихорадочно сжал ее.

— Он?..

— Покончил с собой час тому назад, у себя дома.

— Он все рассказал?

— Нет! Он ходил четверть часа взад и вперед по салону, потом выстрелил... Вот и все!..

Они сделали еще несколько шагов. Вдали на стенках шлюза виднелась толпа людей, наблюдавших за спасательными работами.

— Так вот теперь вы можете сказать мне всю правду, Раймон-Гранмэзон... Кроме того, я уже знаю ее в самых общих чертах... Вы хотели забрать с собой вашего сына?

Молчание в ответ.

— За помощью, помимо других людей, вы обратились к капитану Жорису... Но, к несчастью...

— Замолчите! Если бы вы знали...

— Пройдем сюда. Здесь меньше народу...

Дорога вела к пустынному берегу, на который накатывались волны.

— Вы действительно когда-то сбежали с кассой?

— Это Элен вам сказала?..

Его голос стал колючим:

— Ну конечно... Эрнест ей по-своему изложил события... Что ж, я не претендую на то, что был ангелом... Жил, как говорится, весело... И одно время особенно увлекался игрой... Выигрывал, проигрывал... Правда, однажды я воспользовался деньгами компании и мой кузен это заметил... Я обещал постепенно все возместить и умолял его не доводить дело до скандала. Он решительно хотел обратиться в суд, но согласился при одном условии: чтобы я уехал за границу и никогда больше не возвращался во Францию! Понимаете теперь! Он добивался Элен! И достиг своего!

Горько улыбнувшись, Раймон замолчал. Затем продолжил:

— Обычно люди отправляются на юг или в восточные страны. Меня же привлекал Север, и я обосновался в Норвегии. Жил без всяких новостей с родины. Письма, которые я писал Элен, оставались без ответа, а вчера я узнал, что она их и не получала. Я писал своему кузену, но тоже безрезультатно... Я не хочу показаться лучше, чем есть на самом деле, или разжалобить вас историей несчастной любви. Нет! Вначале я не так много об этом думал. Была работа и всякого рода трудности. Вот разве что по вечерам на меня находила такая тоска! Были и неприятности. Одно время в компании, которую я организовал, дела шли неважно. И так год за годом, то лучше, то хуже, в чужой для меня стране. Там я изменил фамилию. Принял норвежское подданство, чтобы вести работу в наиболее благоприятных условиях. Время от времени моими гостями были офицеры с французских судов, и от них я однажды узнал, что у меня есть сын. Я еще сомневался, но сопоставил даты и был потрясен. Написал Эрнесту. Умолял его сказать правду, позволить мне вернуться во Францию, хотя бы на несколько дней. Он ответил мне телеграммой: «Арест при пересечении границы». Прошло время. Я принялся вовсю зарабатывать деньги. Это скучно рассказывать... Только вот на душе была пустота. В Тромсое — три месяца полярная ночь. И тогда тоска особенно гложет. Чтобы обмануть самого себя, я поставил цель: стать таким же богатым, как мой кузен. Я достиг цели. Разбогател на торговле тресковой икрой. А когда мне это удалось, я почувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Тогда я внезапно вернулся и твердо решил действовать. Да, после пятнадцати лет. Я все бродил здесь... видел сына на пляже, Элен издалека. Никак не понимал, как я до сих пор мог жить без сына. Понятно ли вам это? Купил судно. Если бы я действовал открыто, мой кузен не задумываясь отправил бы меня в тюрьму. Ведь он сохранил доказательства. Вы видели мой экипаж — хорошие люди, несмотря на внешность. Все было рассчитано. В тот вечер Эрнест Гранмэзон был дома один с мальчиком. Для большей надежности и чтобы уж использовать все шансы, я попросил помощи у капитана Жориса, с которым познакомился в Норвегии, когда

он еще плавал. Поскольку Жорис знал мэра, мы договорились, что он его посетит, придумав предлог, и отвлечет его внимание в тот момент, когда мы с Большим Луи будем забирать моего сына.

Увы! Это и привело к драме. Жорис разговаривал с моим кузеном в кабинете. Мы вошли с заднего хода, но, к несчастью, в коридоре уронили швабру, которая стояла у стены. Гранмэзон услышал шум, подумал, что это грабители, и выхватил из ящика револьвер. Что дальше? Какая-то беспорядочная сцена. Жорис выбежал за Гранмэзоном в коридор. Там не было света. Выстрел... И надо же так случиться, чтобы пуля угодила в Жориса! Я с ума сходил от отчаяния, боялся скандала, особенно боялся за Элен. Ну мог ли я рассказать всю эту историю полиции? Жориса мы с Большим Луи перенесли на борт «Сен-Мишеля»... Ему нужна была медицинская помощь, и мы пошли в Англию, куда добрались через несколько часов. Увы, без паспортов на берег не выпускали. Полиция была начеку. Строгий контроль по всей набережной. Когда-то я немного занимался медициной. Оказал Жорису кое-какую помощь, но этого было мало. Тогда мы взяли курс на Голландию. Там раненого трепанировали, но не могли держать его в клинике дольше без ведома властей. Жуткие воспоминания. Представьте себе нас с умирающим Жорисом на борту! Требовались месяцы лечения, отдыха. Я хотел было вести шхуну в Норвегию, но этого не понадобилось, поскольку случай нас свел с капитаном одного судна, которое шло на Лофотенские острова. Я взял Жориса с собой на борт. На море мы были в большей безопасности, чем на суше. Он провел в моем доме восемь суток. Но и там соседи стали интересоваться таинственным гостем. Надо было снова менять место. Копенгаген... Гамбург... Жорис чувствовал себя лучше. Рана затянулась, но при этом он потерял и память, и дар речи. Ну что я мог поделать, скажите на милость? Мне казалось, что дома, в привычной обстановке, он вновь обретет память, скорее, чем так — бродя по свету... Я решил, по крайней мере, обеспечить Жориса материально и послал триста тысяч франков в банк на его имя. Но как доставить его обратно? Я рисковал очень многим, возвращаясь сюда вместе с ним. А если его оставить в Париже, решил я, то он неизбежно попадет в полицию, где в конце концов его опознают и отвезут домой.

Так и произошло. Только одного я не мог предвидеть, что мой кузен, трепеща от страха при мысли о том, что Жорис может его выдать, подло прикончит капитана. Ведь это он положил стрихнин в стакан с водой. Ему достаточно было войти в дом с черного хода, по пути на охоту.

— И вы продолжили борьбу! — медленно произнес Мегрэ.

— Иначе я не мог поступить! Я хотел забрать сына! Только кузен был начеку. Мальчик вернулся в свой колледж, откуда мне бы его не отдали.

Все это Мегрэ знал, но, глядя теперь на ставшую привычной обстановку, он лучше понимал значение незримой борьбы, которая развернулась между этими двумя людьми. Борьба не только между ними двумя! Но и борьба против него, Мегрэ! Нельзя было допустить, чтобы вмешалась полиция! Ни тот, ни другой не могли сказать правду!

— Я пришел сюда на «Сен-Мишеле»...

— Знаю! И вы послали к мэру Большого Луи...

Раймон невольно улыбнулся, а комиссар продолжал:

— Рассвирепевшего Луи, который выместил на мэра все горести своей жизни! И он мог бить безнаказанно, зная, что его жертва не осмелится звать на помощь! Ну и потешил он душу! При помощи угроз он получил письмо, позволяющее вам забрать ребенка из коллежа.

— Да. Я прятался за виллой, а ваш коллега преследовал меня по пятам. Большой Луи оставил письмо в условном месте, а я отделался от своего преследователя. Взял велосипед. В Кане купил машину. Надо было спешить. Пока я ехал за сыном, Большой Луи оставался у мэра, чтобы помешать ему отменить его распоряжение. Напрасный труд, поскольку кузен успел уже послать Элен за ребенком. Вы приказали меня задержать. Борьба была закончена, когда вы так упорно добивались раскрытия преступления. Оставалось только бежать. Если бы мы остались, вы неизбежно открыли бы правду. Отсюда и события прошлой ночи. Но неудачи преследовали нас. Шхуна села на мель. Мы едва добрались вплавь до берега, и при этом я, к несчастью, потерял бумажник. Без денег! И жандармы на хвосте! Мне оставалось одно: позвонить Элен, попросить у нее несколько тысяч франков, чтобы нам вчетвером добраться до границы. В Норвегии я мог бы возместить убытки моим друзьям. Элен сразу

же приехала. Но и вы тоже! Вы все время стояли у нас на пути! Упорно добивались правды, а мы вам ничего не могли сказать. Ведь не мог я вам крикнуть, что вы рискуете вызвать новые беды!

Внезапно в его глазах промелькнула тревога и изменившимся голосом он спросил:

— Кузен действительно покончил с собой?

Вдруг ему солгали, чтобы заставить его говорить?

— Да, он покончил с собой, когда понял, что правды не скрыть. А понял он это, когда я вас арестовал. Догадался, что я это сделал только для того, чтобы дать ему время поразмыслить.

Они продолжали идти, потом внезапно оба остановились. Они уже стояли на пирсе. Перед ними медленно проходил «Сен-Мишель». Лихо крутя штурвалом, шхуну вел какой-то старый рыбак. Кто-то подбежал, растолкал зевак и первым прыгнул на палубу шхуны. Большой Луи! Он убежал от жандармов, сорвал наручники! Оттолкнув рыбака, он схватил штурвал в свои руки.

— Потихе, черт подери!.. Угробите шхуну! — орал он матросам с буксира.

— А где двое других? — спросил Мегрэ у своего спутника.

— Сегодня утром вы были в одном метре от них. Они оба спрятались в деревянном сарае у старухи...

Люка, расталкивая толпу, пробирался к Мегрэ. Он казался удивленным.

— Вы знаете, мы их взяли!

— Кого?

— Ланнека и Селестена.

— Они здесь?

— Жандармы из Див их только что доставили.

— Так вот, скажи, чтобы их отпустили. И пусть они оба идут в порт.

Напротив виднелся дом капитана Жориса и сад, в котором от ночной бури облетели последние лепестки роз. За занавеской чей-то силуэт: это была Жюли. Она не верила своим глазам, заметив на палубе брата.

У шлюза портовики окружили капитана Делькура.

— Заставили же они меня попотеть своими уклончивыми ответами! — вздохнул Мегрэ.

Раймон улыбнулся.

— Ведь это моряки!

— Я знаю! Они не любят, когда сухопутные крысы, вроде меня, суются в их дела!

Указательным пальцем он уминал табак в своей трубке. Закурив, он прошептал, озабоченно нахмурив лоб:

— Что же им сказать?

Эрнест Гранмэзон был мертв. Нужно ли объяснять, что убийцей был он?

— Можно было бы... — начал Раймон.

— Не знаю! Сказать, что речь идет о какой-то старой вражде! Один моряк-иностранец, который отомстил и скрылся.

Моряки с буксира тяжело шагали в бистро и знаками звали с собой шлюзовщиков. А Большой Луи сновал взад и вперед по палубе шхуны, трогал ее со всех сторон, как если бы он ощупывал вернувшуюся домой собаку, чтобы удостовериться, что она не ранена.

— Эй! — крикнул ему Мегрэ.

Матрос так и подскочил на месте. Он не решался подойти, вернее, снова оставить шхуну. Когда он увидел Раймона на свободе, он опешил так же, как и Люка.

— Как это?..

— Когда «Сен-Мишель» сможет выйти в море?

— Хоть сейчас! Никаких поломок! Чудо, а не корабль, точно вам говорю!

Он вопросительно смотрел на Раймона, и тот произнес:

— В таком случае, прогуляйся-ка на шхуне с Ланнеком и Селестеном...

— Они здесь?

— Сейчас придут. Несколько недель морской прогулки. Подальше отсюда. Чтобы о «Сен-Мишеле» здесь уже больше не говорили.

— Я мог бы, к примеру, захватить с нами сестрицу — занялась бы стряпней. Знаете, моя Жюли не струсит.

И все-таки ему было неловко перед Мегрэ. Он помнил о событиях прошлой ночи. И еще не знал, уместна ли улыбка по этому поводу.

— Вы не простыли, по крайней мере?

Они стояли на краю шлюза, и Мегрэ одним толчком отправил его барахтаться в воду.

— Мой поезд отходит, кажется, в шесть, — сказал затем комиссар. Однако он не решался уйти. Он смотрел вокруг себя с каким-то чувством грусти, как будто этот

маленький порт стал ему дорог. Разве не были ему теперь знакомы все его закоулки, при разной погоде, под еще неярким утренним солнцем и в бурю, залитые дождем или окутанные туманом?

— Вы едете в Кан? — спросил он у Раймона, который не отходил от него.

— Не сразу. Я думаю, так будет лучше... Надо, чтобы прошло какое-то...

— Да, время...

Когда через четверть часа вернулся Люка и спросил, где Мегрэ, ему показали на «Приют моряка». Там уже горел свет.

Через запотевшие окна он увидел комиссара. Мегрэ сидел, удобно устроившись на соломенном стуле, с трубкой в зубах и кружкой пива в руке. Он слушал истории, которые рассказывали вокруг него люди в морских фуражках и резиновых сапогах.

И тот же Мегрэ в поезде, около десяти часов вечера, вздохнул:

— Должно быть, сидят сейчас все трое в кубрике, в тепле...

— В каком кубрике?

— На борту «Сен-Мишеля». Сидят под лампой у стола, изрезанного ножом, с тяжелыми стаканами и бутылкой голландского джина. Печка потрескивает... Дай-ка мне спички!



ПАССАЖИР «ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ»







1. СГЛАЗ

Это болезнь, которая внезапно поражает корабли на всех морях земного шара, и причины ее таятся в необозримых пределах того, что именуется Случаем

Даже если первые ее проявления малозаметны, взгляд моряка все равно распознает недуг. Вдруг, ни с того ни с сего, ванта лопается, как скрипичная струна, и отрывает марсовому руку. Юнга, чистя картошку, царапает себе палец, а с рассветом уже воет от флегмоны.

Бывает и хуже: то не удастся маневр, то шлюпка сдуру ударится о форштевень.

Но это еще не сглаз. Сглаз — это когда одна беда валится за другой. И редко случается так, чтобы в ночь или на утро после первой не страшась вторая

А уж тогда все начинает идти вкривь и вкось и экипажу остается лишь стискивать зубы и считать удары. Именно в такие минуты машину, тридцать лет

работавшую без единой аварии, неожиданно заедает, как старую кофейную мельницу. Вопреки опыту, самым тщательным расчетам и благоприятным метеорологическим прогнозам противные ветры не унимаются по три недели, да еще там, где им никак не полагается буйствовать в такое время. Первая же волна смывает за борт матроса. И в довершение на борту начинает свирепствовать если уж не чума, то дизентерия.

Счастье еще, если судно не сядет на банку, которую до этого благополучно огибало раз сто, или не врежется в мол при входе в порт.

Как явствовало из объявления на почтовом ящике возле трапа, «Полярная лилия», пришвартованная у пирса № 17, в одном из самых дальних и грязных уголков гамбургского порта, отваливала в три часа пополудни.

Не пробило еще двух, как капитан Петерсен уже почувствовал: жди сглаза.

А ведь человек он был энергичный, здоровый, очень сильный, хоть и невысок ростом. С девяти утра он безостановочно мерил шагами палубу, присматривая за погрузкой.

Над портом, сочась ледяной сыростью, висел необычайно плотный изжелта-серый туман, настолько пропитанный копотью, что города было почти не видно — только огни трамваев да освещенные, как ночью, дома.

Кончался февраль, стояли холода, и влажная пыль, сквозь завесу которой на ощупь пробирались прохожие, оседала изморозью на лицах и руках.

Надсаживались гудки, и в их оглушительной какофонии тонул скрежет подъемных кранов.

Палуба «Полярной лилии» была почти пуста: только у носового трюма суетилось четверо матросов, то застрапливая, то отцепляя ящики и бочонки.

А может быть, капитан Петерсен почуял сглаз еще в десять утра, когда вернулся Вринс?

Пароход у Петерсена был самый заурядный — водоизмещение примерно тысяча тонн, палуба вечно загромождена грузом. Насквозь пропахший треской, он обслуживал линию Гамбург — Киркенес с заходом в самые мелкие порты норвежского побережья.

«Полярная лилия», судно смешанного грузо-пасса-

жирского типа, могло принять на борт пятьдесят пассажиров первого класса и столько же — третьего. В Норвегию она везла машины, фрукты, солонину. Оттуда — сотни бочонков трески, а с самого Крайнего Севера — медвежьей шкуры и ворвань.

До Лофотенов климат был еще туда-сюда. Дальше сразу же начинались морозы и полярная ночь.

Офицеры были норвежцы и славные ребята. Они заранее знали, сколько бочонков возьмут у «Олсена и К°» в Тромсё и кому предназначены станки, погруженные в Гамбурге.

В то утро Петерсен сам оторвал от тужурки последнюю нашивку — она держалась на ниточке.

И на тебе! Компания присылает ему вместе с кучей рекомендаций нового третьего помощника — девятнадцатилетнего голландца, такого тощего и узкоплечего, что на вид ему не дашь и шестнадцати.

Мальчишка неделю назад закончил мореходное училище в Делфзейле. На корабль явился вчера, бледный, взволнованный, в умопомрачительно отутюженной форме, вытянулся, руки по швам:

— К вашим услугам, господин капитан.

— Вот что, *господин* Вринс, — усмехнулся Петерсен, — в данный момент я не нуждаюсь в ваших услугах. Вы свободны до завтра. В качестве третьего помощника займетесь посадкой пассажиров.

Вринс ушел. Ночью не вернулся. А в десять утра капитан увидел, как он вылезает из такси — лицо землистое, веки набрякли, в глазах испуг, по трапу поднялся с трудом.

Петерсен повернулся к нему спиной, услышал, как шелкнули каблучки в знак приветствия, и Вринс проследовал к себе в каюту.

— Совсем раскис, — доложил чуть позже стюард. — Попросил кофе покрепче. Растянулся на койке, едва языком ворочает, ко рту спичку поднеси — вспыхнет.

Разумеется, это еще не катастрофа. Но когда привыкаешь жить со своими офицерами одной семьей, не очень-то приятно получить себе на шею этакого юнца, особенно после письма директора компании с просьбой посодействовать новичку на первых порах.

В девятнадцать лет Петерсен мореходку не кончал, зато успел трижды обогнуть земной шар.

Он мог бы предсказать это заранее. Беды пошли валиться одна за другой. Засунув руки в карманы и попыхивая трубкой, Петерсен обходит пароход и замечает рыжего верзилу; тот прислонился спиной к фальшборту и свертывает папироску. Приветствует капитана еле заметным кивком и тут же лезет в карман за спичками.

Ясное дело, портовая крыса! Один из тех бродяг Севера, что непохожи на остальных бродяг земли. Мужчина лет сорока, высокий, сильный, здоровый на вид, несмотря на недельную щетину и чуточку ввалившиеся щеки. Он неторопливо покуривает, выпятив грудь в стареньком ландверовском¹ мундире, на котором сменил пуговицы.

— Ты что тут делаешь?

Неизвестный подбородком указывает на старшего механика — тот как раз проходит по мостику. Стармех объясняет капитану:

— У Ганса приступ малярии. Пришлось оставить его на берегу. А тут, гляжу, на пирсе этот парень болтается. Вот и взял его угольщиком. Сдюжит — крепкий.

— Документы есть?

— В порядке: выпущен из тюрьмы в Кёльне, — рассмехался стармех и ушел.

— Второй сюрприз! — буркнул Петерсен.

Вообще-то, ему совершенно безразлично, что новичок вышел из тюрьмы: в угольщики берешь кого попало. Но этот тип сразу пришелся не по душе Петерсену. Расхаживая по палубе, капитан украдкой наблюдает за ним.

Самоуверенность, нахальство, даже дерзость — обычные приметы немецких бродяг. У этого вдобавок во взгляде ирония. Чувствует, что к нему присматриваются, но продолжает курить: подклеит языком папироску и смотрит, как дым смешивается с туманом.

— Как зовут?

— Петер Круль.

— За что сидел?

— В последний раз — ни за что. Судебная ошибка.

Говорил новичок не спеша, тягучим голосом, и отступить пришлось капитану.

К тому же в этот момент лопнул трос, и ящик с трактором грохнулся в трюм с шестиметровой высоты.

¹ Л а н д в е р — в Германии до 1918 г. войсковые части из военно-обязанных второй очереди.

А тут еще появился первый пассажир. Петерсен успел рассмотреть лишь зеленый чемодан да серое пальто.

— Где Вринс? — спросил он стюарда. — Надеюсь, он не заставит меня заниматься пассажирами?

— Сидит в салоне над пассажирским списком.

Это была правда. Вринса наверняка мутило, голова раскалывалась, но он был на своем посту. Встретил пассажира, записал паспортные данные, проводил до каюты.

Как всегда, последние два часа прошли сумбурно. Машины с грузом опоздали, а подъемные краны все равно быстрее работать не заставишь.

— Тем хуже! Чего не погрузим — оставим.

Традиционная, никого не пугающая угроза! На борт в сопровождении носильщика поднялась пассажирка. Полиция прицепилась к Вринсу — он заполнил не все графы.

С первым ударом колокола путь перед «Полярной лилией» был свободен. Но пять минут спустя, когда отдали швартовы, большой английский танкер ухитрился стать к ней бортом, и пришлось выполнять сложные маневры.

По своим делам шла себе еле заметная над водой моторка с одиноким попыхивавшим трубкой моряком у руля.

Ее чиркнули бортом. Она наполовину погрузилась в воду и только чудом продолжала лавировать между черными корпусами грузовых судов, высившихся вокруг нее, как стены.

По Эльбе двигалась целая процессия — три каравана пароходов, тянувшихся друг за другом в тумане, который не давал разглядеть даже кормовой огонь впереди идущего, и гудки непрерывно затевали меж собой яростную перебранку.

Суда побыстроходней упорно старались обогнать остальные. Между пароходами пробирались парусники, и бледно-серые их фоки¹ внезапно вырастали меньше чем в кабельтове² от «Полярной лилии».

— Малый вперед!.. Стоп!.. Задний ход!.. Стоп!.. Малый вперед!.. Средний ход!.. Стоп!

Позвякивал машинный телеграф, и пароход кое-как, рывками, продвигался сквозь ледяную муть.

¹ Прямой, самый нижний парус на передней мачте.

² Старинная морская мера длины, равная 185,2 метра.

В семь вечера «Полярная лилия» все еще шла по реке, и Куксхафенский маяк, за которым начинается море, до сих пор не выступил из тумана.

Оставив на мостике второго помощника в обществе лоцмана, капитан спустился вниз и приготовился к другой своей тяжелой обязанности — играть роль хозяина за столом для пассажиров.

Стюард шагал мимо кают, настойчиво орудуя гонгом: он по опыту знал — в первый день пассажиры не торопятся.

— Пять приборов? — удивился Петерсен.

— Трое мужчин, одна дама... Вот и она.

Вид у дамы, державшей во рту папиросу в нефритовом мундштуке, был совершенно непринужденный, а туалет такой, словно ее ждал обед на борту шикарного трансатлантического лайнера: казалось, на ней нет ничего, кроме черного шелкового платья.

Странное создание! Маленькая, тоненькая, нервная, чувственность в каждом движении, и все это подчеркнуто самоновейшими ухищрениями моды. Словом, совершенно особый тип женщины!

Волосы у нее были белокурые, как у ребенка, и такие же мягкие. Разделенные на пробор и только на висках чуть-чуть подвитые, они падали на щеки, оттеняя удлинённый овал лица.

Зрачки у нее темные. Ресницы, чтобы еще больше усугубить контраст с шевелюрой, подкрашены черным. Рот небольшой.

— Капитан?.. — вопросительным тоном начала она.

— Капитан Петерсен.

Он едва успел умыться. По его густым волосам не худо было бы пройтись гребешком.

— Не угодно ли сесть?

Пассажирка и это проделала все так же непринужденно, выбрав подходящее ей место — справа от капитана.

Вошел один из пассажиров, пожал Петерсену руку, машинально бросил:

— Дрянная погода!

Это был Белл Эвйен, управляющий Киркенесскими рудниками, ежегодно ездивший в Лондон и Берлин; месяц назад он отплывал на той же «Полярной лилии» из Киркенеса. Эвйен с интересом взглянул на молодую жен-

щину. А еще через секунду, не сказав ни слова, с присутствующими поочередно раскланялся новый пассажир, высокий молодой человек с бритой головой, без бровей и ресниц и в очках с такими толстыми стеклами, что глаза под ними казались просто огромными.

— Подавайте, стюард! К пятому пассажиру постучитесь позже.

Один прибор оказался свободен. Меню было типично скандинавское: суп, горячее второе, всевозможные холодные блюда — копчености, соленья, рыбные консервы, потом компот и сыр.

— Номер восемнадцатый не отвечает.

— Скажите третьему помощнику — пусть займется.

Дважды Петерсен, встревоженный внезапным замедлением хода, поднимался на мостик. Обстановка не изменилась: туман, вереница пароходов, гудки и свистки.

За столом молчали. В перерыве между двумя блюдами пассажирка прикурила папиросу от зажигалки, подлинного чуда ювелирного искусства. Петерсен решил, что она и бритоголовый пассажир — немцы.

— Кофе подадут в салон, — вставая, произнес он наконец формулу, которую вот уже двенадцать лет повторял в каждом рейсе.

Остановившись у своей каюты, он набивал трубку, когда пассажирка проследовала мимо него к узкому трапу, ведущему в курительный салон. Пока она поднималась, Петерсен любовался ее ногами, которым черный шелк придавал особую стройность, точеными коленями и ослепительной кожей.

— Ну-с, *господин* Вринс?

Молодой человек непроизвольно вытянулся. Губы у него дрожали. Он застыл, как будто неожиданно очутился в самой гуще каких-то драматических событий.

— Пассажира нигде нет. А багаж в каюте.

— Кто он?

— Эрнст Эриксен из Копенгагена. Я видел его меньше чем за час до отплытия.

— Господин в сером пальто, чемодан зеленый?

— Так точно... Я все обшарил.

— Значит, сошел на берег за газетами и опоздал к отходу.

Эвйен и молодой человек в очках вернулись к себе в

каюты. В салоне осталась только пассажирка. Вдруг Петерсен услышал, как она вскрикнула. Хлопнула дверь, и наверху у трапа появилось черное шелковое платье.

— Капитан...

Дама казалась взволнованной, прижимала руки к груди, унимая сердцебиение, но все-таки силилась улыбнуться.

— Что случилось?

— Не знаю... Я, наверное, зря перепугалась. Вошла в салон. Кофе и чашки уже на столе. Я стала себе наливать. Тут мне почудилось, что сзади кто-то есть. Оборачиваюсь и вижу какого-то человека. Убеждена: он тоже испугался, потому что вскочил и выбежал.

— Куда?

— Вон в эту дверь. Она ведь выходит на прогулочную палубу?

— Он был в сером пальто?

— Да, в сером... Я закричала. Почему он убежал?

Пассажирка говорила, а Петерсену казалось, что ее слова адресуются не столько ему, сколько Вринсу.

— Сходите проверьте! — приказал он помощнику.

Тот явно заколебался. Особенно отчетливо это стало видно, когда ему, чтобы разминуться с пассажиркой, пришлось пройти почти вплотную к ней.

— Успокойтесь, сударыня. Мы сейчас во всем разберемся.

Она изобразила нечто вроде улыбки и с кокетливой гримаской полюбопытствовала:

— Значит, я останусь в салоне одна?

— К вам не замедлят присоединиться ваши спутники.

— А вы сами разве не пьете кофе?

Петерсен ощущал слабый аромат ее духов, он даже поклялся бы, что чувствует тепло, излучаемое ее телом. Когда, чуть позже, она наливала ему кофе, он разглядел каждую линию ее фигуры и, обернувшись, юная дама заметила, что он, раскрасневшись больше обычного, поправляет галстук.

Вошел Эвйен.

Когда капитан выходил из салона, рассчитанного на пятьдесят человек и довольно комфортабельного, хотя не очень уютного, — помещение было отделано слишком светлым дубом, — Эвйен, сидя в углу, просматривал коммерческие документы, извлеченные им из портфеля.

В противоположном углу молодой человек в очках читал газету «Берлинер Тагеблат».

На столе, расположенном на равном от обоих удалении, пассажирка, достав колоду миниатюрных карт, раскладывала пасьянс.

— Не дадите ли прикурить, капитан?

Ему пришлось вернуться. Она потянулась к нему своим длинным мундштуком и наклонилась так низко, что взгляд Петерсена невольно скользнул к ней за вырез платья.

— Благодарю... Выходим в море?

— Да, скоро Куксхафен. Мне пора на мостик.

Вблизи Петерсен заметил, что у нее, как и у Вринса, веки набрякшие, лицо усталое, словно после бессонной ночи, а то и нескольких. Как и у Вринса, губы порой неожиданно начинают дрожать.

На мостике он застал третьего помощника — тот как раз искал капитана, и лицо у него было такое растерянное, словно он только что плакал.

— Нашли?

— Нет. Он где-то прячется — это ясно. А я ведь взял с собой трех матросов. Но дело не в этом...

Петерсен не слишком ласково взглянул на него.

— В чем же?

— Я хотел сказать вам, капитан, что... что я бесконечно сожалею о...

Голос его надломился, на глаза навернулись слезы.

— Клянусь, это чистая случайность. Я в жизни не пил. Но прошлой ночью... Не могу вам объяснить, но мне нестерпимо думать, что вы...

— Все?

Вринс побелел, и в капитане затеплилась жалость.

— Вы считаете, я все еще пьян? Даю честное слово...

— Идите!

Едва Петерсен натянул кожанку и встал рядом с лоцманом, в нескольких метрах от «Полярной лилии» проскользнул зеленый бортовой огонь грузового парохода, шедшего вверх по Эльбе.

— До сих пор не выбрались?

Лоцман ткнул левой рукой во мрак и буркнул:

— Куксхафен!

Он был лоцман-речник, и у портового маяка его ждала моторка.

Капитан угостил его в штурманской рубке традиционным стаканчиком шнапса, обменялся с ним несколькими общими фразами. Налил еще стаканчик, но тут машина сбавила обороты, а затем вовсе остановилась.

Вскоре во тьме, над самой водой, засверкал огонек. Казалось, до него очень далеко, но не прошло и секунды, как он превратился в карбидный фонарь, который уже можно было разглядеть в деталях. Толчок в корпус под штурмтрапом. Короткое рукопожатие.

— Доброй ночи!

Стюард заканчивал уборку ресторана. Никто из трех пассажиров, сидевших в салоне на расстоянии метров в восемь с лишним друг от друга, казалось, по-прежнему не обращал внимания на соседей, хотя Эвйен то и дело поглядывал на молодую женщину.

Лоцман спустился в моторку и сразу же крикнул:

— Эй, капитан! Тут к вам...

Перегнувшись через поручни, Петерсен разглядел мужчину в длинном пальто и с объемистым чемоданом в руке.

— Что вам угодно?

— Сейчас объясню.

Мужчине пришлось помочь взобраться по трапу. Очувтившись на палубе, он с беспокойством огляделся и представился:

— Советник полиции фон Штернберг. Не поспел на пароход в Гамбурге и догнал вас на автомобиле.

Это был человек лет пятидесяти и довольно необычайной внешности: острая бородка, густые брови, свободное пальто неопределенного цвета, скрадывающее фигуру.

— Есть буду у себя в каюте, — добавил он, когда «Полярная лилия» вновь начала набирать ход. — Если пассажиры спросят...

— Их всего трое.

— Если пассажиры спросят, вы ответите, что я болен и не встаю. Фамилию назовете другую. Скажем, Вольф. Герберт Вольф, меховщик. Стоимость проезда я оплачу.

— Вы в командировке? — осведомился Петерсен, настроение у которого еще больше испортилось. — У меня на борту кто-нибудь...

— Я сказал: советник полиции, а не инспектор.

— Но...

Капитан, разумеется, знал, что советник полиции —

высокий чин в Германии: в обязанности такого лица не входит поимка злоумышленников. Но речь шла о полиции, и этого было достаточно, чтобы Петерсен пришел в раздражение: он, капитан, любил чувствовать себя хозяином на судне.

— Поступайте, как знаете, — проворчал он. — Только вот что: если вас интересует Эрнст Эриксен, сразу предупреждаю — он испарился. Исчез и прячется неизвестно где, хотя проезд оплатил и багаж его в каюте. Стюард! Проводите пассажира в одну из свободных кают. Туда и будете подавать еду господину... Вольфу. Так, не правда ли? — добавил он, обращаясь к человеку в пальто.

На вахту Петерсен заступил в шесть утра, и ему давно полагалось бы спать. Он вернулся к себе, лег на койку, но не смог отключиться и по-прежнему чутко прислушивался к шагам в коридоре.

Услышал, между прочим, как вернулись в свои каюты Эвйен и бритоголовый. Но хотя было уже за полночь, дверь пассажирки все еще не открылась. Капитан звонком вызвал стюарда.

— Все легли?

— Нет, не все. Дама...

— Все еще раскладывает пасьянс?

— Виноват, она прогуливается по палубе.

— С кем?

— С господином Вринсом.

— Он что, посмел подсесть к ней в салоне?

— Нет, был у себя в каюте. Она сама попросила меня позвать его.

Капитан тяжело повернулся на койке и пробормотал что-то невнятное по адресу стюарда; тот постоял немного и вышел.

2. НЕОБЫЧНЫЙ ПАССАЖИР

На другой день первый пассажир появился на палубе в девять утра, когда капитан давно уже нес вахту.

Было воскресенье. В принципе, оно на «Полярной лилии» ничем не отличалось от буден. И все-таки нечто неуловимое в атмосфере, царившей на судне, делало этот день непохожим на остальные.

Под утро температура воздуха упала до нуля и даже чуть ниже. Когда неумытый и небритый Петерсен натягивал перед вахтой кожанку, воздух был еще пропитан чем-то вроде дождевой пыли.

С наступлением дня она превратилась в иней, и солнце вскоре растопило покрывавший палубу слой крошечных белых крупинок.

Странное солнце! Спит, а не греет, хуже того, не веселит. Дул холодный ветерок, и вода посверкивала резко, как белая жемчужина.

«Полярная лилия», огибая Данию, шла довольно мирно — берега было не видно.

Первым проснувшимся пассажиром оказался молодой человек в очках. Он был в брюках гольф и пуловере, пиджак нес под мышкой.

«Арнольд Шутрингер, инженер, Мангейм», — прочел Петерсен: он захватил с собой в рубку пассажирский список.

Ознакомившись, так сказать, с местностью, Шутрингер облюбовал бак, положил пиджак на кабанчик и занялся утренней гимнастикой — неторопливо, заинтересованно, с упорством.

Очки он снял, и глаза у него оказались обычного размера. Очевидно, такими большими они выглядели из-за сильной кривизны стекол.

Капитан был один на мостике. Позади него, за стеклом рубки, положив руки на медное колесо штурвала и не отрывая взгляд от компаса, стоял рулевой.

Камбузник в белом колпаке выскочил на палубу, потряхнул за борт очистки, заметил молодого человека и на минуту застыл: пассажир, лежа на спине, размеренно, как автомат, то складывался, то вновь распрямлялся, сопровождая каждое движение удовлетворенным «х-ха!».

За его упражнениями следил еще один человек, заметив которого, Петерсен недовольно скривил губы.

Это был угольщик Петер Круль. Он сидел у люка, ведущего в кубрик, и помахивал папироской, приклеившейся к нижней губе.

Свободных у него выдалось только два часа. Обычно машинисты и кочегары не дают себе труда ни мыться, ни переодеться ради такой короткой передышки.

Новичок не снял даже брезентового берета, сменил только синюю робу на старый ландверовский мундир,

распахнутый на обнаженной, заросшей рыжими волосами груди.

Судовые порядки не запрещали ему находиться там, где он сидел; вернее сказать, зимой, когда пассажиров мало, на такие вещи смотрят сквозь пальцы. Его лицо еще сильнее, чем накануне, поразило, пожалуй, даже смутило капитана. Петерсен испытывал чувство сродни тому, которое заставляет нас отворачиваться, когда мы читаем разум в глазах животных.

Видимо, при всей глубине падения Круль до сих пор сохранял слишком много непринужденности, самоуверенности, даже элегантности.

Взгляд его не отрывался от Шутрингера. Закончив гимнастику и надевая пиджак, инженер заметил это. Капитану почудилось, что молодому человеку стало не по себе; как бы то ни было, ушел он крупным шагом, не оглядываясь.

Чуть позже на мостик взобрался Эвйен: в плавании он по привычке каждое утро приходил здороваться с капитаном.

— Хорошо спалось?

— Недурно. Кажется, кто-то из пассажиров заболел?

— Вот именно! — проворчал капитан сквозь зубы. — Что там у вас, *господин* Вринс?

На мостике появился третий помощник, почти такой же подавленный, как накануне, и скороговоркой доложил:

— Только что осматривал трюм. Вдруг слышу шорох за ящиками. Передо мной мелькнул тот пассажир...

Наступило молчание. Эвйен уставился на капитана: это еще что за новости?

— Скажите, Вринс...

Помощник вздрогнул, нет, скорее напрягся, словно в предчувствии опасности.

— В котором часу вы сегодня легли?

— Н-не знаю.

— Зато я знаю. В два часа вы еще разгуливали по палубе. Предыдущую ночь тоже не спали. А до этого провели ночь в дороге...

— Что вы хотите этим сказать?

— Что боюсь, как бы у вас не начались галлюцинации. Возьмите сколько нужно людей и разыщите мне этого пассажира-призрака, понятно?

Опять та же история! Все первые часы вахты Петерсен непроизвольно думал о вчерашних событиях, и ему, злому и полусонному даже после чашки черного кофе, все это казалось в ледяной предрассветной мгле каким-то кошмарным сном, в котором поочередно возникали третий помощник, угольщик из Гамбурга, загадочный Эриксен, знакомый капитану лишь по серому пальто, и престная юная дама.

Ясно одно: если высокопоставленный полицейский чиновник дает себе труд гнаться за «Полярной лилией» до самого Куксхафена и принимает столько предосторожностей, значит, на борту что-то происходит.

И что-то нешуточное! Недаром сам Штернберг так резко подчеркнул, что он не инспектор, а советник полиции.

Не Эриксена ли он ищет? Но когда капитан заговорил о датчанине, Штернберг и бровью не повел. Не задал никаких вопросов.

А может быть, Петера Крулля?

Вон он как раз уходит, приволакивая ногу, — ему пора на вахту в угольную яму.

И зачем пассажирке было вызывать Вринса в полночь, а потом гулять с ним по палубе до двух ночи?

Рядом с капитаном, всматриваясь серыми глазами в горизонт, стоял высокий породистый Эйен.

— Полагаете, плавание будет спокойным?

— Вы завтракали?

— Еще нет.

— Не знаете, пассажирка в ресторане?

— Когда я проходил мимо, ее там не было. Она немка?

— Да, немка, Катя Шторм... Но по документам проживает в Париже, на улице Вавен.

— Едет в Берген?

— Вот и не угадали. В Киркенес! Шутрингер тоже. На этот раз все сходят в Киркенесе, куда обычно плывете только вы.

— Поездка, разумеется, увеселительная?

Эйен явно заинтересован пассажиркой. Сам признался, что мельком заглянул в ресторан. Видимо, решил повременить с первым завтраком в надежде сесть за него вместе с молодой дамой.

Наконец капитан и Эйен увидели, что она тоже на-



правляется к мостику, над которым высились их фигуры. Нос она высунула наружу не без робости, словно вылезла из ванны и боится, как бы ее не продуло.

Она сменила туалет: сейчас на ней были серая юбка и розовый жакет, сшитые, как и вчерашнее платье, в каком-нибудь известном парижском ателье мод. Лицо свежее, волосы только что уложены.

Она подняла голову, заметила обоих мужчин, улыбнулась.

— Доброе утро, капитан.

Затем, более сдержанно, кивнула Эвйену.

— Погода будет хорошая?

— Хочу надеяться.

Сквозь полуоткрытую дверь выглянул стюард, лицо которого выражало отчаяние: завтракать никто не спешит, и утро у него уходит на бесплодное ожидание.

Эвйен произнес что-то банальное, спустился с мостика, и Петерсен увидел, как управляющий прохаживается по палубе, стараясь незаметно приблизиться к Кате Шторм, следящей за полетом чаек.

Капитан затруднился бы сказать, почему атмосфера на судне рождает в нем тревожное ощущение пустоты. Пусто было небо, безоблачное и в то же время зловеще серое. Пусто было на пароходе, где люди слонялись равнодушно, без настроения. В нем самом тоже была пустота.

Ему казалось, он чего-то ждет, только вот — чего? Заметив Вринса и трех матросов, вылезавших из носового трюма, Петерсен крикнул:

— Ничего?

— Ничего.

Черт побери! В трюме штабели разных ящиков и мешков, которые нельзя перекладывать: они уложены в порядке портов назначения. Там можно с успехом скрываться много дней.

Неожиданно палуба опустела. Эвйен и Катя Шторм, видимо, завтракают. Вринс отправился к себе в каюту. Только камбузник время от времени поднимается наверх и что-то выбрасывает за борт.

Так прошли два часа. Петерсен поглядывал то на горизонт, то на компас, и в голове у него складывались самые разные предположения, зачем все-таки Штернберг прибыл на «Полярную лилию».

Пробили склянки. Настал черед третьего помощника занять место на мостике, куда Вринс и поднялся, затянутый в слишком узкую, но украшенную нашивками ту-журку и в фуражке с большой кокардой.

Капитан оглядел его с головы до ног, чуть опять не съязвил, но сдержался и лишь устало бросил:

— Курс норд-норд-вест.

Целый час Петерсен мылся и переодевался. Проходя мимо салона, он заметил там трех пассажиров: Белла Эвйена и Катю Шторм за одним столом, Шутрингера в другом углу — немец просматривал альбом с видами, который нашел на радиаторе.

Покончив с туалетом, капитан с минуту побродил по левому коридору, единственному, где каюты были заняты. Первой по счету и более просторной, чем остальные, была его собственная; один из ее углов служил ему кабинетом. Соседнюю занимал Эвйен, следующая была свободна. Затем шла пресловутая восемнадцатая, откуда сбежал Эриксен, прятавшийся теперь в трюме. Наконец, двадцатая, двадцать вторая, двадцать четвертая — Катя Шторм, Арнольд Шутрингер и советник полиции.

Остальные были пусты. В конце коридора медная досочка указывала вход в туалеты и душевые.

Мимо капитана взад и вперед сновал стюард со стопками тарелок в руках — он накрывал на стол.

— Господин фон Штерн... Я хотел сказать — номер двадцать четвертый, господин Вольф, вам еще не звонил?

— Нет.

— Завтрак готов?

— Сейчас будет.

И действительно, расставив тарелки, стюард взял гонг, в который и ударил у двери салона.

В солнечных лучах, врывавшихся сквозь иллюминаторы, сверкали стоявшие на столах флажки судоходной компании.

Свежевыбритый, еще распространяя вокруг запах мыла, Петерсен щеголял в касторовом костюме, в котором выглядел полнее, чем на самом деле, и несколько неуклюже.

Опершись на спинку стула, он выждал, пока все усядутся. Эвйен и дама вошли вместе, заканчивая

разговор о зимнем спорте в Шамони¹ и Тироле. Лицо у Шутрингера было совершенно такое же, как ранним утром, когда он занимался гимнастикой.

Перед тем как сесть, капитан повернулся лицом к двери: ему показалось, будто он что-то упустил. Впоследствии он не раз вспомнит об этом неясном тревожном предчувствии.

Именно тогда он и услышал странный крик, сперва приглушенный, затем пронзительный — настоящий предсмертный вопль.

Катя Шторм резко повернулась к капитану. Эвйен, что-то говоривший ей, оборвал фразу на полуслове. Шутрингер, разворачивавший салфетку, положил ее и спросил:

— Что это?

Петерсен шагнул к двери и различил в полумраке коридора белую куртку стюарда, прижавшегося к переборке как раз напротив распахнутой каюты советника полиции.

Стюард прикрывал голову локтем, весь обмякнув и словно сиюминутно вдавшись в стену. Крик издал он, но крикнуть снова был уже не в состоянии: у него подгибались ноги.

Петерсен побежал. У двери каюты остановился как вкопанный, стиснув кулаки и сжав челюсти.

Недаром он ждал чего-то плохого!

Одеяло соскользнуло на пол, матрас лежал поперек койки, простыни были скомканы и закапаны кровью. Одна из них лежала у Штернберга на лице; видимо, это было сделано для того, чтобы он не мог позвать на помощь.

На обнаженной груди под расстегнутой пижамой — несколько колотых ран, багровые подтеки, следы окровавленных пальцев.

С койки свешивалась посиневшая голая нога, и Петерсену даже не понадобилось дотрагиваться до нее, чтобы констатировать: мертв.

Стюард не шевелился. Слышно было только, как стучат у него зубы; он по-прежнему закрывал голову рукой. Трое пассажиров медленно подходили все ближе. Первым шел Эвйен.

¹ Городок в Савойе (Франция), центр зимнего спорта.

— Что тут стряслось? — спросил он.

В этот момент капитан заметил, что молодая женщина, еще не увидев труп, но уже разглядев пятна крови, судорожно стиснула пальцами правой руки локоть управляющего.

В ту же самую секунду ему показалось, что Шутрингер, несмотря на очки, почти ничего не видит. Немец придвигался все ближе и ближе. Постоял, хмурия брови, на пороге, потом выдавил:

— Кто это?

— Успокойтесь, — сказал Эвйен, похлопывая Катю Штурм по руке. — Вам лучше уйти отсюда.

Ею постепенно овладело волнение, которое — это было ясно — могло в любой момент кончиться нервным срывом.

— Да уведите же ее! — яростно рявкнул капитан и оттолкнул Шутрингера.

Дверь в глубине коридора, ведущая в камбуз, открылась, и в ней замаячили фигуры матросов, сгорающих от любопытства, но не решающихся подойти.

— Входи! — приказал Петерсен стюарду.

— Нет! Только не это! — простонал бедняга.

Капитан потом и сам не мог вспомнить, как он схватил стюарда за руку и, крутанув, впихнул в двадцать четвертую каюту, дверь которой захлопнул ногой.

— Он позвонил?

— Нет... Когда вы упомянули о нем, я подумал, не постучаться ли. Но было уже поздно... Шума я не слышал. Приоткрыл дверь... Ой, отпустите меня!

И стюард боязливо вскрикнул, потому что, шевельнувшись, нечаянно задел рукой за голую ногу мертвеца.

— Ладно, иди. Пришли ко мне...

— Кого?

— Не знаю... Никого.

К кому мог прибегнуть Петерсен? Капитан, а значит, единственный представитель власти на корабле — он сам.

— Иди, но запи за собой дверь.

Труп не пугал его; он даже поднял свесившуюся ногу и уложил ее на постель — она мешала ему двигаться.

На всякий случай Петерсен потрогал грудь покойника. Тело уже застыло и окостенело. Преступление, вероятно, совершено ночью: кровь успела свернуться.

Чемодан Штернберга снят с багажной сетки и лежит

посреди каюты. Он вскрыт. Содержимое в беспорядке разбросано по ковру.

Белье, второй костюм, крахмальные воротнички, галстуки... И еще лакированные ботинки.

Петерсен старался не касаться вещей без особой нужды. Однако выйти из каюты не решался: он был убежден — убийца оставил хоть какие-нибудь следы. Оружия он не обнаружил, но, чуточку сдвинув подушку, заметил высунувшиеся из-под нее французскую и немецкую газеты.

Убийство произошло не без борьбы. В противном случае преступник не стал бы накрывать Штернбергу голову скомканной простыней. Кровавые следы на теле убитого оставлены им самим: агонизируя, он хватался за грудь — недаром пальцы у него до сих пор липкие.

Вид каюты и трупа оставлял потрясающее впечатление: с одной стороны, зверская жестокость; с другой — неопытность и неловкость.

Сцена была, без сомнения, страшная. Природа не обделила советника силой. Застигнутый в постели, он отчаянно отбивался, и убийца продолжал наносить удары наугад, лишь бы не дать жертве закричать.

И никто ничего не слышал! Пассажиры, занимавшие соседние каюты, уверяют, что спалось им прекрасно.

Пиджак висел на распязке. Петерсен запустил руку в карманы, но там оказалось пусто; а вот в пальто он обнаружил бумажник, где лежали пять тысяч марок, визитные карточки на имя Штернберга, письмо и удостоверение на право бесплатного проезда по германским железным дорогам.

Лишь после этого капитан вытащил из специального отделения фотографию черноглазой девушки лет пятнадцати с вьющимися, почти курчавыми волосами.

Петерсену даже не пришлось в голову закрыть покойнику глаза, да и накрыть тело простыней он принудил себя не без усилия.

В коридоре он застал Эвйена и Шутрингера; каждый сам по себе, они расхаживали взад и вперед, но при его появлении одновременно подняли голову.

— Ничего не могу сказать, — ответил капитан. — В полночь придем в Ставангер, и делом займется полиция. Где фрейлейн Шторм?

— У себя в каюте. Попросила оставить ее одну.

Петерсен направился было к себе, но передумал. Открыл только дверь каюты, бросил газеты и бумажник на койку и занял свое место за столом.

Поколебавшись несколько секунд, оба пассажира последовали его примеру. Совершенно подавленный стюард подал завтрак. Он все еще не мог прийти в себя и плохо соображал, что делает.

Все приступили к еде, но Петерсен встал из-за стола раньше времени: он неожиданно вспомнил, что не вымыл руки.

3. ПОКОЙНИЦА С УЛИЦЫ ДЕЛАМБР

Петерсен свободно читал по-английски и по-немецки, но лишь прибегнув к словарю, с грехом пополам разобрался в статье из французской газеты: только эта статья могла иметь касательство к появлению Штернберга на «Полярной лилии».

Номер был от 17 февраля. «Полярная лилия» отплыла 19-го, в три часа дня, иными словами, почти в тот самый момент, когда парижские газеты от 17-го поступили в продажу в Гамбурге.

«Преступление на Монпарнасе», — возвещал заголовок. А подзаголовок уточнял: «Опять наркотики!»

Стекло иллюминатора казалось зеленым. Капитан на секунду прижался к нему лбом, убедился, что к ночи туман станет таким же густым, как накануне, прислушался к ходу машины и сел наконец за бюро.

На переборке висел фотопортрет его жены, миловидной, здоровой, веселой женщины.

Ниже был приколот любительский снимок: Петерсен в одной рубашке играет с двумя своими ребятишками в садике коттеджа на холмах Бергена.

Капитан листал словарь, повторяя вполголоса, хотя и с чудовищным акцентом, нужные французские слова. В общих чертах смысл статьи он уловил.

«Чрезвычайно прискорбное происшествие вновь пролило неприглядный свет на космополитическую жизнь Монпарнаса, нравы которого все разительнее отличаются от нравов подлинного Парижа.

В доме 19-а по улице Делаамбр, в двух шагах от нескольких пивных, с утра до вечера гудящих от разговоров на всех языках мира, вот уже несколько лет квартирует мюнхенский художник Макс Файнштайн, мастерская которого на первом этаже имеет отдельный выход на улицу.

Макс Файнштайн приобрел некоторую известность и много путешествует, в частности, каждую зиму проводит два-три месяца на Ривьере и пляжах Адриатики.

Отправляясь в поездку, он обычно оставляет ключ кому-нибудь из приятелей, чтобы тот мог воспользоваться пустующим помещением.

В этом году он уехал в первых числах января, предупредив привратницу, что в мастерскую будут иногда заходить его друзья, и попросив ее при случае делать там уборку.

Мы уже сказали, что у мастерской отдельный вход. Добавим, что в кладовке, переоборудованной художником под ванную, есть замурованная дверь, выходившая когда-то в привратничью.

Только благодаря этой двери, позволяющей расслышать шум в мастерской, мы и можем сейчас, хотя бы отдаленно, представить себе, что там произошло.

Привратница повторила нам то, что уже сообщила полиции. Воспроизводим ее рассказ дословно:

— О господине Максе много не скажу. Это хороший жилец, человек хоть и молодой, но степенный, только добрый слишком. Без конца приводит к себе обнищавших соотечественников. Иные живут у него по неделям, спят на диване в мастерской.

Шум я впервые услышала в воскресенье, после его отъезда. Но внимания не обратила — меня же предупредили. Заметила только, что в мастерской было, самое меньшее, человек шесть, в том числе две или три женщины; разговор шел по-немецки; хлопали пробки от шампанского.

На другой день я пошла туда убираться и чуть было не написала господину Макс: его друзья превратили помещение в форменную конюшню. По всем углам валялись бутылки и битые стаканы. В ванной стояла грязная вода, гости вытирали руки о занавеси. Об остальном не говорю.

Так вот, некоторое время никто не появлялся. Потом —

кажется, была среда — я услышала голоса. В этот раз пришло всего двое — мужчина и женщина, которые провели в мастерской ночь. К утру из-под двери ко мне пробился такой сильный запах эфира, что меня подмывало пойти и выставить их. Но дело-то было не мое, верно?

В последний раз эта публика нагрязнула в прошлое воскресенье; было их человек пять-шесть. Мне было не до них — у меня гостила невестка из Аржантейля. Но я все-таки узнала голоса, которые слышала в первое воскресенье.

Ушли они, по-моему, очень поздно. На следующий день рабочие начали расчистку двора, и мне было недосуг заглянуть в мастерскую. А во вторник у меня выходной.

По правде говоря, меня заранее тошнило при одной мысли о грязи, которая там меня ждет, и с духом я собралась только в четверг.

Остальное вам сообщила полиция. Я так испугалась, что сломя голову выскочила на улицу и схватила за руку первого попавшегося прохожего.

На постели лежала обнаженная девушка! Молоденькая и, должно быть, хорошенькая, но с синяками на лице и теле.

Повсюду валялись бутылки из-под шампанского и виски. Я нечаянно наступила на шприц и раздавила его, но экспертам все-таки удалось сделать анализ.

Экие подлецы, верно? Увидели, что умерла — и бежать. А ее бросили одну-одинешеньку».

Петерсен взглянул на фото своего дома — крашеного, нарядного, словно игрушка, — и его замутило, как мутит человека, впервые увидевшего какую-нибудь особенно отталкивающую болезнь.

Дальше в статье говорилось:

«Последние слова привратницы достаточно исчерпывающе резюмируют положение. Уголовная полиция ведет следствие. В отношении жертвы оно дало известные результаты; в отношении виновных — нет.

Осмотр трупа позволил установить, что погибшая — здоровая, не страдавшая никакими наследственными недостатками двадцатилетняя девушка в воскресенье вечером приняла сильную дозу алкоголя и наркотиков.

Смерть, однако, последовала в результате инъекции морфина, след которой обнаружен на левом бедре.

Фотография, помещенная во вчерашних вечерних газетах, дала возможность установить личность погибшей. Ею оказалась Мари Барон, уроженка Амбуаза, продащица в магазине на улице Клиши, проживающая одна в меблированных комнатах на бульваре Батиньоль.

Ее родители живут в департаменте Эндр и Луара, поэтому труп был опознан подругой покойницы, явившейся в Институт судебной медицины.

Подруга заявила также, что прошлое воскресенье они собирались, как обычно, провести в «Луна-парке». Но в субботу Мари Барон сказала, что познакомилась с *мировыми ребятами* и предпочитает отправиться с ними на Монпарнас.

Восстановить события не составляет труда. Как это часто бывает, шайка морфинистов сочла пикантным прихватить с собой девушку, еще не отведавшую их зелья.

Оргия, подстегнутая присутствием Мари Барон, началась с обильных порций шампанского, спиртного покрепче и героина.

Вероятно, девушка оказалась не слишком покладистой. Во всяком случае, ясно одно: ввиду своей неопытности *она не могла сделать сама себе укол в бедро*. Значит, произвести его — вероятно, неожиданно для погибшей — пришлось одному из ее приятелей.

Доктор Поль полагает, что имел место шок и смерть наступила почти мгновенно. Перепуганная компания не замедлила удрать, постаравшись, однако, не оставить на месте происшествия ничего, что помогло бы опознать соучастников преступления. Это очень важная деталь: она показывает, что присутствовавшие или хотя бы некоторые из них были не в таком уж невменяемом состоянии, как может показаться.

Поиски в космополитической среде Монпарнаса не дали никаких результатов. Только художник Макс Файнштайн мог бы ответить, кому он перед отъездом доверил ключ. Но увы! Телеграфные запросы в Ниццу и Канн запоздали. По последним сведениям он еще неделю назад отбыл на один из адриатических курортов, а на какой — неизвестно.

Все без исключения подробности этого дела вызывают чувство глубокого отвращения.

Что касается престарелых родителей Мари Барон, читатель и сам представит себе изумление, недоверие, наконец, отчаяние, с каким они восприняли подобное известие.

Полиция делает все, что в ее силах. Тем не менее власти справедливо опасаются, что к моменту, когда имена виновных будут установлены, сами они окажутся уже далеко».

Петерсен пробежал заголовки немецкой газеты, но не нашел ничего относящегося к делу.

Он был бледен: его мутило и в переносном, и в прямом, физическом смысле слова.

Он стал моряком в тринадцать лет. Был свидетелем побоищ в портовых притонах. Однажды пьяный матрос исповедовался ему в своих преступлениях. С тех пор как он сделался капитаном, полиция неоднократно производила аресты у него на борту. В первый раз взяли международного авантюриста, в последний — поляка, задушившего в припадке ревности жену и двух детей.

Все это оставляло Петерсона почти равнодушным. Добрый протестант, он свято верил, что в человеческой душе борются благие и греховные побуждения.

Сейчас капитана захлестывал стыд. В Париже он не бывал, но попытался представить себе этот Монпарнас, о котором говорится в газете, мастерскую художника, оргию, обнаженный труп на диване...

Он старался не думать, связана ли история на улице Деламбр с убийством советника полиции фон Штернберга, и тем не менее почти бессознательно был убежден в этом.

Капитан произвольно перебирал в памяти лица и фигуры: Эриксен в сером пальто, которого он видел только со спины и который прячется в трюме; матрос Петер Круль с его вселяющей тревогу улыбкой; Вринс с покрасневшими веками и болезненной нервозностью; безбровый Шутрингер и его глаза-шары без ресниц.

Он смущенно вспомнил, как покраснел от возбуждения, увидев Катю, и честно признался себе, что, по меньшей мере, два раза постарался пройти мимо пассажирки так, чтобы коснуться ее.

Но все эти мысли оттесняло на задний план сознание

того, что в его, Петерсена, мире что-то надломилось. Оно настолько обескураживало, что капитан сидел, подперев голову руками, пока не пробило шесть, и он не вскочил, как ужаленный.

Даже его пароход был теперь не тот, что раньше. Выйдя из каюты, он настороженно оглядел длинный коридор и отметил, что стюард вертится около его двери.

— Где они? — голосом, в котором звучало подозрение, осведомился Петерсен.

— Кто?

— Пассажиры... Эвйен, Шутрингер.

— Наверху, в салоне.

— А дама?

— Тоже отправилась к ним.

Тяжело ступая, Петерсен поднялся по трапу, распахнул дверь салона и с каменным лицом остановился на пороге. Пассажиры расселись так же, как утром: Белл Эвйен с Катей вдвоем за бутылкой минеральной воды; Шутрингер в противоположном углу играл сам с собой в шахматы.

Зажегся свет. Три головы повернулись к капитану. Эвйен, который был с ним более короток, чем остальные, раскрыл рот, собираясь заговорить.

Тут Петерсен резко захлопнул дверь и направился вверх по трапу на мостик. Он различил в полумгле узкоплечую фигуру Вринса, только что сдавшего вахту второму помощнику. Почему Петерсен бесшумно подошел к голландцу сзади и неожиданно положил руку ему на плечо? Молодой человек весь задрожал, лицо его выразило полную растерянность.

— К-капитан... — выдавил он, заикаясь и слясь овладеть собой.

— Что с вами? Вы же весь дрожите!

— Ничего... Я... я не ожидал...

— Идите!

— Правда, что на судне т-труп, капитан?

— Да, правда. Ну и что из того? Идите!

Голос его звучал так сухо, что второй помощник, знавший Петерсена много лет, не на шутку удивился. Парню этому было под тридцать, дипломом он не обзавелся, но терпеливо тянул ляжку, уверенный, что годам к сорока пяти станет капитаном. Жил второй помощник с матерью в Тронхейме.

— Скверная история! — сказал он, когда Вринс удалился. — А человека, который скрывается у нас на борту, все-таки надо взять.

— Где мы сейчас?

Оба моряка склонились над картой. Петерсен проворчал:

— При таком тумане придем в Ставангер не раньше часа ночи. А в половине третьего уже отваливать. Эх, будь у нас рация, которую нам третий год обещают...

Петерсен не находил себе места. Такое в плаваньи случилось с ним впервые. Чтобы вернуться в свою каюту, ему пришлось пересечь прогулочную палубу, вдоль которой тянулись иллюминаторы салона. Он заглянул туда и заметил, что Кати Шторм там нет.

За обедом Петерсен ни разу не раскрыл рта: он был явно обеспокоен тем, что место пассажирки пустует.

— Она ест у себя в каюте? — спросил он стюарда.

— Ее там нет.

Лоб капитана перечеркнула глубокая складка. Он резко встал и пошел на нос, где помещались его офицеры.

Когда он подходил к каюте Вринса, дверь ее распахнулась, оттуда выскочила Катя и, увидев в двух шагах от себя капитана, остановилась как вкопанная. На секунду у нее перехватило дыхание, но она тут же взяла себя в руки и осведомилась:

— За стол, надеюсь, еще не сели? А вы не за мной?

— Нет. Вас ждут в ресторане.

Петерсен сделал вид, будто ему что-то нужно в каюте второго помощника, которая была сейчас пуста. Но не успела Катя скрыться, как он распахнул дверь Вринса. Голландец лежал на койке, сжав голову руками.

Молодой человек торопливо и неловко вскочил, не сумев украдкой смахнуть со щек блестящие влажные полосы.

— Капитан?..

— Ничего. Лежите.

И Петерсен проследовал дальше еще более хмурый и сам не понимая, что ему взбрело в голову. Молодую немку он застал уже за столом. Она часто поворачивалась к капитану, и ее звонкий голосок не умолкал ни на минуту.

Однако Петерсен делал вид, что ее болтовня адресу-

ется не к нему. Шутрингера тоже не было, и Катя поневоле вынуждена была обращаться исключительно к Эвйену.

Ее беспокоила стоянка в Ставангере.

— Как вы думаете, полиция нас не очень долго задержит? Мне почему-то кажется, что, если судно хорошенько обыскать, этот человек будет, в конце концов, пойман. Напомните, пожалуйста, его фамилию. Эриксен? Наверно, она не настоящая.

Капитан чувствовал, что Эвйену несколько неловко, особенно в присутствии его, Петерсена, постоянного гостя четы Эвйенов в Киркенесе. Управляющий рудниками предпочел бы, чтобы разговор стал общим.

В пяти милях от порта «Полярная лилия» приняла на борт лоцмана, подвалившего к пароходу на маленьком катере. Море здесь усеяно подводными камнями, к тому же туман сильно сгустился, и чуть ли не весь экипаж пришлось поставить впередсмотрящими.

Матросы столпились на баке, возбужденными головами передавая на мостик свои наблюдения.

В темноте «Полярная лилия» казалась светящимся облаком, но, увы, с мостика не просматривалась даже корма!

Не переставая, ревел гудок, и моряки пытались на слух определить направление, откуда периодически доносился похожий на отдаленный стон ответный вопль другого гудка.

Пассажиры в салоне прильнули к иллюминаторам. Увидели, как судно взяли в кольцо какие-то белесые круги. Потом совсем рядом отчетливо, как при галлюцинации, зазвучали голоса.

Пассажирам казалось, что до берега еще много миль — они ведь не разглядели даже маячного огня. А пароход был в десяти метрах от причала, и матросы уже бросали швартовы.

Моросило. В ложбинах до сих пор лежал рыхлый снег.

Когда опустили трап, человек двадцать докеров устремились к заранее открытым трюмам и с места в карьер приступили к разгрузке. Полицейский чиновник в мундире откозырял Петерсену и справился:

— Пассажиров много?

Города, расположенного на горном склоне, было не видно, если не считать одной, круто спускающейся к морю улицы, где фонари освещали редкие деревянные домики с зелеными или цвета темной охры фасадами.

— Немедленно вызовите вашего начальника, — потребовал капитан. — На борту совершено преступление.

Шел уже второй час ночи. В Норвегии порядки строгие: все кафе были закрыты, нигде ни одного прохожего. Мелькали только тени грузчиков, застрапливавших и вытаскивавших ящики из обоих трюмов.

Несколько секунд ошарашенный полицейский пребывал в растерянности. Наконец сообразил, что делать, и застучал в ставни ближайшей гостиницы: там был телефон.

Со стороны причала туман был как бы разодран двигающимися взад-вперед фигурами, и в разрывах его можно было различить людей и предметы.

Зато рейд был затянут непроницаемым беловатым облаком, ледяное дыхание которого то и дело достигало палубы. Воды под черным бортом судна — и той было не видно.

Вот у этого борта вдруг что-то и произошло. Несмотря на скрип лебедок и стук ящиков о плиты причала, все расслышали всплеск, словно в воду упало что-то тяжелое.

Петерсен, направлявшийся к полицейскому, перемахнул через бочонки и бросился к правому коридору. У входа в него он столкнулся с Вринсом. Голландец, задыхаясь, пролепетал:

— Там!.. Скорей!.. Я видел, как он прыгнул...

— Кто?

— Человек в сером... Эриксен...

Полицейский ничего не понимал. Капитан перегнулся через поручни, но ничего не увидел и не услышал.

— Вы не ошиблись?

— Что-то в самом деле плюхнулось в эту жижу, — подтвердил один из грузчиков, работающий метрах в шести от капитана. — Но что?

— Я разглядел только, что он в сером, — повторил третий помощник.

— Лодку! Живо!

Спускать шлюпку было некогда. Петерсен сбежал

по трапу и отвязал баркас, причаленный у каменных ступеней спуска к воде.

Полицейский мчался за ним. Грузчики у трюмов преврали работу; стюард в белой куртке, заметной даже в темноте, перегнулся через фальшборт.

Заплескали весла. Капитан крикнул:

— Фонарь!

Кто-то спустил с палубы фонарь на тросике, но и с фонарем разглядеть в разрывах тумана удалось одно — черную поверхность лениво колыхавшейся воды.

Неужели беглец успел добраться вплавь до одного из спусков с причала?

Капитан яростно орудовал веслами, хотя гребки делал мелкие. Полицейский в меховой шапке с кокардой, наклонясь вперед, старательно обшаривал мрак глазами.

Контуры «Полярной лилии» вырисовывались во тьме с феерической театральностью: яркие пятна, большие затененные промежутки между ними. В одном из световых кругов Петерсен различил наклоненную голову Вринса и за его спиной светлый силуэт Кати Шторм, рука которой лежала на плече молодого человека.

— Пошли назад! — проворчал он.

— Ничего не слышать, правда? Наверняка разом пошел ко дну.

— Вот именно — наверняка.

Полицейский не без растерянности посмотрел на капитана: он не понимал ни его раздраженного тона, ни слишком поспешных и противоречивых решений, ни порывистых жестов.

Начальник полиции примчался на машине, еле успев натянуть поверх пижамы черные брюки и шубу. Это был худой мужчина с аристократической внешностью, двигавшийся и говоривший так, словно он не на палубе, а в гостиной.

— Мне сообщили, что совершено преступление...

Петерсен увел его к себе в каюту, предупредив полицейского в мундире:

— Мне думается, вам лучше никого не выпускать с судна.

Тон у него был безапелляционный, прямо-таки приказной.

— Присаживайтесь, господин начальник. Попробую как можно короче ввести вас в курс дела. По расписанию мы отваливаем в два тридцать. Сейчас уже больше двух, а в двадцати пяти норвежских портах население ждет нас к определенному сроку. У меня на борту почта, продовольствие, машины, газеты... И еще, к несчастью, убитый.

Чем спокойней Петерсен становился с виду, тем сильнее клокотало в нем возбуждение. Он не метался, не жестикулировал, но в голосе его слышалось глухое бешенство. Расхаживая по каюте перед сидящим начальником полиции, он изложил события, последовавшие за отплытием из Гамбурга, не забыв вкратце пересказать статью из французской газеты, по-прежнему лежавшей на столике.

Два раза он останавливался и выбегал на палубу присмотреть за разгрузкой и поторопить людей.

— Что вы собираетесь предпринять? — поинтересовался он наконец, плюхнувшись на койку и подперев голову рукой.

Норвежское побережье представляет собой горную цепь, лишь на юге прорезанную немногочисленными шоссе. Севернее Тронхейма их уже нет, железных дорог — подавно.

Все коммуникации, почтовая связь и снабжение продовольствием обеспечиваются исключительно каботажными судами, вроде «Полярной лилии».

На севере, к примеру, источников питания всего три: треска, тюленья мясо, оленина.

Стоит судам не прийти, как население окажется отрезанным от мира: сзади — непроходимые горы, спереди — волны Атлантики.

Вот почему судоходные компании получают казенную дотацию и как бы состоят на государственной службе.

Вид у начальника полиции был озабоченный.

— Вы говорите, этот Эриксен бросился в воду?

— Я сказал, что какой-то предмет упал в воду, а мой третий помощник видел фигуру в сером.

— Это одно и то же.

— Если хотите...

— У остальных документы в порядке?

— Паспорта, как обычно, проверяла немецкая полиция в Гамбурге.

— Я проверю их снова. Выход вижу один — созвониться с Осло. Со столицей свяжусь минут через двадцать. За это время врач осмотрит труп, а мой специалист сфотографирует каюту и попытается снять отпечатки пальцев. Мы проведем паспортный контроль. Кроме того, обыщем пароход сверху донизу. Для вас это составит опоздание на час, которое вы легко наверстаете. Если убийца — Эриксен, а мне кажется, есть все основания это предполагать, и если не обнаружится никаких улик против остальных пассажиров, я не имею права их задерживать.

И начальник полиции поднялся со вздохом, который дал понять, как трудно осуществить все эти решения, кажущиеся такими простыми.

Сойдя с парохода, он еще раз напомнил полицейскому:

— Никого не выпускать!

Докеры выгружали последние ящики, а стюард глазел на них: он не знал, куда себя деть, и предпочитал мерзнуть на палубе, лишь бы не бродить в одиночестве по обезлюдевшему судну.

Автомобиль тронулся и, надсадно урча, полез в гору. А меньше чем через четверть часа полдюжины агентов в форме заполонили «Полярную лилию»: одни спустились в носовой трюм, другие — в кормовой и обшарили все закоулки, светя себе карманными фонариками.

Шутрингер в пиджаке и жокейском кепи расхаживал гимнастическим шагом по палубе: он ревниво пекся о своей физической форме.

Белл Эвйен выглядел раздосадованным; он старался оказаться поближе к капитану — видимо, хотел его расспросить.

Когда Петерсен направился на корму, где было чутьточку посветлее, позади зачехленного запасного штурвала раздался шепот и — сразу за ним — поцелуй.

Капитан молча сделал еще несколько шагов, различил в темноте две обнявшиеся фигуры и молочное пятно — два лица, прильнувшие губами друг к другу.

Вглядываться в них ему не понадобилось: новенькие нашивки Вринса поблескивали достаточно ярко. А на плече у него белела на фоне темной тужурки обнаженная рука Кати.

4. ДВА БИЛЕТА

Когда пассажиров и офицеров собрали в салоне, начальник полиции с изящной непринужденностью произнес короткую речь:

— Сударыня, господа, вы в курсе трагического происшествия, которым объясняется мое появление на судне. До сих пор все дает нам основания полагать, что преступника среди вас нет — он прыгнул за борт сразу по приходе в Ставангер. Правда, нам предстоит выполнить некоторые формальности, но прошу верить, что я постараюсь по возможности облегчить их для вас. Благоволите не расценивать их как признак недоверия: они продиктованы исключительно желанием позволить «Полярной лилии» продолжать рейс. Пусть каждый вернется к себе в каюту и приготовится к визиту, который будет ему нанесен.

Другой полицейский в чине комиссара, обратившись к команде с несколькими фразами покороче, уже обыскивал койки, мешки и чемоданы матросов.

Лебедки остановились. Судно было готово отвалить — оставалось лишь получить разрешение полиции.

В каюте № 24 два эксперта зафиксировали положение тела и сделали серию снимков. Затем труп положили на носилки, спустили их на берег, и они исчезли в тумане.

Трудно было проявить больше такта и разрядить атмосферу деликатнее, чем это удалось начальнику полиции. Однако даже после его речи, нет, именно после нее, лица у всех, от Эвйена до второго помощника, приняли одинаково натянутое выражение.

В конце концов, раз никто не арестован, значит, под подозрением остается каждый.

И каждый следил за собой, силясь выглядеть как можно естественнее. Особенно неловко чувствовал себя, видимо, Петерсен: начальник полиции пригласил его обойти с ним каюты. Капитан потребовал начать с его собственной, сам, подавая пример, открыл чемодан, вытащил ящик маленького бюро, даже приподнял матрас.

— Ну что вы, что вы! — запротестовал начальник.

Следующую каюту занимал Эвйен, который ожидал обыска, стоя в ногах койки. Держался он, как путешественник во время таможенного досмотра. Заранее снял чемоданы с багажной сетки и отпер замки. Несколько раз

пытался улыбнуться, особенно когда показывал разную неожиданную мелочь.

— Это кларнет для моего старшего — ему двенадцать... Это рабочая корзинка для моей младшей — ей семь... А это новые грампластинки — я запасаясь ими ежегодно... Книги... Это?... Жена, знаете ли, дала поручение: привезти постельную клеенку для нашего малыша.

— Достаточно, достаточно! — запротестовал начальник полиции.

Но Эвйен выложил еще три костюма, смокинг, тонкое белье со своей меткой, счета от «Савоя» в Лондоне и «Мажестика» в Берлине.

— Благодарю вас. Не будете ли так любезны предъявить свой паспорт инспектору, дежурящему наверху. Вы же понимаете: простая формальность... Вы сами, естественно, никого не подозреваете?

— Нет, никого! — сухо вато отозвался Эвйен.

Следующая каюта была свободна. Затем шла та, где лежал багаж Эрнста Эриксона, исчезнувшего пассажира.

— Вещи я изымаю, — объявил начальник полиции. — Распорядитесь спустить их на пристань... Посмотрим! Вещевой мешок, старый костюм. Две сорочки.

Багаж был скудный. Одежда хорошего покроя, но поношенная. Запасных носков и тех нет.

— Пойдем дальше.

Катя Шторм последовала примеру Белла Эвйена. Она заранее выложила вещи на койку и, так как начальник полиции постеснялся перерывать ее платье и белье, сама проделала это, хотя и дрожащими руками.

Петерсен остался в дверях. Он чувствовал себя униженным и почему-то слегка встревоженным. Однако именно он приметил на полу маленький сиреневый бумажный веер, поднял его и вполголоса прочел:

— «Кристалль-палас», Гамбург.

— Моя последняя ночь на суше! — рассмеялась Катя. — Заехала на час в «Кристалль»: захотелось потанцевать.

— Вы были там одна? — поинтересовался начальник полиции.

— Разумеется, одна.

Туалетов у ней десятка полтора, один другого элегантней и ослепительней. А такое белье бывает только у светских красавиц. Несессер из чеканного серебра. Любой

предмет, даже самая пустяковая безделушка — подлинное произведение искусства.

На всем марки магазинов с авеню Оперы, улицы Мира¹, а также лондонских и берлинских торговых домов.

Контрастировал с этой роскошью лишь короткий зонтик, купленный в Брюсселе, самое большое, франков за сто. Катя опять рассмеялась и с наигранной веселостью пояснила:

— В Бельгии я попала под дождь и зашла в первую попавшуюся лавку.

— Вы обычно живете в Париже?

— В Париже, Берлине, Ницце.

— С художником Максом Файнштайном знакомы?

— Нет. Он мой соотечественник? И конечно, еврей?

— Когда вы прибыли в Гамбург?

— В четверг вечером. Рассчитывала, что в пятницу будет пароход, идущий в Норвегию.

— Приехали из Парижа?

— Не прямо оттуда. Неделью провела в Брюсселе, два дня в Амстердаме.

Она старалась сохранять непринужденный вид, смотрела собеседнику в глаза. Но в подобных случаях опасно судить о человеке по манере держаться: невинный, чувствуя себя на подозрении, нередко теряется сильнее, чем преступник.

В каюте пахло духами, пол был усеян окурками. На столике стояла наполовину пустая бутылка ликера.

— Благодарю, мадам.

— Мадемуазель, — поправила она.

— Долго рассчитываете пробыть в Норвегии?

— Несколько недель. Хочу посмотреть Лапландию.

Петерсен собрался было вмешаться и спросить: «Сколько у вас с собой денег?» — но покраснел при одной мысли об этом.

Последний визит — к Арнольду Шутрингеру — оказался самым кратким. Багажа мало. Одежда удобная, но не дорогая. Почти новые туалетные принадлежности — такие продаются в любом универмаге. Словом, человек обстоятельно подготовился к поездке.

Спокойный, тяжеловесный, он, чуть нахмурясь,

¹ Улицы в Париже, на которых сосредоточены самые модные и дорогие магазины.

смотрел, как расхаживает по каюте начальник полиции, но сам ни во что не вмешивался и на вопросы не спрашивался. Ответил на них в самых кратких словах.

— Итак, документы у всех пассажиров в порядке. Никаких улик ни против кого нет. Убийца, как уверяет мой инспектор, орудовал в перчатках, поэтому снимать отпечатки пальцев бесполезно. Агенты, обыскивавшие трюм, ничего не обнаружили, и есть основания полагать, что этот Эриксен бросился за борт в надежде добраться вплавь до причала. Вы доверяете своему третьему помощнику? Ведь это он видел, как пассажир прыгнул в воду, не так ли?

Петерсен уклонился от ответа. Шел уже четвертый час. Формальности выполнены, а толку никакого.

— Я свяжусь с немецкой полицией, прикажу начать поиски на рейде и в городе.

Напускной самоуверенностью начальник полиции маскировал беспокойство, которое внушала ему эта история.

— Повторяю, я не вправе задерживать судно до окончания следствия. И даже если бы должен был оставить кого-нибудь в распоряжении правосудия, у меня не было бы оснований предпочесть одного другому и мне пришлось бы арестовать весь экипаж и всех пассажиров.

Капитан молчал. Мрачный и непроницаемый, он ждал, лишь иногда, приличия ради, утвердительно кивая головой.

В тумане запорхали мелкие снежные хлопья. Двери на пароходе без конца распахивались и захлопывались, повсюду гуляли сквозняки.

— На всякий случай я отправляю с вами своего инспектора. Это отчасти снимет ответственность и с меня, и с вас.

Без четверти четыре Петерсен еще расхаживал с начальником полиции вдоль кают, хотя команда уже готовилась к отплытию. Два лоцмана, которые будут смеять друг друга на мостике во время плавания вдоль норвежского побережья, поднялись на палубу. Одежда на них была меховая, сапоги на деревянной подошве, рундучки из потемневшего от времени дерева вскинута на плечо.

На причале до сих пор торчало несколько зевак. Один из инспекторов на машине начальника полиции поехал за теплой одеждой. Его и ждали.

Говорить капитану с начальником полиции было больше не о чем, и они без особого интереса обменивались ничего не значащими фразами.

— Ваша пассажирка, должно быть, пользуется успехом. Еще бы! Одна среди стольких мужчин! К тому же она... как бы это сказать?.. очень пикантна. Прелюбопытная особа!

Старший помощник, не менее мрачный, чем капитан, занял свой пост на мостике и стоял, опершись о поручни и вглядываясь в туман. Белл Эвйен после визита полиции остался у себя в каюте, Шутрингер тоже. А вот Катя перебралась в салон — ее было видно сквозь иллюминатор. Держа между пальцами нефритовый мундштук, она раскладывала на столе пасьянс.

Наконец послышалось тарахтенье автомобиля. Он затормозил, прочертив две черные полосы на снегу, слой которого стал уже довольно толстым.

Инспектор поднялся на судно, Петерсен пожал руку начальнику полиции.

— Счастливого плавания! — попрощался тот, и лицо капитана посуровело.

Трехкратный рев гудка. Отрывистые команды, топот бегущих ног. Швартов, плюхнувшийся в бурун за кормой «Полярной лилии».

— Скажите стюарду, пусть отведет вам каюту, — бросил Петерсен инспектору, человеку лет тридцати, вежливому, неприметному, похожему скорее на служащего, чем на детектива.

И зашагал взад-вперед по палубе, не зная, куда себя деть. Два раза брался за ручку дверей салона. Потом чуть было не направился к офицерским каютам с тайной мыслью проверить, лег ли Вринс.

Но тут молодой человек, не заметив капитана, внезапно появился в двух шагах от него, прильнул лицом к иллюминатору и вошел в салон.

Петерсен в жизни ни за кем не шпионил. Тем не менее он, не задумываясь, в свой черед заглянул в иллюминатор и увидел Катю Шторм. Она подняла голову и заговорила с третьим помощником.

Капитан различал движения губ, но слов не слышал — море шумело все громче.

Вринс, сидя рядом с девушкой, почти прижавшись к ней, говорил с таким жаром, словно о чем-то умолял.

Голландец так волновался, что на него было страшно смотреть: в голову невольно приходил вопрос: как он может так долго выдерживать такое нервное напряжение?

Каждая черточка его лица лихорадочно подергивалась. Он дрожал всем телом. Ни секунды не сидел спокойно, все время жестикулировал; глаза его непрерывно перебегали с предмета на предмет.

В довершение всего он, видимо, подхватил насморк, потому что во время разговора, длившегося минут десять, отчаянно сморкался.

Катя Шторм несомненно смотрела на него другими глазами, нежели капитан. В самый разгар его тирады она вдруг зажала ему ладонью рот, наклонилась и ласково, как старшая сестра, поцеловала в глаза.

Она смеялась — смеялась обезоруживающим смехом, в котором слышалось что-то невысказанное: ирония, желание, нежность, может быть, капелька испуга.

Потом она поднялась, Вринс двинулся за нею, и Петерсен увидел, как оба они направились к пассажирским каютам. Вниз он не спустился, но все-таки расслышал, как хлопнула дверь. Шагов после этого не последовало.

Третий помощник остался у пассажирки.

Стюард прямо-таки валился от усталости. Однако заглянул в салон проверить, все ли в порядке, расставить по местам стулья, потушить лампы.

Он застал там капитана. Нагнувшись чуть ли не до полу около места, где сидела Катя, Петерсен поднимал два кусочка розового картона, выпавшие из кармана у Вринса, когда тот доставал носовой платок.

— Знаете, капитан, я рад, что его увезли. Я думал, заболею от одной мысли, что он рядом. Вы заметили, рот у него остался открыт?

Петерсен не слушал — он рассматривал розовые квадратики, оказавшиеся билетами в «Кристалль». Потом вздохнул и положил их в бумажник.

— Останетесь здесь? — удивился стюард.

— Нет. Можешь гасить и ложиться спать.

— Как вы считаете, этот Эриксен в самом деле прыгнул за борт? А вдруг он все еще на судне?..

Стюард не дождался ответа. Капитан, пожав плечами, уже вышел на прогулочную палубу и кинул взгляд на

мостик, где различил папиросу старпома и широкие плечи лоцмана, лицо которого почти исчезало под меховой шапкой.

В тумане мерцал еле заметный белый огонек — рыбацкий баркас, разумеется. «Полярная лилия» прошла так близко, что на ней расслышали спокойные голоса двух рыбаков, сидевших на носу.

Петерсен впервые в жизни был так недоволен собой, так растерян, хотя и не мог бы сказать — почему. Это напоминало смутные кошмары, которые бывают по ночам при несварении желудка. Ничего страшного не происходит. Никакой опасности нет. Но самые ничтожные предметы, которые видишь во сне, приобретают какой-то отталкивающий облик. Одеяло становится чудовищно тяжелым. Вокруг некий враждебный мир, хотя этого не сознаешь, и тебя томит неясное желание проснуться, но это не удастся.

«Полярная лилия» стала другой. И все на ней, вплоть до полицейского, кстати очень вежливого и сдержанного, угнетало капитана.

Волна стала высокой. Началась килевая качка. Судно вышло из фьордов и набирало нормальный ход, два раза в минуту подавая обязательный сигнал гудком. Время от времени туман прочерчивало белое крыло чайки.

Неожиданно Петерсен сделал полуоборот, пригнулся и распахнул железную дверцу, ведущую в машинное отделение. Под трапом, в резком свете ламп без колпаков, он увидел старшего механика — тот регулировал давление масла. Под циферблатом машинного телеграфа спал машинист в синей робе.

Петерсен спустился вниз. Стармех вместо приветствия проворчал:

— Кончились, наконец, эти истории? Наверху опять спокойно?

— Да, кончились.

Капитан пробрался вдоль машины, брызгавшей на него капельками масла, распахнул другую, еще более низкую дверцу, и в глаза ему сверкнул красный огонь топок.

Обнаженный до пояса кочегар, кидавший в топку уголь, даже не обернулся, лишь поднес черную руку к черному лицу.

Петерсен двинулся дальше. Теперь ему приходилось сгибаться вдвое. Уголь сыпался у него под ногами. По лицу струился пот.

Наконец он очутился в яме, где на угле сидел чумазый до неузнаваемости человек и, жуя ломоть хлеба с маслом, ждал приближения капитана.

Это был Петер Круль. Сквозь слой угольной пыли, покрывавшей лицо, пробивались золотистые волоски бороды. Белки глаз посверкивали еще ироничнее, чем всегда.

Он не встал, не поздоровался и, не переставая жевать, с набитым ртом, почти нечленораздельно, полюбопытствовал:

— Ну, нашелся ваш пресловутый Эриксен?

И беззвучно, словно про себя, рассмеялся. Потом наклонился в сторону топок, посмотрел, не время ли подавать уголь.

— Ты его знаешь?

— Спрашиваете!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что, если угодно, я вам хоть сейчас такого Эриксена сделаю. И еще как похожего!

Круль доел хлеб, последний кусок которого был так же черен, как его руки, подобрал в углу пустой мешок, бросил туда десяток брикетов и объявил:

— Нате!

— Это еще что?

— Это Эриксен. Тот самый, что давеча бросился в воду... Я заметил, что из ямы исчез один мешок. Когда пришли в Ставангер, я сменился и вышел на палубу подышать воздухом. Вдруг вижу: у фальшборта стоит мой мешок. Качни — и он за бортом.

— Кто его толкнул?

— Осторожно! Кочегар внизу требует угля... К тому же, больше я ничего не знаю.

Он наклонился, всадил лопату в кучу угля и равномерными сильными движениями принялся его перебрасывать.

Капитан пристально посмотрел на Круля, открыл рот, собираясь что-то сказать, но угрюмо промолчал и, проделав в обратном направлении весь пройденный путь, вдохнул наконец ледяной воздух морского простора.

В темноте, у него над головой, лоцман и старший помощник, не заходя в рубку, передавали друг другу кисет с табаком и спички.

5. КОРНЕЛИУС ВРИНС

— Позовите Вринса.

— Он на вахте.

— Неважно! Раз лоцман на мостике...

Сразу после отхода из Бергена, где трехчасовая остановка целиком ушла на беготню, хлопоты, формальности и рукопожатия, Петерсен с озабоченным видом заперся у себя в каюте.

В правлении компании, которой принадлежала «Полярная лилия», капитана успокоили:

— Полно! Вы-то при чем тут? Кроме того, коль скоро на борту представитель полиции...

Но человек, сказавший это, был администратором, а не капитаном. Он просто не понимал таких вещей. Кстати, это был тот самый директор, что подписал рекомендательное письмо Вринсу, о котором дал теперь Петерсену дополнительные сведения:

— Лично я с ним не знаком, но мой друг, возглавляющий мореходное училище в Делфзейле, написал мне о нем на шести страницах. Отзывается о Вринсе, как о парне исключительного трудолюбия и честности. Отец его вроде бы заместитель начальника метеослужбы на Яве. В десять лет по слабости здоровья мальчишка должен был уехать с Востока и провел юность в голландских пансионах. Семейной жизни практически не знал. За девять лет всего два раза ездил на каникулы к своим. Два года назад мать его умерла на Яве, и, естественно, он не сумел повидать ее перед смертью.

С тех пор он стал работать еще упорней, и по воскресеньям в Делфзейле его приходилось выманывать на берег хитростью или выгонять с учебного корабля в приказном порядке...

«Полярная лилия» начинала вторую половину рейса. От Гамбурга до Бергена — это еще юг, усеянный большими городами. А вот теперь, особенно после завтрашнего захода в Тронхейм, судно будет останавливаться лишь у свайных причалов перед поселками, представляющими собой кучку деревянных домишек.

Уже сейчас склоны фьордов справа от парохода были совершенно белы. Над самой водой летели гаги, иногда в волны ныряли морские ласточки.

Для начала капитан сделал ежедневную запись в

вахтенном журнале. Затем положил локти на бюро красного дерева и начал чертить на чистом листе бумаги нечто неопределенное.

Мало-помалу из его каллиграфических забав родилась своего рода схема: жирная точка, затем тонкое — одним движением пера — тире и новая точка; потом опять тире, опять точка... Точка... тире.

А в целом — неправильная геометрическая фигура, ломаная линия с черной точкой на каждом углу.

Первая точка олицетворяла советника полиции фон Штернберга, убитого у себя в каюте. Дальше шел Эрнст Эриксен, вопреки всему существующий во плоти либо где-то в Ставангерском порту, либо в каком-нибудь закоулке «Полярной лилии». Затем Петер Круль...

Тире удлинилось, утончилось и стало точкой — Катей Штурм, рядом с которой Петерсен пометил Вринса.

Все? Капитан колебался, потом медленно двинул рукой, и с его пера соскользнуло шестое жирное пятнышко — Арнольд Шутрингер.

А почему бы и нет?

Бессознательно капитан придал фигуре форму многоугольника, но без одной, последней стороны.

Петерсен сердито перечеркнул рисунок, встал и раскурил трубку. Вот тут-то он и позвонил стюарду, приказав разыскать третьего помощника.

Пожалуй, больше всего Петерсена раздражало чувство, что между этими шестью пятнышками, этими шестью людьми, есть некая общность, есть точки соприкосновения, может быть, даже соучастия, а он бессилен в этом разобраться.

В Бергене, поглощенный всяческими формальностями, Петерсен не успел даже обнять жену и малышей, отчего пришел в еще более мрачное настроение.

— Войдите! — неожиданно рявкнул он, садясь на место.

Это был Вринс, явившийся прямо с мостика в полной форме, с плечами, припорошенными инеем.

— Вы и впредь собираетесь стоять вахты в таком вот виде?

И капитан ткнул пальцем в золоченую пуговицу на голубом, украшенном нашивками, реглане, который, как и тужурка, был слишком легок для здешних широт.

— Капитан, я...



Нет, это невозможно! Вринс задохнулся от обиды. Да и что тут можно сказать? Нет у него ничего другого. Всего две недели назад он был простым воспитанником и носил форму училища... Он едва успел съездить в Гронинген и заказать себе одежду, которой его теперь попрекают.

— Садитесь, *господин* Вринс.

Петерсен был тем более зол, что сам не знал, зачем вызвал молодого человека. Взгляд его упал на листок, где две из шести точек располагались совсем рядом друг с другом, но то, что он затем сказал, не имело никакого отношения к рисунку:

— Вы весьма меня обяжете, если, заступая на вахту, будете брать взаймы теплые пальто у одного из ваших коллег или лоцманов, ясно?

— Ясно, *господин капитан*.

— Я вам уже сказал: просто капитан! Я также просил вас сесть.

Почему его подмывает сгрести мальчишку за плечи и хорошенько встряхнуть?

Глядя на подтянутого, узкоплечего голландца, особенно на его побелевшее лицо с лихорадочно блестящими глазами и заострившимся носом, которое потрясало, может быть, еще глубже, чем вид труппа Штернберга, Петерсен невольно бесился.

— Прежде всего, должен вернуть вам вот это...

Он протянул третьему помощнику розовые билеты в «Кристал», и Вринс, не совладав с собой, привскочил на стуле.

— Разумеется, на берегу вы вольны развлекаться, как вам вздумается. Предпочитаю, однако, чтобы вы занимались этим не в обществе наших пассажиров.

Петерсен чувствовал, что он не прав. Он никогда не делал подобных замечаний подчиненным. Напротив! Летом, когда «Полярная лилия» принимала на борт до сотни туристов, каждый рейс сопровождался приключениями, о которых потом, стоя на вахте, офицеры со смехом рассказывали друг другу.

— Кто вам сказал?..

— Что вы были в «Кристале» с фрейлейн Шторм? А вы это отрицаете?

Вринс поднялся. Он побледнел еще больше, хотя, казалось, это уже невозможно. Губы у него были сухие, бескровные.

Он стоял, вытянувшись, негодуя и мучительно силиясь сохранить хладнокровие.

— Жду, что вы скажете дальше, — произнес он сдавленным голосом.

— Вы знали эту особу до своего прибытия на пароход в Гамбурге?

Третьему помощнику едва исполнилось девятнадцать. Петерсен был вдвое шире и тяжелей его. И все-таки, раззадорясь, как молодой петушок, голландец выпалил:

— Есть вопросы, на которые джентльмен не отвечает.

Капитан побагровел, в свой черед поднялся и чуть было не влепил мальчишке пощечину.

— А с каких это пор джентльмены лгут? — жестко отпарировал он. — С каких пор джентльмен клянется, да еще в присутствии полиции, что видел, как человек бросился за борт, хотя это вовсе не человек, а мешок с углем?

Капитан почти тут же раскаялся в своей вспышке — так страшно исказилось лицо Вринса. Молодой человек раскрыл рот, не в силах ни заговорить, ни вздохнуть. Зрачки его с отчаянием и тревогой впились в Петерсена. Побелевшие пальцы беспомощно задвигались.

— Я... Я...

— Ну-с? Вы в самом деле видели, как Эриксен прыгнул в воду?

На лбу третьего помощника заблестели капли пота, кадык судорожно заходил вверх и вниз.

— Мне нечего сказать.

А ведь он вот-вот разрыдается!.. Капитан был уверен в этом, настолько уверен, что его подмывало хлопнуть щенка по плечу, крикнуть ему:

«Перестаньте изводить себя, дуралей! И не воображайте, что какая-нибудь там Катя Шторм стоит этого».

Но Петерсен промолчал, о чем вскоре и пожалел. Он взглянул на свой незаконченный многоугольник и еще раз мысленно сблизил точки, означавшие влюбленных.

Он был слишком взбешен, а гнев — плохой советчик.

— Вот, значит, кого в Делфзейлском училище считают парнем исключительной честности! — пробурчал он достаточно внятно, чтобы его расслышали.

И тут Вринс со слезами на ресницах чуть ли не простонал надломленным голосом:

— Разве в Норвегии честность состоит в том, чтобы предавать женщину?

Он больше не владел собой. Был готов на все. Дышал прерывисто и шумно.

Капитан на секунду потерял дар речи.

— Даже если эта женщина — вульгарная...

— Замолчите! Запрещаю вам...

И Петерсен замолчал. Кончилось! Ярость его внезапно улеглась. Он понял, насколько смешна эта сцена и омерзительен подобный разговор.

Эдак он, чего доброго, кончит дракой с перевозбужденным подростком, губы которого пляшут в конвульсивной дрожи!

Омерзительно! И, как всегда в таких случаях, начнутся намеки, обидные для другой нации!

Воцарилась тишина. Капитан мерил шагами три погонных метра своей каюты.

— Чем могу еще служить? — с трудом выдавил Вринс.

Петерсен опять промолчал, лишь взял на ходу листок с многоугольником и скомкал его.

— Один уже мертв, — тихо вымолвил он.

В сущности, это был способ извиниться, не принося извинений. Вринс истолковал реплику по-другому:

— Значит, вы обвиняете меня...

— По-французски читаете?

— Немного.

— Тогда взгляните.

Петерсен протянул помощнику газету, найденную под подушкой у Штернберга, сел за бюро и, чтобы не мешать Вринсу, сделал вид, что углубился в вахтенный журнал.

Он был не слишком доволен собой. Все получилось на редкость нескладно.

Прежде всего, зачем он начал с Вринса, а не с других?

Конечно, от билетов в «Кристалль» и веера Кати Шторм никуда не уйдешь. Не забыл Петерсен и то, в каком виде молодой человек вернулся на «Полярную лилию» в десять утра.

Кроме того, не случайно же немка еще в первый вечер послала за третьим помощником и битых два часа гуляла с ним по палубе.

И наконец, ночь в Ставангере: двое влюбленных в одной каюте.

Ну и что? Разве Катя Шторм совершила хоть малейший поступок, позволяющий заподозрить ее? Французская

газета пишет не о ней, более того, вообще не упоминает никакой женщины. Да женщина и не могла бы заколоть Штернберга с такой силой и так зверски.

Петерсен покраснел: он вспомнил, как в день отплытия, когда пассажирка поднималась по трапу в салон, сам любовался ею.

Что, если он попросту ревнует к своему третьему помощнику? И бесится, видя, как тот без всяких усилий помещал капитану свести интрижку?

«Неправда! — мысленно одернул себя Петерсен. — Я чувствую: за этим *что-то кроется*».

Но понять, что именно, — он не мог. И, грызя себя за это, испытывал унижение, неуверенность.

— Что скажете, Вринс?

На этот раз он отказался от иронического «господин Вринс». Статью молодой человек уже пробежал, но газету все еще держал в руке, машинально продолжая читать дальше.

Лицо у него потускнело, фигура утратила подтянутость.

— Зачем вы показали это мне? — обеспокоенно проговорил он. — Какое отношение...

— Сейчас скажу. Судя по всему, советник фон Штернберг появился на «Полярной лилии» в поисках убийцы Мари Барон и, вероятно, его сообщников. Не забывайте: на улице Делаамбр были и женщины.

Вринс решительно человек контрастов. Его поведение опять резко изменилось.

— Это все? — с ледяным спокойствием осведомился он.

И все-таки глаза у него потерянные.

— Вам этого мало?.. Человек убил девушку. Он у нас на борту...

— И вы предполагаете, это я?

Вринс произнес эти слова с бледной улыбкой, куда более горькой, чем рыдание. Терпение Петерсена иссякло.

— Ступайте! — буркнул он. — Идите достаивать вахту. Надеюсь, свежий воздух пойдет вам на пользу.

Капитану хотелось, чтобы Вринс не подчинился. Он следил за ним краем глаза. Но молодой человек повернулся кругом и вышел.

Оставшись один, Петерсен поднял листок, где поставил точки и тире, разгладил его, потом опять скомкал и швырнул в мусорную корзину.

Вечером, за едой, Катя Шторм дважды попросила у капитана прикурить и все время заговаривала с ним о пейзажах, которыми любовалась в пути.

Йеннингс, полицейский из Ставангера, сам попросил кормить его отдельно, так что в конце стола по-прежнему сидела все та же горсточка людей, за спиной которых, робко улыбаясь, мелькал блондин-стюард в белой куртке.

На месте хозяина сидел капитан, справа от него Катя Шторм, рядом с нею — Эвйен, напротив нее — Шутрингер.

Когда девушка молчала, за едой подчас вообще не возникало разговоров. Потом оставалось лишь одно: доплестись до салона, где — это уже стало традицией — кофе разливала немка. Стюард только подавал кофейник и чашки.

— А когда начнутся настоящие морозы?

Ответил на вопрос Эвйен:

— В такое время года особенно холодно не бывает: минус двенадцать на широте Лофотен, семнадцать-восемнадцать — в Ледовитом океане.

Петерсен с досадой отметил, что на Эвйена тоже действует общество Кати. Это было тем более необычно, что ему случалось за целый рейс не обменяться ни словом с соседями, которые недоуменно поглядывали на этого холодного господина с размеренными движениями и серыми, как море, глазами, способного проводить долгие часы на палубе или в салоне, не шевелясь и уставясь в одну точку.

«Неужели все до одного начнут увиваться за нею?» — думал капитан, поглядывая на Шутрингера.

Но бритоголовый немец, который последние два дня выходил к столу в свитере, продолжал есть с основательностью, граничащей с обжорством.

Среди копченостей, подаваемых каждый вечер, был язык — без сомнения, любимое блюдо немца: он каждый раз отрезал себе чуть ли не десять кусков да еще намазывал маслом. К тому же куски он отмахивал такой толщиной, что стюард то и дело с беспокойством поглядывал на капитана, словно предупреждая: «Этак нам до конца рейса не дотянуть!»

Когда Петерсен поднялся, Катя спросила:

— Есть новости насчет пассажира, который прыгнул за борт в Ставангере? Бергенская полиция, должно быть, в курсе...

Капитан посмотрел ей в глаза и, наверное, смотрел слишком долго: он заметил, что Эвйен отвернулся. Значит, прочел в его взгляде подозрение.

Катя, однако, и бровью не повела. В зубах девушки торчал ее чуть ли не тридцатисантиметровый мундштук. Она, в самом деле, была ослепительна!

Как объяснить чувственность, которую излучало все ее существо и атмосфера которой окружала ее? И главное, как примирить это с детским выражением лица?

А ведь Катя, действительно, казалась ребенком. Но уже испорченным ребенком. Вернее: невинным, но уже испорченным.

Оба эти взаимоисключающие слова были равно применимы к ней и притом не поочередно, а одновременно.

Если на нее смотрели, она никогда не отводила глаза. Вместе с тем в них никогда не читался вызов. И тем не менее...

Даже управляющий Киркенесскими рудниками Эвйен, человек с Крайнего Севера, чье лицо от долгого пребывания под холодным солнцем утратило всякие краски, — и тот порой в ее присутствии так багровел, что старался отворачиваться от капитана.

В чем бы она ни была — в черном или розовом, в шерстяном свитере или в шелке, — формы ее всегда отчетливо угадывались, и окружающие, казалось, ощущали аромат и тепло ее тела.

Петерсен ненавидел ее и поддавался ее обаянию.

— Вы боитесь этого пассажира? — спросил он.

— Но это же убийца, верно? Значит...

— Вы были бы рады узнать, что он утонул?

— Скорее — что его нет на борту.

Даже страх приобретал у нее чувственную окраску — от него плечи ее начинали трепетать.

— Так вот...

Петерсен колебался. Посмотрел на Шутрингера, по всей видимости не одобрявшего этот разговор: из-за него задерживался кофе, потом на Эвйена и, наконец, на Катю, не сводившую влажных глаз с собеседника.

— Мы не можем доказать, что убийцы на пароходе нет.

— Вы просто хотите напугать меня, правда?

— Может быть.

— Да объясните же, капитан! Коль скоро видели, как он бросился в воду...

Петерсен почувствовал, что в нем вскипает мелкая недостойная злоба: он внезапно представил себе, как пассажирка входит с Вринсом в свою каюту. И, глядя на ее плечи, он не в силах был отогнать образ третьего помощника: Ставангер, темный ют, мальчишка, спрятавший лицо у нее на груди.

— Не бойтесь! Его, несомненно, арестуют, прежде чем он успеет совершить новое убийство.

Эвйен уже выказывал нетерпение. Шутрингер, чтобы не тратить время зря, опять принялся за консервированные абрикосы и поедал их с той же основательностью, с какой брался за любое дело.

— Мне страшно с вами, капитан! — отозвалась девушка, и шея у нее мелко задрожала. — Злой вы сегодня какой-то.

Капитан встал, пропустил пассажиров вперед, задержался как всегда в коридоре и набил трубку.

Тут к нему подошел стюард и нерешительно спросил:

— Вы правду сейчас сказали? Убийца на...

— Да нет же, нет!

— Так я и думал. Иначе...

— Что иначе?

— Я ушел бы в Тронхейме с парохода. Стоит мне подумать, что...

Петерсен заглянул к себе в каюту, опять вышел, встретил полицейского: направляясь в свой черед в ресторан, инспектор любезно и почтительно поздоровался с ним.

Поднимался ветер. Это чувствовалось по движению судна. Волны все злее били в форштевень, особенно с левого борта.

Отправиться в салон, заглянуть в каюту к Вринсу, который уже сдал вахту, или еще несколько минут подышать воздухом на мостике?

За последние трое суток капитан столько хмурился, столько ломал себе голову, что виски у него трещали от тупой неутихающей боли.

Петерсену был виден Йеннингс: за едой инспектор просматривал купленные в Тронхейме иллюстрированные журналы. Капитан поймал себя на том, что подставляет на место чернильных точек имена и фамилии: «Вринс... Катя... Шутрингер... Питер Круль... Белл Эвйен...»

Да, теперь и Белл Эвйен, которого он знает целых восемь лет!

Послышался звонок. Стюард, пробегая мимо, бросил: — Меня требуют в салон.

Спускаясь обратно, он удивленно и почтительно доложил:

— Полдюжины шампанского. Барышня распорядилась.

Наверху появилась Катя.

— Поднимитесь на минутку, капитан! — крикнула она. — И не отнекиваться! Я вспомнила, что сегодня мой день рождения. Его надо отпраздновать: я ведь очень суеверна. Пригласим всех. Ваших офицеров — тоже.

Петерсен медленно поднялся по трапу. И все время мысленно представлял себе черные точки, то сближая их между собой, то отодвигая друг от друга.

На этот раз Белл Эвйен и Шутрингер сидели в салоне за одним столом, обмениваясь для первого знакомства банальными фразами.

— Я всегда была убеждена: не повеселишься в день рождения — весь год будет неудачный, — оживленно и радостно болтала Катя Шторм. — Дайте прикурить, капитан... Нет, от трубки... А уж сегодня мы повеселимся, верно? Надеюсь, ночью штормить не будет?

— Пригласите сюда обоих свободных от вахты помощников, — приказал Петерсен стюарду, появившемуся с полдюжиной шампанского и бокалами.

Одинокое сидя в столовой, где его никто не обслуживал, инспектор время от времени вставал и шел за блюдом, стоявшим слишком далеко от него.

Как и Шутрингер, он первым делом налег на язык, но, отличаясь более утонченным вкусом, поливал каждый кусок сливовым компотом.

Когда стюард вернулся и пустился в извинения, полицейский с набитым ртом и благодушной улыбкой отозвался:

— Ничего, я сам все взял. А почему это наверху так расшумелись?

6. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАТИ

Второй помощник, не догадываясь, зачем его зовут, пришел в повседневной одежде, поношенной, засаленной куртке из грубой шерсти, и оказался в салоне в тот

самый момент, когда Катя пустила бокалы по кругу. Получив свой, он повернулся к капитану, словно спрашивая у него совета, и заметил, что вид у Петерсена не менее растерянный, чем у него самого.

От смущения он чуть было не выпил слишком рано. К счастью, девушка, повернувшись к двери, объявила:
— Недостает еще одного.

Наконец подоспел Вринс и на секунду задержался на пороге, опешив под устремленными на него взглядами.
— Зайдите выпить за мое здоровье, дорогой.

Праздничной атмосферу назвать было пока нельзя — не хватало тепла и подъема. Суетилась, шутила, улыбалась одна немка, и оставалось только удивляться, как ей удается не падать духом, видя, что ее оживление не встречает отклика.

— По-русски! Залпом! — крикнула она, поднося бокал к губам.

Девушка слегка запрокинула голову, до капли выпила искристое вино, попросила Эвйена:

— Будьте добры, откройте еще бутылку.

Потом Вринс:

— Принесите из моей каюты патефон и пластинки, дорогой.

Капитан и Шутрингер сидели, но остальные стояли, и второй помощник ждал, казалось, лишь случая уйти.

Эвйен по просьбе Кати услужливо, хотя и не без смущения, помогал ей: раскупоривал бутылки, подливал в бокалы.

— Здесь ужасно холодно, капитан. Не работают радиаторы?

Петерсен наклонился над батареей, упрямой декоративный шкафчик, и до конца отвернул кран, из которого вырвалась струйка пара. С этой минуты шипение его, заглушаемое, правда, шумом, уже не умолкало.

— Ваш бокал, капитан! Это не кофе — смело можете пить.

Вернулся Вринс с патефоном и двумя коробками пластинок и водрузил все это на стол.

— Прекрасно! Вы просто душечка! А теперь поставьте нам танго... Танцуете танго, капитан?

— Я не танцую.

— Вообще?

— Вообще. Так что извините.

— А вы, господин Эвйен?

— Очень плохо.

— Неважно. Потанцуем?.. Нет, сначала выпейте. А вы, дорогой, наполните бокалы.

Последние слова адресовались Вринсу, пустившему патефон. Атмосфера начала оттаивать. Полилось танго, мелодию которого подчеркивал голос тенора-немца.

— Да вы превосходно танцуете! Почему вы уверяли...

Конец фразы заглушила музыка. Гибкая Катя уткнулась лицом в грудь Эвйена; тот был гораздо выше девушки, вынужден был наклоняться к ней и делал это чутко чопорно и принужденно.

Чтобы пробраться за бокалом к столу, Вринсу пришлось пройти вплотную мимо капитана.

— Виноват, — пробормотал он, отводя глаза.

Шутрингер, не шевелясь, сидел на банкетке и смотрел в одну точку через очки, из-за которых глаза его казались огромными. Катя хохотала — кавалер шепнул ей, видимо, что-то смешное.

Возбуждена она была чрезвычайно. Но Петерсен, не перестававший наблюдать за нею, дал бы голову на отсечение, что это — искусственное возбуждение.

— Как! Никто не пьет? — возмутилась она, когда танец кончился.

Жестом, выдающим скрытое нетерпение, онахватила у покрасневшего Вринса бутылку, которую тому никак не удавалось открыть, и сорвала с нее латунную проволоку.

— Поставьте другую пластинку... Что вы делаете?

В других обстоятельствах Петерсен не удержался бы от улыбки. С той минуты, как Вринс появился в салоне, Катя только и делала, что гоняла его взад и вперед. Он повиновался, но с явной неохотой.

— Да нет же! Не этот старый хлам. В розовой коробке есть прекрасный блюз.

И, подойдя ко второму помощнику, который не знал, куда себя деть, она кокетливо предложила:

— Потанцуем?

Когда и в какой момент проскочила искра? Во всяком случае, далеко не сразу. Стюард, вызванный звонком Кати, принес еще полдюжины шампанского.

— Почему никто не пьет? — огорчалась она. — У меня день рождения! Хочу, чтобы все веселились!

На это она не жалела усилий. Пригласила Арнольда Шутрингера, который танцевал так же прилежно и старательно, как делал утреннюю гимнастику, и ни разу не открыл рот.

Вдруг с ноги у нее слетела атласная туфелька.

— Подайте, дорогой, — бросила она, и Вринсу пришлось опуститься на колено.

Она смеялась, хотя втайне ей, вероятно, хотелось расплакаться. Пила больше, чем другие, потому что поминутно подходила к кому-нибудь с двумя бокалами в руках:

— Прозит!.. Ну, за компанию!

После каждого бокала лицо ее розовело все больше, глаза блестели все ярче.

— Можно мне, наконец, уйти и лечь? — тихо спросил через час второй помощник.

Капитан знаком велел ему остаться. Радиаторы начали греть чересчур сильно. В воздухе плыл густой папиросный дым. Когда девушка в очередной раз раскрыла портсигар, он оказался пуст; Эвйен протянул ей свой, но она отказалась:

— У вас слишком крепкие. Вринс принесет мне пачку из моей каюты. Хорошо, дорогой?

Это были очень дорогие папиросы с розовыми гильзами, но она швырнула их прямо на стол, заставленный бутылками и бокалами. Патефон не умолкал. Белл Эвйен несколько раз завязывал разговор с Шутрингером, однако слышал настолько лаконичные ответы, что прекратил дальнейшие попытки.

Бритоголовый молодой немец делал одно — пил. Он опрокидывал бокал за бокалом, как за столом поглощал куски языка. Лицо его лоснилось, выражая блаженное довольство.

Петерсен тоже пил, потому что не пить было просто невозможно.

Катя протягивала ему один бокал за другим.

Сколько их он уже опрокинул? Капитан затруднился бы это сказать. Обычно он соблюдал трезвость. Летом, когда туристы устраивали вечеринки такого же рода, он ссылался на судовые правила, запрещающие команде и офицерам употреблять спиртные напитки.

Сегодня, однако, Петерсен делал это не без удовольствия. Может быть, хмель помогал ему острее ощущать то странное, невысказанное, смутное, что носилось в воздухе. В салоне гремел патефон, а черная громада «Полярной лилии», подгоняемая мощным винтом, прокладывала себе дорогу среди валов, и лоцмана наверху едва не валило с ног шквальным ветром.

Так случалось и раньше. Контраст забавлял туристов. Женщины приходили в восторг, слыша, как заключительные аккорды джаза сменяет хриплый крик чайки.

Теперь этого контраста как не бывало. Внешний мир словно перестал существовать. О нем никто не думал. Никто не прижимался лбом к иллюминаторам, любуясь снежной стеной фьордов.

Все происходило в самом салоне. Но что собственно происходит — сказать никто бы не мог.

Молодая красивая женщина заливалась хохотом, запрокинув голову, с каждой минутой хмелея все больше и пытаясь заставить других последовать ее примеру.

А Петерсен разгадывал взаимосвязь событий. Шесть черных точек на листке бумаги, соединенных нерешительными тире...

Связь с мертвым Штернбергом, связь с Мари Барон, чей нагой труп обнаружен в мастерской на улице Делаамбр, связь с убийцей....

Ни разу ему не удалось встретить взгляд Вринса, которому было явно не по себе в навязанной ему роли.

— Чего вы ждете? Почему не открываете следующую бутылку?

Вот уж кому тоже хочется заплакать! Катя не могла этого не заметить, хотя выпила порядочно. Она неожиданно поцеловала его в щеку и тихо бросила:

— Ты такой смешной и милый! Потанцуем. Я так хочу.

Петерсен пересчитал пустые бутылки. Их было восемь. А пили они вшестером!

Пьян никто не был. Но Эвйен уже следил за порхавшей Катей чересчур красноречивым взглядом. Шутрингер, напротив, клевал носом. Выпьет еще два-три бокала и обязательно захрапит.

Нервы не сдали только у Кати, и все держалось благодаря ей. Она это чувствовала. Поминутно отпускала новую шутку. Или заливалась смехом. Или дурачилась.

— Вы скучаете! — тем не менее вздыхала она. — А мне так хочется, чтобы всем было весело. Это не любезно с вашей стороны, капитан. Потанцуйте же со мной!

Она почти что внушала жалость — такой умоляющий был у нее голос. И в глазах ее порой читался страх — страх перед тишиной, которая обрушится на нее, как только она уймется.

Петерсен неуклюже танцевал с ней под взглядом Вринса, одиноко стоявшего в углу.

— Почему вы такой серьезный?

— Но...

— Вы все серьезные. А я не могу так жить... Пойдемте выпьем. Да, да! Я так хочу.

Она потащила его к столу, служившему им буфетной.

— Иди сюда, дорогой, — позвала она Вринса. — Да иди же! Не хочу я, чтобы вы все были вот такие. Это просто невыносимо!

На этот раз она переборщила. Выпила три бокала подряд, провела рукой по лицу.

— Дайте мне папиросу. Нет, не такую... Здесь где-то валяются мои... Вринс!

Она нетерпеливо топнула ногой.

— Неужели некому завести патефон?

В первый раз за все пребывание в салоне она села, взглянула на Шутрингера и пожала плечами: этого расшевелить не легче, чем глыбу камня.

— Садитесь сюда, капитан... А ты вот здесь, дорогой.

Петерсена она хотела усадить справа от себя, Вринса — слева. Молодой человек заколебался. Тут она взорвалась:

— Да что с вами со всеми? Можно подумать, мы на похоронах. Налейте мне выпить. Да, да, я так хочу. Пить буду одна. Тем хуже!

— Успокойтесь! — неловко вмешался капитан.

— С какой стати мне успокаиваться? Разве у вас не парход, а собор? Пусть дадут музыку.

Теперь это была совсем другая женщина. Напряжение, которое обычно лишь угадывалось в ней, вырвалось наружу. Она сошла с рельсов и уже не могла ни остановиться, ни взять себя в руки.

Вринс наклонился и прошептал ей на ухо несколько слов, видимо призывая к благоразумию.

— Отстань! Я хочу пить. Это мое дело, понятно?

Дело шло к нервному срыву. Капитан чувствовал это, боясь и радуясь одновременно.

Неужели благодаря этой душей, как в теплице, атмосфере, он наконец что-нибудь выяснит? Пожалуй, он уже сейчас лучше понимает рассказ привратницы с улицы Деламбр, мысленно представляя себе и мастерскую, и бывших в ней похожих на Катю женщин.

— Дайте прикурить.

Катя посмотрела на три еще непотытые бутылки. Шутрингер раскуривал толстую черную едко пахнущую сигару. Эвйен старался держаться как можно непринужденней.

Вдруг она вскочила, одним махом сбросила бутылки на пол и побежала к дверям. На пороге задержалась, обернулась, заметила, что за нею спешит Вринс.

— Нет! Не надо... — прерывистым голосом пролепетала она.

И так стремительно понеслась по трапу, что едва не грохнулась.

Молодой человек поколебался и тоже выскочил из салона.

Петерсен посмотрел на остальных. Все совершенно растерялись. Второй помощник выдавил:

— Мне можно пойти и лечь?

Эвйен мрачно расхаживал взад и вперед. Капитан подошел к двери и на пороге чуть не столкнулся со стюардом.

Петерсен потащил его за собой на прогулочную палубу, где их сразу осыпали хлопья снега, кружившиеся под ветром, — надвигался шквал.

— Где она?

— В каюте. Что случилось? Она пробежала мимо меня вся в слезах?

— А Вринс?

— Она заперлась перед самым его носом. Он объясняется с нею через дверь. Что говорит — я не расслышал. Она что, пьяна?.. Один вопрос, капитан: шампанское занести на ее счет?

— Разумеется. Иди.

В темноте Петерсен различил чью-то фигуру. Вернее, сначала различил лишь красную точку папиросы. Он быстро шагнул вперед, но лишь подойдя вплотную к неизвестному, узнал Петра Крулля.

— А ты что тут делаешь?

Угольщик неторопливо вынул самокрутку изо рта.

— Как видите, дышу свежим воздухом.

— Отдыхаешь?

— Нет. Просто дал крону напарнику, чтобы он подменил меня. Это мое право. Раз кочегару хватает угля...

Круль не пытался ни оправдать свое пребывание здесь, ни даже прикинуться простачком. Напротив! Его глазки посверкивали еще ироничнее, чем всегда.

— А дамочка-то нервная! — добавил он, пока капитан сообразил, как ему поступить.

— Ты подсматривал через иллюминатор?

— Да, все время.

Петер сплюнул за борт и, несмотря на ветер, свернул себе новую папироску.

— Ты что, встречал ее раньше?

— Почему обязательно ее? Вообще женщин такой породы. Была у меня одна...

— В каком-нибудь гамбургском притоне? — съязвил капитан, чтобы поставить наглеца на место.

— Нет, в Берлине, в западной части. На Якобштрассе бывали? Тихая такая улица, большие современные виллы, вокруг них сады...

Круль порылся в карманах, ища спички

— Что же ты там делал?

— Путного мало. Записался в адвокатуру стажером, но в суд и носу не казал. Держал большую машину — знаете, двухтактную, одну из первых моделей.

И все время этот иронический взгляд, эта подчеркнутая невозмутимость, сбивающая Петерсена с толку!

— А женщина?

— Была моей подружкой. Разводка. Сперва была за Брекманом, рурским стальным магнатом. Теперь, кажется, живет в Египте — вышла за английского то ли консула, то ли посла.

Капитан заглянул через ближайший иллюминатор и увидел, что Эвйен выходит из салона, а Шутрингер, все такой же сонный, допивает оставшихся два полных бокала.

Слова Крулля смутили Петерсена своей несуразностью. Добропорядочный норвежец из средних слоев, он предпочитал не замечать двусмысленных ситуаций, неизбежно возникающих порой в этом мире.

«Почем знать, не лжет ли он?» — успокоил себя капитан.



Тем не менее украдкой поглядывая на угольщика, он вспоминал первое впечатление, произведенное на него Круллем, и отдавал себе отчет, что в любом случае этот человек не всегда был портовой крысой.

Инстинктивно он перешел на «вы».

— Зачем вы поднялись на мостик?

— Чтобы посмотреть.

— На кого?

— На *них*.

Пароход шел мимо заснеженного утеса, огибая красный буй, предупреждающий: «Подводный камень!» У подножья утеса на несколько секунд мелькнул деревянный домик.

Там, за десяток километров от ближайшего селения, жили люди. А ведь туда нет даже дороги. Голая отвесная скала и клочок земли под нею, где могут прокормиться разве что несколько коз или овец.

Шутрингер в салоне встал, устало потянулся, заметил, что в бокале Петерсена еще оставалась золотистая жидкость, и допил его.

— Вроде бы пустяки...

Капитан чуть не подскочил от неожиданности, услышав голос Крулля, — такая звучала в нем тоска.

— Что «вроде бы пустяки»?

— Шампанское! Оно у вас не из лучших, но все-таки шампанское. Ладно, вам этого не понять. Пойду-ка сменю напарника, а то он с меня еще крону потребует. А вам добрый совет, капитан: не лезьте вы в *это*.

Круль пошел прочь. Петерсен готов был позвать его обратно, но счел это ниже своего достоинства и выждал, пока угольщик не скрылся. Проходя мимо салона, капитан заметил, что там никого нет.

Коридор внизу тоже был пуст, если не считать стюарда: он сидел на своем месте, дежуря до полуночи.

— Вринс?

— Понял, что она не откроет, и ушел.

— Остальные?

— У себя в каютах. Господин Эвйен потребовал бутылку минеральной воды.

Петерсен на мгновение остановился и с досадой почувствовал, что в ногах нет обычной твердости, хоть он и не пьян.

— Угольщик тут не шатался?

— Какой угольщик?

— Неважно. Все в порядке. Кофе мне, как всегда, к половине шестого.

Петерсену показалось, что из каюты Кати Шторм доносится шум, но в присутствии стюарда он не решился пойти и послушать у двери.

Еще через минуту он уже раздевался и вдруг поймал себя на том, что вслух пробурчал:

— Что он хотел сказать?

Капитану не давала покоя фраза Петера Крулля: «А вам добрый совет, капитан: не лезьте вы в это».

Ночью ему приснилось, будто Катя, оказавшаяся женой английского консула, пригласила его танцевать в салоне первого класса трехтрубного пакетбота.

Она неожиданно, при всех, целовала его в губы, а тем временем метрдотель, как две капли воды похожий на Петера Крулля, расхаживал по салону, словно торговец арахисом, и выкрикивал:

— А ну, кому налить? Это же шампанское!

7. ДЕНЬ КРАЖ

Среда, начавшаяся двухчасовой стоянкой в Тронхейме, прошла настолько спокойно, что это не могло не показаться неестественным.

С самого отплытия из Гамбурга Петерсен спал слишком мало, к этому прибавилось вчерашнее шампанское, и он чувствовал себя вялым как физически, так и душевно.

Когда стюард, поднявшись на мостик, доложил, что Катя Шторм больна и останется в каюте, капитан лишь пожал плечами и чаще задымил трубкой.

Вринса он не видел все утро. Правда, на палубе, где мело мелким, как песок, снегом, который словно забивался во все поры, вообще не было ни души.

Пароход приближался к Полярному кругу. Дома на склонах попадались все реже. Трижды за этот день «Полярная лилия» заходила в поселки из десятка домов, где люди в меховых шапках увозили на санях выгруженные с судна ящики и бочонки.

В третьем по счету порту слой снега достигал почти шестидесяти сантиметров, и мальчишки носились на лыжах и коньках.

Небо было серое, море — тоже. Свет исходил, казалось, лишь от ярко-белых гор, вдоль изрезанной линии которых двигалось судно.

К завтраку вышло всего трое: капитан, Эвйен, Шутрингер. Эвйен, приличия ради, произнес несколько фраз, и разговор заглох.

Выходя из-за стола, Петерсен обменялся рукопожатием с неприметным полицейским, который старался как можно меньше показываться на людях.

— Если так будет дальше, ничего больше не случится и рейс пройдет превосходно! — порадовался Йеннингс. — Убежден, что убийца покоится в Ставангерском порту на глубине в несколько сажень.

Капитан предпочел не возражать.

— Что она делает? — спросил он стюардессу, выходящую с подносами из каюты Кати.

— Лежит на койке лицом к переборке. Почти не ела. Разговаривать не хочет.

Около трех, подремав часок, Петерсен поднялся на мостик, где вахту нес Вринс. Молодой человек шелкнул каблуками, но капитан лишь поднес руку к фуражке и обратился к лоцману, вместе с которым плавал уже раз сто, если не больше:

— Как по-вашему, не стоит задраить люки?

До сих пор «Полярная лилия» шла под прикрытием почти непрерывной цепи островов и скал. Эта цепь возобновляется у Лофотен, но к вечеру пароход окажется в открытых водах, а ветер, безусловно, начнет крепчать.

— Не повредит, — отозвался колосс, закутанный в мех и обутый в огромные сапоги на деревянной подошве.

Вринс по обычаю стоял в углу мостика, в центре — лоцман, время от времени жестом указывавший рулевому курс; его рука в оленьей варежке казалась чудовищно распухшей.

Капитан окинул обоих сравнивающим взглядом и снова пожал плечами. Заговорить с молодым человеком он не решался, понимая, как неловко сейчас Вринсу: тот и глаза-то поднять на него боится.

Однако голландец неожиданно шагнул вперед и негромко заговорил:

— Хочу вас заверить, капитан...

Петерсен ждал, глядя через плечо на третьего помощника.

— ...что сразу же по возвращении я, разумеется, подам в отставку.

Вместо ответа он услышал только неразборчивое ворчание. Петерсен спустился по трапу и на ходу заглянул в салон, где Белл Эйен разложил деловые бумаги.

Конец дня прошел уныло. Обед отличался от завтрака только тем, что «Полярная лилия» оказалась наконец в открытых водах, началась бортовая качка, и тарелки с рюмками заскользили по столу. Эйен держался молодцом, хотя улыбался все-таки несколько натянуто.

Вдруг Арнольд Шутрингер, уже с минуту стискивавший зубы, рывком поднялся с места и большими неуклюжими шагами устремился к двери.

— Она в самом деле больна? — осведомился Эйен.

Петерсен ответил уклончивым жестом.

— Странная девушка! Я еще вчера подумал, что это добром не кончится.

Капитан напряженно прислушивался к ударам волн о корпус, а когда масса воды обрушилась на бак, отшвырнул салфетку и выскочил на мостик, сорвав на бегу с вешалки свою кожанку.

Наверху он увидел две фигуры, вцепившиеся в поручни. В вихре мелких снежинок были уже различимы огни крошечного порта, куда судну предстояло зайти. Петерсен на секунду всмотрелся в бескровный профиль Вринса и заметил, что челюсти голландцу свело так же, как Шутрингеру.

— Больны? — ворчливым тоном спросил он.

— Нет!

Молодой человек выкрикнул это, весь напрягшись. Чувствовалось, что он дрожит с головы до ног в своей слишком легкой одежде.

— Наденьте-ка.

Петерсен швырнул ему свое пальто, обменялся несколькими словами с лоцманом и отправился спать. Петера Крулля он за весь день не видел ни разу.

А Катя?.. Он представил себе ее: лежит, скорчившись на койке, мучится от морской болезни, но упрямо никого не хочет позвать.

Самым лучшим временем в четверг оказались для Петерсена утренние часы, когда он стоял на вахте рядом с лоцманом.

«Полярная лилия» миновала Будё и пробиравлась через Лофотены, уже много часов пробивая себе путь сквозь снежную бурю.

За несколько минут видимость упала до нуля, открыть глаза стало невозможно. Ледяная пыль забивалась в мельчайшие швы одежды и обуви.

Капитан с лоцманом топтались на месте, пытаясь согреться и передавая иногда друг другу кисет или зажигалку. Термометр показывал двенадцать градусов ниже нуля; изредка, когда появлялся просвет и показывалось бледное солнце, позволявшее заметить два-три шквальные облачка на горизонте, глазам представляли белоснежные горы — ни пятнышка, ни домика, ни травинки, ни души.

Необъятный простор. Очертания некоторых вершин можно различить больше чем за тридцать миль.

Время от времени почти вплотную к «Полярной лилии» проходил рыбачий баркас длиной в восемь — десять метров, с обледелеными вантами и заваленной снегом палубой, на которой, перегнувшись через поручни, ловили треску два человека, казавшиеся бесформенными под четырьмя-пятью слоями одежды.

Воздух леденит легкие. Несмотря на это, Петерсен с жадностью дышал чистым кислородом, словно тот возвращал его к жизни, отгоняя кошмарные образы: голую девушку в постели на улице Делаамбр, Штернберга с исколотой грудью и скомканной простыней на лице.

Капитан с неподдельным безразличием взглянул на ставангерского полицейского: не зная, чем заняться, инспектор прислонился к переборке, защищавшей его от ветра, и любовался пейзажем.

Вдруг Петерсен вздрогнул: позади него кто-то кашлянул. Нахмурясь, он спросил внезапно появившегося у него за спиной Шутрингера:

— Что вам угодно?

Под трапом висело объявление, запрещавшее пассажирам подниматься без надобности на мостик.

— Поговорить с вами с глазу на глаз, капитан.

Шутрингер никогда еще не произносил столько слов зараз. Вид у него был надутый, но нерешительный. Он снял свое жокейское кепи, и на морозе его голый череп производил совершенно ошеломляющее впечатление.

— Накройте голову! Итак, в чем дело?

Немец указал на лоцмана.

— Можете говорить при нем.

— Меня обокрали!

— Что такое?

— Вчера вечером или сегодня утром кто-то забрался ко мне в каюту и украл две тысячи марок, а также несколько сот крон, лежавшие у меня в чемодане. Страшно огорчен, что доставляю вам новые хлопоты, но я во что бы то ни стало должен разыскать деньги: это все, что я захватил с собою в поездку.

Лоцман с любопытством разглядывал пассажира.

— Вы уверены, что деньги пропали? — спросил Петерсен, мрачняя.

— Абсолютно. Из осторожности я положил их не в бумажник, а в простой синий конверт и сунул под белье.

— Что вы делали утром?

— В восемь принял душ. Таким образом моя каюта оставалась пустой. Потом сходил в ресторан и погулял по юту.. Когда же я...

Капитан повернулся к лоцману.

— Обойдетесь пока что без меня?

И первым спустился по трапу. Проходя мимо ресторана, наткнулся на стюарда.

— Не видели, никто не входил сегодня утром в двадцать вторую?

Стюард вскинулся, как чертик в коробочке с пружинкой, и пролепетал:

— В двадцать вторую тоже? Господин Эвйен как раз спрашивал, не входил ли кто к нему.

Эвйен, каюта которого была открыта, вышел на порог: он услышал разговор.

— Капитан, не заглянете ли ко мне на минутку?

Он нервничал, но сохранял самообладание. Только вот руки, ухоженные, с длинными пальцами, слегка дрожали.

— У вас что-нибудь украли?

Эвйен подозрительно глянул на Шутрингера.

— Зайдите все-таки на минутку.

И закрыл за собой дверь.

— Вы знаете, я езжу на юг всего раз в год. Оттуда привожу наличные, необходимые для эксплуатации рудников в течение полугодия: банка у нас в Киркенесе нет. Еще вчера вечером в этом саквояже из свиной кожи было пятьдесят тысяч крон кредитками и несколько золотых монет — у меня привычка дарить их жене.

— Исчезли?

— Саквояж пуст. Я только что это обнаружил. Работал в салоне, и мне понадобился документ, также лежавший в саквояже... Саквояж вытащили из-под остальных моих вещей, замок взломали.

В коридоре нетерпеливо расхаживал Шутрингер.

— Будьте добры покамест никому не рассказывать о случившемся.

— Что вы намерены предпринять? Не кажется ли вам...

Не дослушав, Петерсен вышел и попросил немца тоже хранить молчание.

— Необходимо во что бы то ни стало... — повторил тот. — Вы же понимаете, у меня больше ни гроша и...

Капитан нашел Йеннингса на том же месте палубы, а полицейский, заметив его, изобразил на лице любезную улыбку.

— Добрый день, капитан. Какие красивые места! Южане даже не подозревают, что...

— Следуйте за мной.

Петерсен втащил инспектора к себе в каюту и с силой захлопнул дверь.

— На борту совершены две кражи. В каюте четырнадцать, соседней с этой, похищено пятьдесят тысяч крон; в двадцать второй — приблизительно две тысячи марок.

— Быть не может! — вскричал ошеломленный инспектор. — Здесь, на борту?

— Да, вчера вечером или сегодня утром. Я хочу, чтобы вы, не теряя времени, предприняли вот что: во-первых, тщательно обыскали каюту Кати Шторм...

— Вы считаете...

— ...и, если возникнет необходимость, поручили стюардессе обыскать ее лично. Во-вторых, осмотрели каюту моего третьего помощника. Наконец, если все это ничего не даст, занялись неким Петером Круллем, работающим в угольной яме.

— Мне думается, было бы разумней начать поиски именно в этом...

— А я предпочитаю, если у вас нет возражений, чтобы вы начали с немки. Она у себя.

— Что ей сказать?

— Что пропали кое-какие вещи и вы обязаны обыскать весь пароход.

— Вы пойдете со мной?

Петерсен поколебался, но тут же, еле сдерживаясь, принял решение.

— Да, пойду.

На трапе он встретил Эвйена.

— Будьте добры, пройдите вместе с господином Шутрингером в салон и ждите там результатов.

И приказал стюарду:

— Впредь до новых распоряжений в коридор никого не пускать.

Внешне капитан был спокоен, но внутри весь кипел. Сам постучался к Кате, однако ответ услышал не сразу.

— Кто там?

— Капитан. Неотложное дело.

— Я собиралась сегодня полежать.

— Я вынужден войти, сударыня. Прошу нас извинить.

Как это принято на судах, каюты «Полярной лилии» изнутри не запирались. Петерсен повернул ручку и сделал инспектору знак войти.

От крепкого запаха табака и духов у вошедших запершило в горле. Дым был так густ, что они не сразу увидели девушку, растянувшуюся в пижаме на койке.

Волосы у нее были растрепаны, кожа влажная, лицо усталое, верхняя пуговица пижамы расстегнута. Она инстинктивно отодвинулась к переборке, пытаясь натянуть на себя простыню, на которой лежала, но не смогла ее вытащить.

— На борту совершена крупная кража и...

— И вы подозреваете меня в...

— Я никого не подозреваю. Но как инспектор полиции обязан обыскать весь пароход.

Она вызывающе и зло расхохоталась и спрыгнула с койки, не думая больше, приличный ли у нее вид.

— Ну что ж, ищите. Вот не предполагала, что у норвежцев принято...

Уже второй раз в разговоре затрагивают национальность. Вринс тоже бросил что-то очень похожее и с такой же оскорбительной интонацией.

— Мне выйти? Хотите порыться в моей постели?

Лихорадочными движениями она сорвала простыни и одеяло, смахнула на пол немецкий роман, который, видимо, только что начала читать.

Петерсена поразило, насколько изменилось ее поведение. До сих пор, если не считать вечера, когда она была

пьяна, Катя сохраняла самообладание, никогда не терялась и не давала повода в чем-нибудь ее заподозрить.

А теперь она неумело маскирует негодованием подлинную панику. Язвит, мечется, еле удерживается от брани. Снимая чемодан с сетки, уронила его, и вещи разлетелись по каюте.

— Мое белье. Полагаю, вас оно тоже интересует?

Она была не одета, не напудрена, не накрашена, кожа у нее блестела от пота, и это, естественно, усугубляло ее замешательство.

— Что еще вам угодно посмотреть? Кстати, почему бы мне не спрятать деньги под пижамой? Снять ее?

Она растегнулась.

— Убедились теперь, капитан? Минутку! Вы забыли мою шляпную картонку.

Инспектор, покрасневший до ушей, лишь неуклюже отмахивался.

Однако Петерсен, стоявший в дверях, оставался мрачен и невозмутим. Он вспомнил фразу Крулля: «Не лезьте вы в это».

Он, кажется, начинал понимать его. Разве Катя Шторм не столь же чужда и непонятна для него, как лапландка из Финмарка, несущая детей на спине через тундру?

Госпожа Петерсен была старшей дочерью протестантского пастора. Капитан ухаживал за нею целый год. Их свидания происходили в саду при деревянной, выкрашенной в зеленый цвет церкви, и влюбленные вечно были окружены младшими детьми, самому маленькому из которых было всего шесть лет.

Она играла на органе, Петерсен аккомпанировал на скрипке. И в нем не оставалось даже воспоминаний о портах, где он побывал, и грубых сценах, очевидцем которых нередко становился, не пытаясь вдуматься в происходящее.

У его второго помощника была невеста, у старшего механика — восемь детей.

Летом, когда пароход заполняли туристы, в салоне гремел патефон и по всем углам шел флирт, ему тоже случалось проводить ночь в чужой каюте.

Но уже на утро все забывалось. Он старался изгладить из памяти чужое лицо. И привозил своим малышам лапландские игрушки из Тромсё.

Приключения такого рода научили его одному: бывают

чрезмерно нервные, пожалуй, даже опасные женщины, которые не способны спокойно жить в удобных, уютных коттеджах. Кое-кто из них так смущал его, что ему не терпелось прервать свидание и вернуться к себе на мостик.

Катя наверняка из той же породы. И Петерсен упорно вглядывался в нее, не сомневаясь: в конце концов он разберется.

Все в каюте его шокировало — и запах, и расстегнутая пижама. Подметил он и другие детали: бутылку зеленого шартреза, скомканные окурки, белье, какое его жене и не снилось.

На мгновение он представил себе здесь Вринса в ту ночь, когда парочка укрылась в каюте.

— Ничего! — сконфуженно пробормотал полицейский.

— Неужели кончено? Значит, я не воровка? А матрас вспороть вы не считаете нужным?

Горло у нее перехватило так, что, казалось, ей легче разрыдаться, чем выдавить членораздельное слово. Выпрямившись, уперев руки в бока, она не двинулась с места, пока мужчины не вышли.

И лишь когда дверь вновь захлопнулась от яростного толчка изнутри, Петерсен вспомнил, что забыл извиниться.

— К Вринсу!

— Вы ее подозреваете? — спросил инспектор.

Его замешательство, красные уши, бегающие глаза ясно доказывали, что он тоже растерян, что этот визит, в известном смысле, выбил и его из колеи.

Это было словно вылазка в другой мир, в область неизведанных волнений и чувств.

Кто-то из матросов надраивал медные ручки и накладки на дверях офицерских кают.

— Третий помощник у себя?

— Нет, я его не видел.

Петерсен толкнул дверь. Первым, что бросилось ему в глаза, была висевшая над койкой большая черно-белая фотография Делфзейлского учебного корабля, ют которого заполняла толпа воспитанников в парадной форме и светлых перчатках; самые юные лихо вскарабкались даже на рей.

На столе норвежский справочник «Огни и знаки», еще раскрытый на главе о буюх и сигналах.

— Обыскивать? — вздохнул полицейский.

Спутник его устало пожал плечами.

— Действуйте!

В чемодане лежали белье с большими красными метками, выданное еще в училище, и другая фотография, снятая на выпускном балу: бумажные гирлянды, хлопушки, конфетти, молодые крепкие голландки вперемешку с молодыми людьми в форменных тужурках.

Вринс в гофрированном бумажном колпаке держался в стороне, словно стесняясь своего смешного наряда; вспышка магния заставила его зажмуриться.

Йеннингс вытащил из саквояжа три словаря, достал батистовый носовой платочек, от которого пахло духами Кати, и увидел под тетрадью толстую пачку кредиток.

Петерсен заметил ее одновременно с инспектором. Оба переглянулись.

— Пересчитайте! — выдавил капитан внезапно охрипшим голосом.

Целых две минуты слышалось только шуршание почти квадратных билетов по тысяче крон.

— Сорок.

— Точно?

— Пересчитал дважды.

Раздались шаги. В дверном проеме выросла фигура Вринса.

Вид у него был такой же обиженный, как на фотографии с выпускного бала. Он взглянул на капитана, потом на Йеннингса и, наконец, увидел деньги.

Преобразился он с ошеломляющей быстротой. Его и так уже усталое лицо заострилось, плечи поникли, как у больного.

Он не сказал ни слова. Опустил руки и, не отводя глаз от сорока тысяч крон, словно окаменел.

8. СОДЕРЖИМОЕ КАТИНОЙ СУМОЧКИ

Не дожидаясь вопросов, Вринс рухнул на край койки, загроможденной открытым чемоданом.

— Будьте добры объяснить, откуда у вас эти деньги, — потребовал капитан голосом, в котором, незаметно для самого Петерсена, звучало нечто похожее на нежность.

Молодой человек беспомощно пожал плечами. Его невидящий взгляд не отрывался от линолеума.

— Я не крал.

— Выходит, кто-то попросил вас спрятать деньги у себя?

— Я знать не знал, что они там. Сегодня в семь утра их еще не было.

Вринс говорил монотонно, даже не пытаясь убедить собеседников. Вытянуть из него удалось одно:

— Я не крал. Ничего не знаю.

Не успели капитан с Йеннингсом выйти, как за дверью раздались душераздирающие рыдания, настоящий вопль отчаяния. Взволнованный инспектор растерянно взглянул на Петерсена.

— Вы считаете, он...

— Ничего я не считаю! — неожиданно запальчиво оборвал его спутник.

— Не хватает десяти тысяч крон.

— И, кроме того, двух тысяч марок Шутрингера.

Капитан ускорил шаг. В коридоре еще звучал гонг, и Белл Эвйен усаживался на свое место в столовой. Шутрингер, как раз входивший в нее, первым заметил пачку в руках Петерсена.

— Мои деньги! — вскрикнул он, делая несколько быстрых шагов вперед.

— Их у меня нет. Пока что мы разыскивали только сорок тысяч крон, принадлежащих господину Эвйену.

— Сорок? — переспросил тот, считая кредитки.

— Надеюсь, инспектор Йеннингс скоро вернет владельцам и остальное.

— Кому могло прийти в голову...

— Прошу больше ни о чем меня не спрашивать.

— Извините, — с упрямым видом вмешался Шутрингер. — Меня несомненно обокрал тот, кто обокрал и этого господина. Следовательно, я вправе знать...

— Стюард, подавайте! Фрекен Шторм не выходила?

— Не видел.

— Не звонила?

— Нет, капитан.

— Не спрячете ли эти деньги в свой сейф до конца рейса? — попросил Белл Эвйен, которого сильно затрудняла толстая пачка.

Немец в очках заворчал:

— Мне следовало сделать то же сразу по прибытии на пароход... Веселенькая история получится в Киркенесе, если...

Дальше Петерсен слушать не стал. Он вернулся к себе в каюту, открыл нескораемый ящик, и тут два раза прогудел гудок. Капитан схватил кожанку, на ходу бросив стюарду:

— Завтрак мне подадите позже.

Это был Свольвер, куда в феврале на ловлю трески стягиваются со всей Норвегии тысячи три-четыре рыбацких баркасов, построенных из ели.

Лес мачт. Острый запах смолы. Городок, насчитывающий обычно не больше двух тысяч жителей, забит санями, кишит людьми в мехах и зюйдвестках. Повсюду осыпающиеся кучи уже засоленной трески, которую перекидывают лопатами.

В центре порта — черный сейнер, окруженный тучей неугомонных баркасов. Прямо с них на него перегружают рыбу, которая в тот же вечер, без выгрузки на сушу, пойдет в Олесунн.

Петерсен пожимал руки, выслушивая новости и цифры, а инспектор, стараясь держаться как можно незаметней, дежурил у трапа.

Накануне погибло три баркаса — унесло в Мальштрём¹. Зато меньше чем за месяц выловлено сорок пять миллионов штук трески.

Капитан слушал вполуха. Взгляд его скользил по знакомому пейзажу и знакомым лицам: деревянные домики, выкрашенные в блеклые по преимуществу тона; крутые заснеженные улицы; мальчишки, ловко проскальзывающие на лыжах между санями, ящиками, бочонками.

У того же причала, где пришвартовалась «Полярная лилия», стояло несколько пароходиков тонн по пятьдесят — сто водоизмещением; на каждом была аспидная доска с названием поселка Лофотенов, который обслуживается судном. Со всех пароходиков Петерсена окликали, и он силился сохранить на губах улыбку.

Он видел Эвйена и немца, сидевших друг против друга в ресторане. На краю свайного причала стоял лапландец в пестром наряде и четырехугольной шапке и, казалось, восторженно созерцал царившее вокруг оживление, а вдали, за проливом, угадывались белые горы, с которых он сюда спустился.

Все было ярко, весело, всюду кипела жизнь, но без сует-

¹ Водоворот в районе Лофотенских островов.

ливости, с той нордической степенностью, которая неизменно восхищала Петерсена.

Стараясь вжиться в эту успокоительную атмосферу, он представлял себе, как еще потная после теплой постели, полуодетая Катя стоит в своей пропахшей духами каюте. И тут у него внезапно мелькнула одна мысль.

Вдоль «Полярной линии» шел баркас, в котором два человека, по колено в треске, точными движениями отрубали рыбакам головы, вырывали печень, бросали в чан, рассекали тушки пополам, а хребты и внутренности выкидывали за борт.

Петерсен взглядом следил за ними, но воспринимал их вряд ли четче, чем зрители — театральный задник; зато он мысленно видел перед собой каждую линию Катиной фигуры.

«У нее в каюте не было денег!»

Он перебрал в уме все движения Йеннингса. Припомнил тонкое белье, в особенности черные шелковые рубашки, так поразившие его.

Но денег там не было! Бумажника — тоже!

Он восстановил в памяти детали первого обыска в туманном Ставангере. Нет, ни намек на кредитки!

Инспектор стоял, привалясь спиной к трапу, по которому гуськом двигались грузчики.

Затем Петерсен увидел Крулля. Тот все еще не побрился, лицо его заросло рыжей щетиной. Капитану показалось, что угольщик наблюдает за ним, и он отвернулся.

— Первый колокол! — приказал он второму помощнику за десять минут до отхода.

— Скажите, капитан, правда ли то, что рассказывают? Вринс?..

— Ничего не знаю.

— А на вахту он выйдет?

— Не выйдет — ты заменишь.

Временами по небу как бы пролетало облако золотой пыли, освещало паруса, сверкающую корму, черепичную колоколенку и тут же сменялось серыми, отяжелевшими от снега тучами.

Лапландец, поколебавшись, поднялся на «Полярную лилию» и взял билет третьего класса до Хаммерфеста. Но в каюту пройти отказался и уселся на кабестан, где три часа спустя Петерсен увидел его в той же позе.

— Второй колокол!

Грузовые стрелы подобрали по-походному, люки пустеющих трюмов задраили.

Несмотря на густой запах рыбы, висевший над портом и городом, капитан все еще ощущал аромат Катиной каюты.

— Вринс на мостике?

Да, третий помощник стоял на вахте. Поднимешь голову — и вот он наверху, в углу мостика, застывший, немисливо напряженный. Не человек — африканский идол!

Все, должно быть, кружилось у него перед глазами, звуки смешивались в сплошную какофонию; тем не менее по знаку лощмана он подошел к трубе и трижды потянул за ручку пронзительно взревевшего гудка.

За кормой кипела вода. Баркасы разбегались, как перепуганные овцы. Перед носом металась чайки.

— Будете завтракать, капитан?

Это блондин-стюард в белой куртке. Как всегда робко улыбается.

— Попозже.

Петерсен никак не мог оторвать глаз от порта. Судно шло мимо фабрики — всего лет десять назад здесь перерабатывали китовое мясо, а теперь производят только рыбий жир.

Затем «Полярная лилия» круто легла на другой галс, и перед ней открылось бледно-зеленое море, окаймленное сверкавшими на солнце снежными горами.

Это был апофеоз, и насладиться им следовало безотлагательно: золотой свет уже слабел, и над водой как завеса раскидывалась пепельно-серая туча.

Через три минуты горы стали всего лишь бледными айсбергами.

Петерсен молча прошел мимо полицейского и, встретив в коридоре Эвйена, задержавшегося после завтрака, сделал вид, что ему нужно зайти к себе в каюту.

Как только путь оказался свободен, он снова вышел, постоял секунду у двери Кати Шторм, нервно щелкнул пальцами и, не постучавшись, открыл каюту.

После его утреннего визита там ничего не изменилось, все так же было жарко и пахло духами. Простыня свисала до полу, и окурочок прожог в ней круглую коричневую дырочку.

Ни слова, ни жеста. Немка в пижаме, босая, непричесанная, сидела на койке спиной к переборке и глядела на незваного гостя глазами, которые словно помутнели от расплывшейся на ресницах туши.

Капитан закрыл дверь и, споткнувшись о чемодан, перешагнул через него.

— Я пришел задать вам один вопрос, — сказал он.

Она слушала с полным безразличием. Возбуждение, владевшее ею утром, улеглось. Былые нервозность и кокетство исчезли, в уголках губ пролегли горькие складки.

Петерсен старался говорить ласково. Более того, ему хотелось дать ей понять, что его появление здесь без инспектора полиции продиктовано совсем не враждебностью.

В нем происходило нечто противоположное тому, что он испытывал совсем недавно. Он все еще был во власти открывшейся перед ним картины оживленного порта, и образ девушки лишь накладывался на это воспоминание.

— Скажите, сколько денег было у вас с собой при отходе из Гамбурга?

Она улыбнулась безнадежно и в то же время саркастически. Но этот сарказм был обращен не на собеседника, а на себя самое, вернее, на судьбу.

— Эти деньги должны быть при вас, — поспешно добавил Петерсен. — Вы не могли истратить их на пароходе: расчеты производятся после рейса.

— Значит, со мной их не произведут.

Она не двинулась с места, только подняла руку. Ее сумочка из крокодиловой кожи с маркой одного из лучших галантерейных магазинов Лондона лежала в багажной сетке над головой.

Катя потянула за ручку, и сумочка упала на койку.

— Возьмите и сосчитайте. Только сперва передайте мне мои папиросы.

Капитан не шевельнулся. Тогда пассажирка сама раскрыла сумочку, протянула Петерсену, щелкнула зажигалкой из чеканного золота.

— Это все, что у меня есть. Как! Вы не решаетесь?

Она прищурилась: папиросный дым ел ей глаза. Достала из сумочки носовой платок — точно такой же, какой нашли в чемодане Вринса, резную металлическую коробочку с губной помадой, пудрой, тушью для ресниц и потряхнула на койку тонкую пачечку кредиток.

— Считайте... Десять марок. Пятьдесят бельгийских

франков. Три французских бумажки по десять франков... Да, забыла! Два с половиной голландских флорина.

Она смахнула на пол пустую сумочку, еще теснее прижалась к переборке и повторила:

— Это все.

Если в голосе ее и слышалось возбуждение, то приглушенное. Лицо у нее стало совсем обыкновенным и мало чем отличалось от лиц, знакомых Петерсену.

Однажды его шестнадцатилетняя соседка, с которой он гулял в горах, споткнулась о корень ели и вывихнула себе ногу. Она была кокетлива. Еще за минуту до падения подшучивала над ним. Она не заплакала. Даже продолжала улыбаться. Но лицо у нее стало жалкое, растерянное, пошло пятнами, губы беспомощно задрожали.

Сейчас Катя чем-то напоминала капитану эту молодую норвежку; в свою очередь девушка безусловно почувствовала, что он смотрит на нее новыми глазами: недаром она так неожиданно и незаметно запахла пижаму.

— Так вот, мне нечем рассчитаться даже за шампанское, которым я вас угощала. У меня было ровно на билет — шестьсот марок, если не ошибаюсь. Все, что оставалось сверх этого, я спустила в последнюю ночь в Гамбурге.

— С Вринсом в «Кристале»?

Разговаривать Петерсену было бы удобней сидя. Но сесть он мог только на край койки, то есть слишком близко к девушке. Пол был загроможден вещами и, чтобы не наступить на них, Петерсену пришлось стоять, широко расставив ноги.

— Что вы собирались делать в Киркенесе?

Она не ответила, лишь с сожалением поглядела на него и пожала плечами.

— Оставьте меня! Что вам за прок от этих разговоров? Передайте мне лучше сумочку.

Она достала из нее зеркальце и с иронией оглядела себя. Схватила губную помаду, но тут же отшвырнула.

— Есть у вас родные?

— Какое это имеет значение? В Киркенесе вы просто сдадите меня в полицию за неоплаченное шампанское и вино, которое я пила за столом. А стюард не получит чаевых.

Заплачь она, рви на себе волосы — и тогда Петерсен не почувствовал бы в ней большего отчаяния, большей подавленности.

— Вы завтракали? — спросил он только затем, чтобы не молчать.

— Нет.

Ногти на ногах — она касалась ими капитана — были такие же розовые и ухоженные, как на руках.

— Вам известно, что часть похищенных денег найдена в каюте третьего помощника?

— У Вринса?

Наконец-то вскинулась и она. Не глядя, отшвырнула папиросу.

— Что вы сказали? Это невозможно! Неужели вам не понятно, что этого не может быть?

Девушка попробовала приподняться, но в слишком тесной каюте ей некуда было поставить ноги и пришлось встать коленями на койку.

— Послушайте, капитан. Даю вам слово, что...

Тут руки ее опустились, она смолкла, устало понурилась, и Петерсен заметил, что кожа у нее на лбу покраснела: простудный прыщик.

— Уходите! Вы не поверите мне, даже если я... И все-таки это нужно как-то уладить.

— Вы были на улице Делаамбр в Париже?

Она не вздрогнула, словно ждала этого вопроса. Лишь опять пожала плечами и повторила:

— Уходите.

Потом неожиданно спохватилась:

— Где Вринс?

— Стоит вахту на мостике.

— Оставьте меня. Я должна...

Она встала на чемодан. Сняла с вешалки платье.

— Вам, кажется, угодно оставаться здесь?

Катя приняла решение — это чувствовалось. Она неожиданно сбросила с себя пижамную куртку и натянула платье.

Не найдя повода, которым он мог бы объяснить свой уход, Петерсен молча отступил. В ресторане прибор его все еще стоял на столе, у дверей ждал стюард.

— Завтракать будете, капитан?

Однако Петерсен поднялся в салон, где Эвйен беспокойно расхаживал взад-вперед, а Шутрингер опять играл в шахматы сам с собой, что не помешало ему поднять голову и осведомиться:

— Нашлись мои две тысячи марок?

— Пока что нет.

— Не понимаю одного, — куда делись десять тысяч крон и золотые монеты, — начал Белл Эвйен, видимо долго размышлявший об этом. — Вору незачем было делить деньги на две неравные части. Это имело бы смысл только в случае, если бы мы куда-нибудь заходили.

— Вор принял все меры предосторожности! — проворчал Шутрингер. Он сделал ход черным слонем, подпер подбородок рукой и обдумывал положение. — И теперь, когда у него есть...

Петерсен увидел тень, мелькнувшую за иллюминаторами, и, хотя не узнал проходящего, у него сложилось твердое убеждение, что это Петер Круль.

— Каково мнение инспектора? — продолжал Эвйен. — Вы не находите, капитан, что наш полицейский — человек неглупый. Он напоминает мне... Как бы это сказать?..

— Обыкновенного полицейского, — снова вставил немец в очках.

И проведя языком по губам — так они пересохли у него от напряжения, — он передвинул ладью на три клетки и пробормотал себе под нос:

— Шах и мат!

Спускался вечер. Теперь только горы излучали свет, да и тот был какой-то неестественный. Серые тона постепенно темнели, и волны, сливавшиеся на горизонте с небом, были совсем уж чернильного цвета.

Когда капитан вышел и направился к трапу на мостик, оттуда спускался Круль с прилипшим к губе окурком. Встреча с капитаном явно не привела его в восторг.

— Зачем лазил наверх?

— Подышать — я сейчас свободен.

— Ты что, читать не умеешь?

И Петерсен указал на объявление, запрещающее посторонним вход на мостик.

— Это первый пароход, где...

— С кем говорил?

— Ни с кем. Все молчат, как треска.

У капитана появилось неприятное ощущение, что собеседник старается прочесть его мысли. Это было ему тем более неприятно, что в них сейчас царил сумбур.

— Убирайся! — процедил он и пошел вверх по трапу.

Лоцман, стоявший у компаса, указал Петерсену рукой на запад и объявил:

— Ночью похолодает. Если так пойдет и дальше, в Киркенесской бухте придется пробиваться сквозь лед, как в середине зимы.

На ветру лицо Вринса совсем побелело. Крылья мостика с двух сторон забраны стеклами, чтобы служить укрытием вахтенному, но молодой человек остался на не защищенной ничем середине, хотя жестоко мерз в своем тонком реглане. Он не повернул головы, услышав лоцмана. Губы у него посинели, руки без перчаток вцепились в поручни.

— Что я приказал? — рявкнул Петерсен.

Вринс остолбенело взглянул на него, напрягая память:

— Я приказал вам, заступая на вахту, брать теплое пальто у кого-нибудь из коллег. И перчатки!

— Есть, капитан.

Вринс не шелохнулся.

— Сколько оборотов?

— Сто десять.

— Сколько сажень под килем?

— Восемьдесят.

Этого мальчишку со впалой, слегка вздымающейся грудью и синевой под глазами хотелось отхлестать по физиономии или оставить без сладкого — столько немислимо ребяческого было в том, с каким отчаянным усилием воли он стискивал челюсти, чтобы выглядеть как можно более лихо в новенькой форме с золотыми, еще не потускневшими нашивками.

9. ПЛЕМЯННИК ШТЕРНБЕРГА

Сумерки наступали быстрее чем обычно. Было всего три часа дня, а уже пришлось включить свет.

— Пусть задраивают люки — так спокойней, — распорядился капитан.

Он все еще стоял на мостике, украдкой наблюдая за Вринсом, когда увидел инспектора Йеннингса с листком бумаги в руке. Вид у полицейского был взволнованный.

— Простите. Нам нужно поговорить — не здесь, конечно. Судовой экспедитор только сейчас вручил мне эту телеграмму, хотя валялась она у него с часу дня.

Вринс, который, несомненно, услышал полицейского,

не обернулся и не вздрогнул. Капитан зашел в штурманскую рубку и углубился в чтение.

«СТАВАНГЕР ПОЛИЦИЯ ИНСПЕКТОРУ ЙЕННИНГСУ БОРТУ «ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ»

ПАРИЖСКАЯ СЮРТЕ¹ УВЕДОМЛЯЕТ УБИЙЦА МАРИ БАРОН УСТАНОВЛЕН ЗПТ РУДОЛЬФ ЗИЛЬБЕРМАН ИНЖЕНЕР ДЮССЕЛЬДОРФА ПЛЕМЯННИК СОВЕТНИКА ШТЕРНБЕРГА ТЧК СВЯЗЬ ОБОИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НЕСОМНЕННА ТЧК ВЕРОЯТНО ЗИЛЬБЕРМАН ЧУЖИМ ИМЕНЕМ ОТБЫЛ «ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ» ГАМБУРГА ТЧК ПОИСКИ РЕЙДЕ СТАВАНГЕРА БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫ ТЧК УСИЛЬТЕ НАБЛЮДЕНИЕ СУДНОМ ЗПТ ДЕЛО ПОЛУЧИЛО БОЛЬШУЮ ОГЛАСКУ ГЕРМАНИИ»

— Что вы на это скажете?

Телеграмма совершенно сбила Йеннингса с толку.

— Вы полагаете, убийца до сих пор прячется в трюме?

Петерсен перечитал сообщение и выглянул из рубки: «Полярную лилию» неожиданно качнуло так сильно, что он забеспокоился.

— Нет, здесь Эриксена нет. Во-первых, пароход дважды обыскали, причем один раз силами бергенской полиции и со всей возможной тщательностью. Во-вторых, трюмы почти разгружены и не могут больше служить убежищем. В-третьих, Эриксена видели на борту только Катя Шторм и Вринс.

— А вы сами?

— За два часа до отхода я со спины видел человека в сером пальто, и третий помощник сказал мне, что это Эриксен. Но у того было достаточно времени покинуть «Полярную лилию».

— Зачем? Проезд он оплатил, багаж его был на борту...

— Вот именно — зачем? И таких «зачем» немало.

— Докуда он взял билет?

— До Ставангера.

Капитан снова подошел к двери и хмуро спросил лоцмана:

— Люки задраены?

Тот указал ему на горизонте подозрительно светлое серо-аквамариновое пятнышко.

— Но вы ведь проверили их паспорта, — продолжал Петерсен, вернувшись назад.

Инспектор тоже забеспокоился — нет, он, конечно, не предвидел шторм, но усиливающаяся качка рождала в нем смутную тревогу.

¹ Французская сыскная полиция.

— Вопрос о паспортах лучше не поднимать, — возразил он. — Отличить фальшивый от подлинного почти невозможно. Во всех больших городах, особенно портовых, вроде Гамбурга, существуют лавочки, где вас снабдят любыми удостоверениями личности, подчас даже подлинными: их либо крадут у владельцев, либо при помощи тайных связей добывают в официальных учреждениях.

— Значит Зильберманом...

— Может оказаться кто угодно: Эриксен, Вринс, Эвйен, Шутрингер, Петер Крулль.

— Эвйена исключите: я знаю его восемь лет.

— Остаются четверо.

— Долой Эриксена: даю голову на отсечение, его никогда не существовало.

— Для чего тогда Катя Шторм и ваш третий помощник упорно пытаются внушить, что он здесь, на пароходе?

— А для чего мешок из-под угля? — в тон ему подхватил Петерсен. — А кража? А почему в саквояже Вринса, который мог бы приискать хоть сотню тайников понадежней, найдено только сорок тысяч?

Первый вал взметнулся над форштевнем и разбился о бак. Тем не менее инспектор попытался изобразить улыбку.

— Надеюсь, это не шторм?

— Еще нет.

— Что же вы посоветуете делать?

— Не взглянуть ли вам на пожитки Петера Крулля?

— Это в самом низу?

— Да. Его койка слева от машинного отделения. Старший механик вас проводит.

Температура падала с такой удручающей быстротой, что, выйдя из рубки, капитан дважды обмотал шарфом шею.

Перегнувшись через поручни, он разглядел четырех матросов, забиравших люки под брезент. Но было уже поздно. Пароход обогнул какой-то островок, и ветер внезапно навалился на него прямо с траверза. «Полярная лилия» сильно рыскнула, и, сломав крепежные рымы, тяжелый комнатный ледник, который не успели дополнительно принаготовить, покатился по палубе на левый борт.

Одного из матросов чуть не задавило. На мгновение все опешили, а тут судно легло на правый борт, и махина размером два на два метра, сделанная из

тяжелых дубовых досок да еще выложенная изнутри свинцом, угрожающе поползла в обратном направлении.

Петерсен кубарем скатился с мостика, схватил трос и вместе с четырьмя матросами бросился в погоню за ледником. Когда им уже почти удалось остановить его, он вдруг вырвался, налетел на ванту, перевалился через борт и исчез в волнах.

Авария прошла бы незамеченной, если бы с носа не донесся отчаянный вопль.

Лопнув от удара, ванта щелкнула, как бич, хлестнула лапландца, все еще сидевшего на кабестане, и сломала ему лопатку.

Несчастный не заметил аварии и, не понимая, что случилось, совершенно обезумел.

— В каюту его! Живо!.. Позовите Эвйена.

В Киркенесе нет врача, и Беллу Эвйену частенько случалось оказывать первую помощь пострадавшим рабочим.

Судно шло по узкому проливу между двумя островами. Волна была низкая, но в нескольких кабельтовых простиралось открытое море, где вздымались головокружительно высокие валы.

К Петерсену бежал старший помощник, проснувшийся от грохота на палубе.

— Займитесь раненым... Я на мостик.

Вринс не шелохнулся. Прижавшись спиной к крашенной эмалью штурманской рубке, он смотрел вперед. Фуражку с него сдуло, белокурые волосы упали на лоб.

Он щурился, чтобы его не слепила ледяная пыль, которую нес с собой ветер.

— Что же это творится? — проворчал капитан, глядя на компас.

Снова одно к одному, как в Гамбурге! Сперва ледник, потом лапландец.

Мало того! Лампочка подсветки компасной картушки вдруг начала меркнуть. Нить ее стала красноватой, потом коричневой и, наконец, потухла.

Петерсен посмотрел вниз и убедился, что такая же история — со всеми лампами. Ореол света, обычно окружавший паропровод, исчез.

— Малый ход! Шестьдесят оборотов, пока не выяснится...

Выяснилось скоро. В рубку влетел старший помощник.

— Аккумуляторы сели. Видимо, где-то закоротило.

— А динамо?

— Стармех уже там, но говорит — неисправны.

Петерсен спустился в салон, где стюард зажег обе подвесные масляные лампы.

В темном углу одиноко сидела Катя. Она обхватила голову руками и не поднимала глаз.

— Где лапландец? — спросил капитан у стюарда.

— В первой каюте по правому борту. С ним господин Эвйен.

Петерсен отправился туда и еще метров за двадцать услышал вопли. Эвйен, закатав рукава, умелыми, как у хирурга, движениями длинных белых пальцев ощупывал плечо пострадавшего.

— Что-нибудь серьезное?

— Перелом лопатки. Могу сделать одно — шинировать спину с помощью доски. Придется отправить в больницу. Когда будем в Тромсё?

— К полуночи.

— У вас нет морфия?

Петерсен вздрогнул, не сразу сообразив — почему, подозрительно взглянул на Эвйена и обозлился на себя за то, что невольно сопоставил его с убийцей Мари Барон.

Никогда еще атмосфера на пароходе не была такой тревожной. Масляные лампы тускло освещали коридоры. В каютах горели только свечи.

Голый по пояс лапландец, пестрая одежда которого валялась на полу, истошно вопил, являя собой тем более удручающее зрелище, что при каждом крене беднягу швыряло на переборку и лицо его искажалось от боли.

Порядка ради капитану следовало бы дойти до машинного отделения и разобраться, что с динамо. Но его не оставляла мысль о том, что на мостике лишь Вринс и лоцман. Думал он сейчас обо всем сразу.

«Только бы Йеннингс не сорвался с трапа и не угодил под мотыли...»

Где Шутрингер? Он что-то его не приметил.

На своем ли посту Круль?

Надо же! Все это в минуту, когда дело начало проясняться или уж когда, на худой конец, он добыл первые конкретные факты!

Второй помощник вызвал его на мостик.

— Мы не удержимся на шестидесяти оборотах. Нас сносит.

— Иду.

Петерсен так и не позавтракал. Проходя мимо своей каюты, он прихватил с собой сапоги на деревянной подошве, потому что предчувствовал: непогода — надолго.

— Где Шутрингер? — окликнул он спешившего мимо стюарда.

— Только что стоял с кем-то на палубе.

— С кем? С угольщиком?

— Может быть. Я не обратил внимания.

Тем хуже! Нельзя одновременно заниматься и своим парходом, и убийцей.

— Держать восемьдесят оборотов! Нет, сто! — командовал он. — Где мы сейчас?

— Вот-вот Лёдингенский маяк увидим.

Ветер стал настолько сильным, что Петерсен по примеру Вринса и лоцмана привалился спиной к рубке. При каждом крене всех троих отрывало от стенки и, качнув, через секунду снова швыряло на крашеное железо.

«Рудольф Зильберман. Убийца Мари Барон. Племянник и убийца советника фон Штернберга...»

Капитан в двадцатый, наверно, раз украдкой взглянул на Вринса. Этот ведь тоже мог быть Зильберманом: никто в Гамбурге раньше его не видел.

Молодой человек спешит из Делфзейла, чтобы занять пост третьего помощника на «Полярной лилии». Доехать до места назначения ему не дают. Зильберман выдает себя за него и является на пароход.

— Нет! — неожиданно проворчал капитан себе под нос, вспомнив фотографию учебного корабля.

И однако из всех, кто может оказаться Зильберманом, Вринс внушает наибольшие подозрения!

Во-первых, он любовник Кати. А Катю ведь тоже можно заподозрить в том, что она участница трагической оргии на улице Делабр.

И зачем они вдвоем придумали мифического Эриксена? Сперва он у них разгуливал по «Полярной лилии», затем в Ставангере исчез — в виде мешка с углем.

У Кати ни гроша, а на борту кража! И основная часть украденного найдена у ее любовника!

— Огонь, капитан.

— Четверть румба вправо... Китовый мыс лучше обойти мористей.

Петерсен силился поймать нить своих мыслей и злился на себя, что не может сосредоточиться.

Все трое буравили глазами тьму, высматривая в ней буи.

Идти приходилось почти наугад. Вдоль побережья, от которого «Полярная лилия» не удалялась больше чем на две мили, тянется цепь островков и подводных камней, разделенных узкими проливами, где, кипя, сталкиваются противоположные течения.

Задача состояла в том, чтобы вовремя заметить мигание зеленых, красных, белых буев.

Три человека порою по полчаса не разжимали губ. Потом кто-нибудь указывал рукой в пространство, остальные сразу же обнаруживали слабый свет, и тогда наконец произносилось название:

— Стокмаркнес... Суртланн...

«Если Вринс — это Зильберман...» — вновь принимался за свое Петерсен, хмурил лоб, перечеркнутый глубокими морщинами, и восстанавливал в памяти события, пытаясь объяснить их с новой позиции.

Несмотря на подозрение, его нисколько не раздражало общество молодого человека, хотя из-за качки Вринс порой прижимался плечом к капитану.

«Если это Петер Круль...

Но зачем тогда Круль раскрыл трюк с мешком из-под угольных брикетов?.. А вдруг он соврал? Вдруг некий Эриксен или тот, кто выдал себя за него, действительно прыгнул в Ставангере за борт?

Тела его не нашли, но это в портах обычное дело. Трупы зацепляются под водой за старый трос или якорь; иногда отлив уносит их в открытое море».

— Капитан!

Оторванный от раздумий Петерсен вздрогнул и увидел стюарда. Тот осторожно пробирался по палубе, напуганный скачками судна и особенно зрелищем белых от пены волн, которые, словно ожив, неслись с сумасшедшей скоростью вдоль бортов «Полярной лилии».

— Инспектор...

— Где он?

— У себя в каюте. Заболел. Хочет немедленно говорить с вами.

Капитан проверил курс, посмотрел на лоцмана, Вринса и рулевого, казавшегося бледной тенью в

полумраке застекленной рубки. Потом спустился по трапу, отметив про себя, что Катя по-прежнему сидит на том же месте в углу салона и что стекло одной из ламп уже закоптилось.

Нет, это невыносимо! И атмосфера какая-то кошмарная, и вид у всех какой-то необычный, настороженный!

Что она там делает? Плачет? Потешается над всем и вся? Или у нее тоже морская болезнь?

Никогда еще на «Полярной лилии» не было так мрачно и тревожно. Даже комнатный ледник и тот давеча прыгал по палубе с подлинным коварством!

В девяноста девяти случаях из ста лопнувшая ванта никого не задевает. И надо же было, чтобы, несмотря на холод, ветер и брызги, которые, едва коснувшись палубы, тут же превращаются в лед, лапландец уселся именно на кабанстан!

А ведь бедняге ничего не втолкуешь — он по-норвежски ни в зуб ногой. Знай себе бросает вокруг злобные взгляды, словно тут его нарочно искалечили.

Нет, все началось еще в Гамбурге, когда лопнул трос, Вринс вернулся вдребезги пьяным и «Полярная лилия» чуть не пустила моторку ко дну.

«Ну, что теперь?»

Петерсен распахнул дверь в каюту инспектора и застал его согнутым над картонным бачком, который выдается пассажирам на случай морской болезни.

От свечи остался лишь огарок сантиметра в три, не больше. Он освещал искаженное лицо, слезящиеся глаза, скривившийся рот.

— Ох, когда же меня наконец вырвет!.. Ужасный, наверно, шторм?

— Покамест ничего особенного.

— Вы считаете, что...

— Вы меня звали?

— Да. Погодите минутку — никак не устроиться. Ложусь — еще хуже. Неужели от этого нет никакого лекарства? Минутку, капитан... Я спустился вниз. Чуть не убится на этих ваших железных лестницах. Обыскал вещевой мешок Крулля. И вот что нашел... — Йеннингс указал на несколько золотых монет, лежавших на столике рядом с мокрым полотенцем. — Господин Эвйен их опознал. Это его монеты.

— Круль вас видел?

— Его не было: кажется, пошел на палубу подышать. В Тромсё надо проследить, чтобы он не удрал. Не знаю, буду ли в состоянии... Видите!

На секунду он, разинув рот, опять склонился над бачком; грудь его несколько раз конвульсивно дернулась.

— Вот, видите... Не могу. И голова кружится... Что это?

Инспектор насторожился и привстал. На палубе что-то загрохотало.

— Волна.

Петерсен тоже встревожился: он понимал, что эта волна задела мостик.

— Лежите.

— Нет... Я...

Петерсен решил повременить с возвращением наверх и торопливо добрался до машинного отделения, где стармех все еще возился с динамо.

— Наладили?

— Пока не придем в порт, ничего не получится.

— Круль на месте?

Стармех повернулся к топке и повторил вопрос. Кочегар на минуту высунул черное лицо из приоткрытой железной дверцы и разразился проклятьями.

Круль вот уже два часа болтается невесть где, а тут только успевай давление поддерживать! Второму угольщику в одиночку не сдюжить. Кочегар требовал еще одного человека, хоть какого, лишь бы уголь перекидывал.

— Он не у себя в койке?

— Нигде его нет.

— Сейчас пришлю одного из матросов.

В машинном отделении было не менее жутко, чем наверху: при масляных лампах людям приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не угодить под мотыли.

Выходя на палубу, изнервничавшийся Петерсен витиевато выругался, словно от грубой брани ему могло стать легче.

Он перехватил пробежавшего мимо матроса.

— Марш в угольную яму — там помочь надо.

— Но мне же...

— Живо!

Сейчас не до споров. Наклонившись, капитан различил во мраке красный буй — подводные камни Рисутюхамма. А тут еще появился Белл Эвйен. Он тоже едва

стоял на ногах. Кончик носа у него был желтоватый и блестел — верный признак морской болезни.

— На минутку, капитан. Небольшое происшествие. Как я вам уже говорил, пострадавшему пришлось ввести морфий: боль была невыносимая. Стюард принес мне аптечку, которую я оставил в каюте...

— Отравился?

Петерсен был готов к чему угодно, даже к самым немыслимым неприятностям. Уж раз пошло одно к одному...

— Нет. Там была коробка с шестью ампулами морфия. Так вот, она исчезла. Не нашел я и шприца.

— Кто входил в каюту?

— Это знает только лапландец. А он не понимает, что ему толкуют. Внушил себе, что его хотят убить, и забивается в угол койки, как только к нему подойдешь.

— Стюард ничего не видел?

— Говорит, был на мостике.

— Ладно.

Петерсен тяжело поднялся по трапу и добрался до лоцмана с Вринсом насквозь промокший: на полпути его со спины накрыла волна.

Он молча втиснулся между обоими и привалился спиной к переборке, с какой-то странной иронией проводив глазами волну, набежавшую с борта и такую высокую, что она порвала найтовы одной из шлюпок под трубой.

К полуночи капитан совсем закоченел, рот его зло кривился, но он упорно оставался на месте, высматривая буи.

Не курил он уже три часа — для этого пришлось бы вытащить руки из карманов, распахнуть пальто, зайти в рулевую рубку, чтобы чиркнуть спичкой.

С вант свисали форменные сталактиты, а на грузовой стреле и баке от постоянно накатывающихся волн образовался целый айсберг, круглый, голубоватый, сверкающий и похожий на чудовищную медузу.

10. ТРОМСЕ

— Вринс!

Голландец неторопливо повернулся, хотя оклик капитана после многочасового молчания явился для него полной неожиданностью.

— Петера Крулля нигде нет. Наверно, сбежал в Свольвере?

Петерсен испытующе посмотрел в лицо молодому человеку, и ему тут же стало стыдно — так оно осунулось от усталости, тревоги и, особенно, печали, хотя в нем, может быть, впервые появилось нечто зрелое, подлинно мужское.

Капитан собирался вырвать у него неожиданное признание, какую-нибудь фразу, которая выдала бы его, но сразу сообразил: это не к месту и не ко времени. Справа от Петерсена закутанный в шубу лоцман вытягивал шею, вглядываясь в темноту: они сегодня видели столько сигнальных огней, что будет чудо, если буи не начнут мерещиться там, где их нет.

Рулевой в своей рубке — и тот был на пределе: он судорожно вцепился в медное колесо и не отрывал глаз от компаса. Каждые десять секунд «Полярную лилию» встряхивало так, что трещали все шпангоуты и людям приходилось напрягаться, чтобы устоять на ногах.

Три волны, одна за другой, взлетели до самого верха красной с белым трубы, и третья, сорвав спасательную шлюпку, которая держалась теперь лишь на шлюпталях, унесла ее в кипящую бездну.

— Капитан!

Лоцман явно напрягал все свое внимание.

— Разбираете, что нам сигналят?

И он указал на мигающие огни, которые Петерсен разглядел не сразу.

— Как! Уже Тромсё? — удивился он.

— Да, Тромсё. Но ручаюсь: нам приказывают не заходить в порт. Разве не видите?.. Минутку — опять начали. Три белых.... Один красный... Один белый...

— Два белых! — глухим голосом поправил Вринс.

— А потом?.. Ну, видите?

Капитан шагнул вперед, обеими руками схватился за поручни и все же пошатнулся под водопадом ударивших в лицо брызг.

— Стоп машина! — скомандовал он. — Не уверен, но...

Световые сигналы с берега непрерывно повторяли одно и то же.

— Надо ответить... Пари держу, наши сигнальные фонари не готовы.

Петерсен тут же пожалел о своих словах. Вринс был уже в рулевой рубке и сам зажигал фонари.

— Посигнальте: вас понял, — бросил капитан и, обращаясь к подошедшему лоцману, пояснил: — Передают, чтобы мы оставались на внешнем рейде. В порт не войти: затонувший нынче вечером траулер загородил фарватер.

Он взялся за ручку машинного телеграфа:

— Средний вперед!

И снова ни огонька. Потом из тьмы выступило расплывчатое пятно света, и гудок «Полярной лилии» трижды издал долгий рев.

Тромсё лежало слева, за поясом скал, прохода между которыми еле-еле хватало для судна среднего тоннажа. На молах вокруг затонувшего траулера несомненно велись работы — оттуда доносился скрип подъемного крана. Течение сносило пароход на подводные камни. Пришлось маневрировать: двигаться вперед, останавливаться, давать задний ход, снова останавливаться; несмотря на это, «Полярную лилию» по-прежнему сносило, и всякий раз стоило больших трудов вернуть ее на кûрс.

Прибежал второй помощник.

— К нам идет катер с почтой, — объявил ему Петерсен. — Готовьте штормтрап. Лапландца спускать как можно осторожнее.

Он был даже доволен новым происшествием: в Тромсё его все знали, местный агент компании был не дурак выпить и капитану пришлось бы со многими здороваться и разговаривать, чего ему сейчас никак не хотелось.

Во мраке затарахтел мотор катера, но лишь спустя несколько минут его белый сигнальный фонарь скользнул под бортом «Полярной лилии», от кормы к носу. Началась серия нудных маневров: «Вперед!.. Стоп!.. Задний ход!.. Малый вперед!»

Раз десять катер оказывался в нескольких сантиметрах от трапа, раз десять его отбрасывало волной.

Наконец его удалось пришвартовать. На палубу вынырнули двое в дождевиках. Петерсен встретил их, пожал руки.

— Что там у вас случилось?

— Новенький траулер с отличным дизелем, в первый раз шедший на лов трески к югу от Шпицбергена. Лоцмана, ясное дело, не взяли, на борту никто здешние воды не



знает. Немцы полагаются только на свои карты. Это их не спасло: пошли ко дну прямо на фарватере.

— Кто-нибудь погиб?

— Юнга лет пятнадцати: при толчке свалился в воду. Наши спорят, не взорвать ли траулер динамитом.

Экспедитор принес мешки с почтой. Три матроса со всеми предосторожностями вынесли лапландца на палубу. Бедняга, которому невозможно было что-нибудь объяснить, иступленно отбивался, издавая нечеловеческие вопли.

— Этого в больницу. И немедленно...

Спустить лапландца на катер оказалось еще трудней. Он так вырывался из рук, что в конце концов свалился с двухметровой высоты, стукнулся головой о планширь и потерял сознание.

— А знаете, ваших бортовых огней в кабельтове — и то не видно.

— Знаю, — пробурчал Петерсен.

— Будьте осторожны! Из Киркенеса идут два английских рудовоза. Должны быть здесь еще ночью.

— Ладно.

Капитану не терпелось поскорее все закончить: «Полярная лилия» находилась в опасной близости от города, огни которого уже проступали сквозь ледяной туман. Опять налетел снеговой заряд; снежная крупа крошечными иглами колола кожу, проникала в обувь и под одежду.

Петерсен ни на секунду не переставал наблюдать за суетой у катера. Как только отдали швартовы, он пересчитал людей на суденышке и дал сигнал отправления.

Маневром руководил с мостика Вринс, и капитан внимательно прислушивался: он испытывал известное беспокойство. Но винт стучал без перебоев. Едва катер отвалил, пароход повернул на полрумба вправо, и телеграф передал в машину: «Восемьдесят оборотов!» Потом — «Сто двадцать!».

А ведь мальчишка наверху бледен сейчас как мел, пальцы его стискивают ручку телеграфа, глаза сверлят темноту, где видны только беловатые гребни ближайших волн.

Петерсен не сразу поднялся наверх — сперва зашел в ресторан, где на одной из банкетов растянулся землистосерый стюард.

— Что? Нехорошо?

— Вы же знаете, я всегда так: слабую качку выдерживаю, но такую!..

— Кого-нибудь видел?

— Позвонил господин Эвйен: потребовал минеральной воды.

— Худо?

— Есть малость. Но все-таки держится. Собирался лечь.

— Как остальные?

— Не знаю. Инспектор только что пытался выйти, но тут же вернулся. Раскис почище, чем я.

Стекло на лампе разлетелось, фитиль едва тлел. Капитан посмотрел на тускло освещенный коридор и неожиданно направился к каюте Арнольда Шутрингера. Собрался было постучать, но пожал плечами и распахнул дверь.

Немец, сняв очки, без которых глаза у него приобретали нормальные размеры, сидел на краю койки; лоб у него был в испарине.

Капитан с первого взгляда понял, что пассажиру пришлось прибегнуть к бачку из промасленного картона — тот еще стоял посреди каюты.

— В котором часу будем в Тромсё? Что за маневр сейчас выполняли?

— Тромсё мы прошли.

— Что вы сказали?

Немец рывком вскочил на ноги, и лицо его сделалось почти угрожающим — так он был возмущен.

— Прошли Тромсё? Без захода?

Свеча еле теплилась. Тем не менее Петерсен разглядел на шишковатом лбу Шутрингера капли пота.

— Вчера вечером на фарватере затонул траулер.

— Ну и что?

— Почту доставили нам прямо на борт. Груз сдадим на обратном пути.

Шутрингер впервые утратил хладнокровие; было видно, что он разъярен.

— Интересно, имеет ли компания право... — заворчал он.

— Вы хотели сойти в Тромсё?

— Нет, просто дать телеграмму.

— Почему же не предупредили заранее? С почты прислали бы кого-нибудь. Вы, видимо, собирались затребовать из Германии перевод?

Молодой человек промолчал.

— В таком случае могу заверить, что ваши деньги вскоре будут найдены. Мы уже разыскали золотые монеты в матрасе угольщика Крулля. Сам он скрывается где-то на судне.

— Благодарю! — сухо бросил Шутрингер и потянулся к дверной ручке с явным намерением закрыть каюту.

Петерсен шел, опустив голову и вздрагивая всякий раз, когда пароход бросало особенно сильно. Будь у него свободные люди, он приказал бы любой ценой найти Петера Крулля: в нем сидела уверенность, что после отхода из Свольвера угольщик все еще оставался на борту.

Он медленно поднялся по трапу в салон и различил в темноте чье-то лицо.

— Капитан!

Голос был Катин — и пока что неуверенный. Петерсен молча стоял на пороге.

— Послушайте, мне надо видеть Вринса. Хотя бы на минуту. Он на мостике?

Капитан по-прежнему не отвечал.

— Умоляю вас! — настаивала девушка. — Клянусь, он не виноват! Все это должно, наконец, разъясниться. Мы что, ушли из Тромсё?

— Мы в него и не заходили.

Она вскочила и бросилась к нему. Эффектное зрелище! Черное платье сливается с темнотой, лицо искажено непривычным освещением.

Петерсен заметил, что прыщ на лбу пассажирки побагровел, пересохшие губы потрескались. Да у нее жар!

— Нет, это невозможно! Отвечайте же, почему без захода? Когда следующая стоянка?

— Завтра вечером в Хаммерфесте.

Катя вцепилась в него, и он почувствовал, что ее бьет дрожь.

— Но тогда...

Девушка провела рукою по лбу, болезненно поморщилась и умоляюще простонала:

— Кто остался на борту?

— Все, кто был. Вернее, исчез только один — некий Петер Крулля.

Петерсен не сводил с нее глаз. Ноги у него подрагивали от нетерпения: с минуты на минуту его могут вызвать наверх. Место капитана — на мостике. Разглядят

ли Вринс с лоцманом Шервёйский буй, один из тех, что видны хуже всего?

В то же время он сознавал всю исключительность момента. Собеседница на пределе. Страх и шторм сложили в ней последнюю волю к сопротивлению.

Но не дай ему бог произнести хоть одно неосторожное слово! Она еще способна напрячься, обрести бывшее присутствие духа.

С Петерсена капала вода — на нем было мокро все: и кожанка, и большие сапоги, в которых ноги его казались живыми колоннами.

— Я могу передать Вринсу ваше поручение. Из-за найденных у него денег он фактически под арестом. А в Хаммерфесте будет передан...

— Нет! Нет! — вне себя вскрикнула Катя. — Замолчите! Дайте мне сказать! Вернее...

Она озиралась вокруг, словно ища, за что ухватиться.

— Во-первых, его привлекут к ответственности за кражу. Во-вторых, он обязан будет доказать, что не имеет ничего общего с неким Рудольфом Зильберманом.

Девушка отступила на шаг и неприязненно посмотрела ему в глаза.

— Вы о ком?

— Об убийце Мари Барон, убийце и племяннике советника фон Штернберга. О Рудольфе Зильбермане, инженере из Дюссельдорфа, едущем на «Полярной лилии» под чужим именем.

Катя села. И — странно! — стала так спокойна, что капитан даже испугался.

Она сидела в двух метрах от него, опершись локтем на стол, где еще стояла пустая бутылка, и, опустив голову на руку, смотрела себе под ноги.

— Что вам еще известно?

Она отбросила упавшие на лицо волосы, машинально поискала рукой сумочку, чтобы достать папиросу. Но сумочка, видимо, осталась в каюте.

В этот момент пароход так качнуло, что Катя упала бы вместе со стулом, если бы не успела уцепиться за стол. Петерсену и тому пришлось схватиться за дверной наличник.

Заревел гудок. Капитану не терпелось вернуться на мостик. Перед глазами у него неотступно стоял черный океан, в котором он должен разглядеть Шервёйский буй.

«Еще минуту», — мысленно дал он себе срок и продолжал:

— Зильберман в сопровождении какой-то женщины бежал в Гамбург, где сел на «Полярную лилию», совершив буквально чудеса, чтобы сбить полицию со следа. Придумал даже мифического пассажира.

Девушка нервно рассмеялась.

— Ну, дальше!

— От самого Гамбурга он ловчит, стараясь все запутать. Его спутница постоянно ему помогает. Он убил Штернберга. А теперь, чувствуя, что его обложили со всех сторон, попытается, вероятно...

— Перестаньте!

От недавнего спокойствия Кати ничего не осталось. Она раздирала ногтями голубоватый носовой платочек.

— Дайте мне поговорить с Вринсом, капитан. А еще лучше... Нет, бесполезно. *Теперь* все бесполезно.

— Зильберман ваш любовник, так ведь?

— Перестаньте! И уходите.

— Отвечайте.

— Да нет же! Ничего вы не поняли. Идите.

— Кто же он?

Девушка была так издергана, что малейшее прикосновение — и она подскочила бы на стуле. Ее потрескавшиеся губы судорожно подергивались.

— Зачем все это? Слишком поздно!

— Вы можете предотвратить новое преступление!

— Умоляю, оставьте меня. Пощадите! Клянусь вам, не могу... Скажите Вринсу... И поверьте: он не виноват ни в чем, в краже — тем более. Скажите ему, что... — она подбирала слова, затравленно озираясь, — что все кончено и он может...

— Что?

— Ничего. Ничего я не знаю. Разве вы не видите, что я на пределе, что у меня... Уходите! Тем хуже!..

И, повалившись пластом на банкетку, Катя обхватила голову руками и неудержимо разрыдалась.

Гудок ревел с необъяснимой настойчивостью.

Глядя на фигурку Кати в черном, на ее белокурые волосы, Петерсен все еще колебался. Задерживаться он больше не мог, он охотно оставил бы здесь кого-нибудь вместо себя, например Эвйена, — пассажирка не на шутку его тревожила.

Однако спускаться в каюты было уже некогда.

Он поднялся на мостик, и по пути его дважды накрыло волной. У рулевой рубки Вринс, не дожидаясь вопросов, задыхающимся голосом выдавил:

— Слышите? Вон там...

Голландец указал рукой в пространство.

— Шум машины... Явно один из рудовозов... Дважды ответил, потом замолчал.

Пальцы его впились в ручку гудка. Оба судна тонули в таком вихре снега, что если бы на них и обнаружили встречные огни, все равно было бы слишком поздно.

— Шестьдесят оборотов! Сорок! — скомандовал Петерсен.

Даже лоцман, ходивший на этой линии тридцать лет, и тот больше не скрывал беспокойства.

— Эти англичане плюют на все правила... Да где же они, наконец!

Если бы не шторм, англичане слышали бы его слова, потому что в ту же секунду меньше чем в тридцати метрах от судна проскользнул красный огонь. С «Полярной лилии» различили туз пик на белой трубе и ярко освещенный ют.

Не обращая внимания на воду, струившуюся по одежде, Вринс с вымученной улыбкой утер лоб мокрым платком, словно пот досаждал ему больше, чем ледяные брызги.

Петерсен, стоявший вплотную к нему, не столько слышал, сколько угадал подавленный всхлип. Этот звук затронул лучшее, что было в капитане, — его морскую душу, и он все понял.

Мальчишка в первом рейсе! И больше четверти часа провел один на мостике, напрягая нервы и высматривая во мраке это чудовище — рудовоз, идущий двадцать узлов!

Красный огонь пронесся мимо, как метеор.

Сейчас у Вринса ноги словно ватные. И его задним числом колотит от страха — это-то Петерсен знал наверняка.

Тихий всхлип...

Молодой человек сунул платок в карман, прислонился к штурманской рубке и опять уставился в темноту, высматривая сигнальные огни.

— Вринс...

Капитан тут же пожалел, что окликнул голландца: он представил себе недоверчиво повернутое к нему лицо, издерганное, бледное от усталости.

Ему так хочется сказать парню что-нибудь ласковое! Нет, успокоительное.

Он, Петерсен, еще не все разгадал. Но уже смутно представляет себе, какую роль сыграл его третий помощник.

— Слушаю, капитан, — хрипло отозвался тот.

— Гудок каждые тридцать секунд! Нас предупреждали о двух рудовозах; значит, остался еще один, — устало закончил Петерсен.

В таких материях он чересчур неловок, и это сдерживает его.

Легко ли, да еще в теперешних обстоятельства, взять и сказать мальчику:

«А знаете, я вам верю».

Особенно когда чувствуешь, что вот-вот добавишь:

«Извините, что я был так суров, но...»

Нет, в море, когда пальто на тебе набухло, а ноги застыли, гораздо проще выдавить:

— Гудок каждые тридцать секунд!

Гудок ревел так, что чуть не лопались барабанные перепонки.

11. НОЧЬ В ГАМБУРГЕ

Было восемь утра и в первом сером свете уже проступали белые очертания гор, когда шторм начал утихать. Ветер заметно слабел, хотя волна была еще высокая и Атлантика покрыта длинными полосами белой пены.

«Полярная лилия» легла наконец на другой галс, вошла в защищенный скалами пролив, и, хотя ванты еще гудели от ветра, наступил, казалось, полный штиль.

Нервы, мускулы, кости — все было словно измолото. У трех мужчин на мостике покалывало глаза, тупо ныло в затылке, ломило поясницу.

Первым делом капитан вытащил из кармана трубку, встряхнул из нее кристаллики снега, набил табаком.

— Второй помощник выспался, сейчас он нас сменит, — подбодрил Петерсен Вринса, который, решив дер-

жаться до конца, напрягал последние силы, чтобы не свалиться от усталости.

— Есть, капитан.

Петерсен посмотрел на компас, счетчик оборотов, оглядел выплывший из мрака совершенно обледенелый пароход.

— Капитан... — начал Вринс, отводя глаза в сторону.

Он безусловно чувствовал, что взгляд у Петерсена сердечный, ободряющий, и словно стеснялся этого.

— Правда, что Круль сбежал с парохода в Свольвере?

— Не думаю. Он прячется где-то на борту. Сейчас я прикажу его разыскать.

И, внезапно положив коллеге руку на плечо, капитан спросил:

— Он ее любовник? Муж?

Вринс опустил голову, потом поднял и с беспокойством посмотрел на Петерсена.

— Брат, — тихо вымолвил он наконец. — Она — девушка.

— Пошли!

Капитан потащил его вниз по трапу, распахнул салон, и обоим мужчинам предстала картина, от которой им сделалось неловко.

Одна из масляных ламп все еще горела, желтым пятном выделяясь в серой утренней полумгле. Бутылка с минеральной водой упала и разбилась. А на одной из банкетов спала Катя. Если бы не чуть слышное дыхание, ее можно было бы принять за мертвую.

В лице, посуровевшем от усталости, не осталось и намека на прежнюю веселость. Волосы прилипли к влажным вискам. Правая рука свесилась на пол.

Даже во сне ее черты выражали страдание и тревогу. Губы сложились в горькую гримасу — обычный признак морской болезни.

Вринс отвернулся. Петерсену пришлось увести помощника к себе в каюту, где шторм тоже похозяйничал, в частности опрокинул бутылку чернил и те разлились по линолеуму.

Капитан позвонил.

— Садитесь.

Он чувствовал, что голландец еще пытается сопротивляться, но попытки эти становились все слабей, и

когда Вринс опустился на койку, у него вырвался усталый вздох.

В дверь постучался стюард. Он натягивал на ходу свежую куртку, и шевелюра его хранила следы мокрого гребешка.

— Передайте старшему помощнику: любой ценой взять Крулля.

Когда дверь закрылась, капитан бросил Вринсу:

— Это конец, верно? Он сообразил, что его обложили. Думаю, он хотел сбежать с «Полярной лилии» в Тромсё, но нас выручил случай — стоянку пришлось отменить. Его сестра это поняла.

Петерсен протянул кiset, молодой человек непроизвольно отозвался:

— У меня нет трубки. Курю только папиросы.

Из иллюминатора струился холодный свет, в котором лицо голландца выглядело еще более измученным.

— Теперь можете говорить все, Вринс. Я знаю, вы не убивали и уж подавно не крали денег у Эвйена и Шутрингера. Однако при создавшемся положении я сразу же по приходе в порт буду вынужден передать вас полиции. Убийца держался до конца, но все-таки проиграл. Его приведут с минуты на минуту.

Петерсен сел напротив молодого человека, из трубки его поплыла тонкая струйка дыма.

— Вы познакомились с ней в Гамбурге? Раньше не встречались?

— Скажите, ее тоже арестуют? Разве попытка спасти брата — преступление?

У обоих перед глазами неотступно стояла новая Катя, лишенная всякой кокетливости, более того, женственности и буквально раздавленная случившимся.

— Я люблю ее! — объявил Вринс и заморгал ресницами.

— Все произошло в «Кристале»?

— Нет. Я только что сошел с поезда. Было уже темно. Порта я не знаю, поэтому отправился в гостиницу. Катю увидел не сразу. Ночной портье оказался голландцем, стал меня расспрашивать — сперва, чтобы заполнить на меня карточку, потом из любопытства. Мы разговорились. Я сказал, что должен явиться на корабль, куда назначен третьим помощником. Только под конец я заметил, что она сидит в холле и слушает. Она попро-

сила прикурить... — Вринс смолк и безнадежно махнул рукой. — Вам не понять...

На этот раз капитан улыбнулся с нескрываемой нежностью.

— Вы познакомились, ушли вдвоем?..

— Она — не такая, как все. Не знаю, как вам объяснить...

Петерсену и не нужны были объяснения. Мальчик вырывается из училища и разом попадает в кильватер такой женщины! Как тут не потерять голову!

— О чем она вас попросила?

— Сначала уступить мое место ее брату. Он явится на пароход под моим именем. Призналась, что с ним в Париже стряслась беда. Он пристрастился к наркотикам... Остальное вы знаете... Во время одного из сборищ погибла девушка. Он бежал: сперва в Брюссель, где друг снабдил его деньгами; затем в Гамбург. Но я не мог — вы же понимаете. В общем, ушел, чтобы не видеть ее больше, не поддаться соблазну...

— Тогда она отправилась на «Полярную лилию» как пассажирка?

— Да. Брата ее я не видел, хотя предполагал, что он на судне. Когда исчез Эриксен, я понял, что это его работа.

— Сама объяснила?

— Она призналась мне, что это хитрость, придуманная им на случай, если в последнюю минуту на него поступит материал из Парижа, — тогда с помощью своей уловки он подведет под подозрение несуществующее лицо. Утром один его приятель, надев серое пальто, взял до Ставангера билет на имя Эриксена, оставил в каюте кое-какой багаж и скрылся.

— А Штернберг?

Вринс стиснул голову руками.

— Не знаю. Она тоже не поверила, что советника убил ее брат. Уговорила меня устроить так, чтобы все решили, что Эриксен бросился в воду. Понимаете — зачем? Чтобы следствие не успели начать на борту... Мешок угольными брикетами набил я: я ведь тоже хотел бежать с нею... Я вам не говорил, что они отправились в Кирккнес с одной целью — уйти в Финляндию?

Больше из Вринса не надо было вытягивать ответы: у него самого появилась потребность выговориться.

— Тогда я еще не знал, что мне делать. Клянусь, капитан, вам меня не понять. Бывали минуты, когда я думал, что готов вас убить: я предчувствовал, что в конце концов вы догадаетесь.

— Она вам не сказала, какое имя взял себе ее брат?

— Нет. Но не из недоверия — скорее из деликатности. Я стал следить за всеми: Эвйеном, Шутрингером, особенно Петером Круллем — я часто видел, как он шатается по палубе. Я знал: деньги кончились и у сестры, и у брата. А когда произошла кража, сообразил...

Я предвидел, что до Киркенеса им не дотянуть. План у обоих был схожий. Катя призналась, что брат в одиночку попытается удрать в Свольвере или Тромсё. Для этого нужно, чтобы заподозрили другого. Например, меня. — Вринс занервничал и поднялся. — Я должен видеть ее, капитан. Катя не виновна, клянусь в этом памятью матери. Она только пыталась спасти брата, верно? Например, когда устроила свой день рождения. Это была неправда. Катя встревожилась, потому что выяснила: в самоубийство, может быть, даже в существование Эриксена больше не верят. Она придумала отвлекающий маневр, но он не имел успеха. Это было ужасно.

— Ваша мать умерла, Вринс?

— Да, на Яве.

— И вы единственный ребенок. У вашего отца нет никого, кроме вас. Я видел его фотографию среди ваших вещей...

Не закончив фразу, Петерсен подтолкнул помощника к двери.

— Не лучше ли вам пойти поспать, пока мы покончим со всем этим?

— Нет, не хочу.

— Тогда дайте слово, что будете мужчиной. Вы же носите форму! Сегодня ночью...

— Что сегодня ночью?

— Я был доволен вами. Вы сделали честь моему училищу.

У Вринса невольно мелькнула слабая улыбка, которую он попытался спрятать, повернув голову.

— Теперь нужно и впредь держаться так же. Идемте.

На мгновение Петерсену показалось, что под дверью кто-то подслушивает. Но, распахнув ее, он увидел только Шутрингера, расхаживавшего взад-вперед по дальне-

му концу коридора, причем увидел со спины: немец упорно смотрел в другую сторону. Когда капитан с Вринсом вышли на палубу, раздался крик:

— Вон в той шлюпке! В той!

Мимо пробежал старший помощник. Все глаза следили за ним. Он взлетел на мостик, обогнул трубу.

Из четырех спасательных шлюпок осталось только три. Едва старпом остановился, брезент на одной из них приподнялся и из-под него вылез угольщик.

— Ваша взяла, — вздохнул он.

Петерсен посмотрел на напрягшееся лицо Вринса. Старпом, чуть стесняясь, приказал:

— Спускайтесь! Руки из карманов!

Тем, кто стоял внизу, почудилось, что Крулль беззвучно усмешается.

— Мы еще не в Хаммерфесте? — поинтересовался он.

Никто не ответил. Из какой-то двери робко высунулась голова стюарда.

— Инспектор поднялся?

— Только что вышел из каюты. Попросил пить.

Тут же действительно появился Йеннингс и первым делом ликующе объявил:

— Меня вырвало, капитан!

Он весь сиял, хотя был еще несколько бледен. Потом заметил Крулля, спускавшегося по трапу в сопровождении второго помощника и одного из матросов.

— Его взяли? Что же нам...

Инспектор не осмелился договорить:

«Что же нам с ним делать?»

Но взглянул на Петерсена с некоторой растерянностью.

Улыбался только Крулль. Все остальные испытывали одно — болезненную усталость.

Глаза у всех были красные, губы бескровные, никто не успел побриться.

Когда Крулля вели мимо салона, дверь отворилась и на пороге возникла Катя Шторм в помятом платье.

Свет падал не с неба, а от сверкающей снежной горы, почти впритирку к которой шла «Полярная лилия». И свет этот был мертвенный, гнетущий.

Катя, остолбенев, посмотрела на Крулля, нашла глазами Вринса и отвернулась.

— В салон! — поколебавшись, бросил Петерсен.

Угольщика вталкивать не пришлось — он вошел сам, пригладил рукой растрепанные волосы, пощупал бороду, отросшую уже сантиметра на четыре.

— Примите вахту.

Второй помощник кивнул, направился к мостику и исчез, а капитан, впустив в салон инспектора и Вринса, захлопнул за ними дверь.

На мгновение воцарилось замешательство. Петерсен смотрел на Йеннингса, Йеннингс на Петерсена. Кто первый возьмет слово?

Катя отошла в глубь помещения. Затем неожиданно уткнулась лицом в иллюминатор.

— Я арестую вас, Рудольф Зильберман, — объявил полицейский, хотя голосу его недоставало уверенности, тем более что с губ задержанного не сходила улыбка.

В ту же секунду у девушки вырвался подавленный вопль. Вринс кинулся к другому иллюминатору и крикнул:

— Капитан!

В салоне услышали, как по прогулочной палубе бежит матрос.

Петерсен мало что увидел. Он скорее угадал, чем отчетливо различил силуэт человека, перемахнувшего через борт и скрывшегося в волнах.

Он распахнул дверь, наклонился и заметил трижды приподнявшуюся над водой бритую голову, причем в третий раз — уже почти за кормой.

— Стоп машина! — крикнул он вахтенному. — Задний ход!

Второй помощник не понял, знаком попросил повторить, поднес руки к ушам.

Откуда-то раздался голос Крулля:

— Да бросьте вы его!

— Стоп машина!

Пароход остановился так резко, что нос задрался кверху. Но, обшарив с помощью биноклей волны, поднятые «Полярной лилией», моряки не обнаружили ничего, кроме изжелта-белых бурунов.

Все совершилось с такой быстротой, что каждый в отдельности успел увидеть лишь малую долю случившегося.

Люди в тягостном оцепенении смотрели друг на друга. В салон вошел Эвйен, свежесбрившийся, с идеальной складкой на серых брюках, в начищенных до блеска ботинках.

— Что произошло? Почему остановка?

Опершись на поручни мостика, вахтенный ждал команды.

— Вперед! — крикнул наконец Петерсен. — Полный вперед!

Катя не лишилась чувств. Она лишь впиалась обезумевшими глазами в плещущие волны, которые опять побежали вдоль бортов парохода.

— Уведите ее, Вринс. Только без глупостей, ладно?

Петерсен сопровождал свой приказ таким взглядом, что молодой человек попробовал сказать что-то признательное, но не нашел слов и просто посмотрел, но выражение его глаз было не менее красноречиво.

Капитан снял, вернее, сорвал с себя кожанку: несмотря на семнадцать градусов ниже нуля, он был весь в поту.

— Входите, Эвйен. И закройте дверь.

В салоне, где до сих пор горела масляная лампа, их было всего четверо. Первым заговорил Круль.

— Поняли теперь? — спросил он с оттенком раздражения в голосе.

— Зильберман? — наивно удивился Йеннингс.

— Вы что, не видели, как он прыгнул в воду? Осточертело мне это. Вот и вся правда.

— Молчать! — приказал Петерсен и с решительным видом, четко выговаривая слова, начал: — Вы говорили, что были адвокатом...

— Да, когда-то. Можете проверить это по моему уголовному делу... Я наделал глупостей, но согласитесь — за святого себя не выдаю. Мошенничество, кокаин. Потом катился вниз, пока не пошел ко дну. Тюрьма в Кёльне и Мангейме. Опустившись на известную глубину, уже не выплывешь — не стоит даже пробовать. Точно так же, как вам не стоит пытаться понять... Короче, я не Зильберман, а Круль и нанялся на «Полярную лилию» потому, что остался без пфеннига в кармане. Никакой тайны за этим нет. Только попав на пароход, нет, только после убийства советника, я сообразил: происходит кое-что интересное. Я случайно подобрал французскую газету и прочел об истории с наркотиками. Пока вы ломали себе голову, я сразу обо всем догадался: кто сам балуется «снежком», тот не ошибется. Вы никогда не вглядывались в лицо Шутрингера? Не замечали легкого тика, вот здесь? Напрасно он брил голову, придумывал себе личину, носил очки, в кото-

рых ничего не видел. — Крулль указал на свою челюсть и чуть заметно задвигал ею. — Это подергивание — безошибочный симптом. А так как я три недели в глаза кокаина не видел, мне пришлось деликатно потрясти Шутрингера. У него было двенадцать пакетиков по одному грамму. Я оставил ему два. Вы, кажется, до сих пор не поняли? Да к тому же не умеете допрашивать. С каждым надо говорить на его языке, черт возьми! С наркоманом говорят о наркотиках... Могу вам поручиться: стоило мне намекнуть Шутрингеру на Мари Барон, он сразу стал шелковым. Вы присутствовали при его занятиях гимнастикой и прочем. Так вот, одно это уже доказало мне, что парень темнит. Кто пристрастился к марафету, у того таких привычек не бывает. Шутрингер насиловал себя: притворялся прямой противоположностью тому, чем был на самом деле. Обычная уловка человека, выдающего себя за другого. Мало-помалу я раскусил его. Во-первых, он брат дамочки. Правда, она еще не так отравлена, как он, но в конце концов... Во-вторых, убив дядю, он обезумел от страха. Вот именно, обезумел. Готов на все, лишь бы выпутаться.

Крулля не перебивали. Присутствующим было неловко, особенно Эвйену, чей утонченный облик разительно контрастировал с внешностью босняка.

— Он воспользовался вашим молоденьким помощником, чтобы отвести от себя подозрения. А также для трюка с мешком из-под угля. Смею вас заверить, этот Зильберман был неглупый парень. Один недостаток: слишком еще дорожил своим социальным лицом. Отплыви он в Южную Америку в качестве кочегара или эмигранта — и дело было бы в шляпе. Но для этого нужен период ученичества, долгое скольжение по наклонной плоскости. Выходить на улицу без воротничка — и то надо привыкнуть. Возьмем, к примеру, фокус с приятелем, который покупает билет и тут же исчезает. Это же находка! Допустите, что дядя Штернберг ничего бы не заподозрил и не сел на пароход. Допустите даже, что в Ставангере или Бергене узнали, что на «Полярной лилии» прячется некий Зильберман... Подозрение немедленно пало бы на Эриксона и остальных пассажиров оставили бы в покое. Парень, способный изобрести такой ход, — и тем не менее... Нервы, разумеется! Странная смесь хладнокровия и трусости! Так вот, в Париже, после смерти девчонки, он не оставил никаких следов. Рассчитал, что полиции потребуется известный срок, чтобы

выйти на его друга Файнштайна. Зильберман, видимо, задержался в Брюсселе: у него не было денег. Он раздобыл их столько, чтобы хватило до Гамбурга, где ему предстояло вытряхнуть дядюшку. Но все это отняло время. Достать, например, паспорта, когда ты на мели, — и то... С минуты на минуту из Парижа могла прийти телеграмма, а тут потеряна целая неделя! Это выбило его из колеи и, увидев, что его дядя садится на «Полярную лилию», он свалил дурака. По-моему, Штернберг, прочтя газету и во всем разобравшись, явился на пароход, чтобы вытащить племянничка из переплета, а заодно принять меры, чтобы скандал не повредил ему самому. Нервы! А может быть, и зелье. В таких случаях всегда принимаешь усиленные дозы. Морфий я вытянул у него по-мирному. Я же видел: у парня сдают нервы. Сильнее всего он перепугался, узнав, что трюк с мешком разгадан. Ему опять нужны были деньги. Он их украл и оказался достаточно ловок, чтобы изобразить себя ограбленным, хотя у него не было больше ни кроны. Он хотел во что бы то ни стало добраться до Киркенеса, а покамест любой ценой отвести от себя подозрения. Рассчитывал он, главным образом, на мальчишку, вторгшегося в его сестру. В Свольвере он увидел телеграмму на имя инспектора. И тут страх превратился в панику. Он сам пришел ко мне, решив в Тромсё удрать и предоставить Кате выпутываться, как она сумеет. Но для этого было необходимо, чтобы ему дали сойти с парохода. Вы не очень-то верили в виновность вашего помощника — это было заметно. Значит, Зильберманом могли счесть только Шутрингера или меня. Он предложил мне тысячу крон, если я на сутки оттяну подозрения на себя. Вот она! Чем я рисковал? Небольшим сроком? Я отсидел двадцать месяцев, и ничего со мной не стало, разве что в угольную яму угодил. Я согласился. Спрятал золотые в койку, а сам забрался в одну из шлюпок. Остановись «Полярная лилия» в Тромсё, все сошло бы гладко. Меня бы вы, конечно, взяли, но в конце концов убедились бы, что я не Зильберман. А он с припрятанными деньгами сумел бы найти способ добраться до материка и подыскать себе местечко поспокойней: из Тромсё¹ в Нарвик каждый день есть пароход. Когда я услышал, что стоянки не будет, меня подмывало вылезти на палубу, но потом я решил дать ему последний шанс.

¹ Город Тромсё расположен на острове.

— Неслыханно! — процедил сквозь зубы Эвйен, который со все возрастающим любопытством разглядывал стоящий перед ним редкостный экземпляр людской породы.

— А что тут неслыханного? — отпарировал Крульль. — Верно, для таких, как вы, у кого есть жена, дети и нет пороков, это неслыханно. Но дайте мне два месяца, и вы у меня за одну понюшку черту на рога полезете. Зильберману не повезло. Он потерял меру: морфий — не для девочек. Дальше им уже руководил страх. А страх способен толкнуть человека на что угодно.

Крульль повернулся к иллюминатору, пожал плечами и закончил:

— Теперь он успокоился. А мне идти перекидывать уголь?

12. ЭЛЬЗА ЗИЛЬБЕРМАН

Обстановка весь день была гнетущая. Одного пейзажа и то было довольно, чтобы довести до неврастения. «Полярная лилия» шла узкими проливами, выраставшими один из другого, как ходы в кротовой норе. Небо было такое низкое, что казалось герметической крышкой, опустившейся на головы людям.

Белые горы. Серая или черная — в зависимости от освещения — вода. Изредка вдали — одинокий дом на сваях да еловый баркас на якоре в бухточке.

Иронически откланявшись, Петер Крульль вернулся на свой пост.

Около десяти утра трое мужчин: Петерсен, Йеннингс и Эвйен — заняли места в ресторане под испуганным взглядом стюарда.

Инспектор случайно сел там, где раньше сидел Шутрингер, и двое остальных несколько раз отводили глаза в сторону.

— Сумасшедший! — внезапно взорвался Эвйен. — Не понимаю, как он выдержал такую дозу.

Все пять ампул морфия, похищенные в каюте лапландца, были обнаружены у Шутрингера и оказались пусты.

Перед тем как прыгнуть за борт, он, видимо, проглотил их содержимое, потому что шприц так и не отыскался.

— Как вы поступите с его сестрой? — спросил управляющий у инспектора.

— Не знаю. Придется телеграфировать начальству. Налицо два преступления: то, что произошло на улице Деламбр, — дело французской полиции; а вот убийство Штернберга в международных водах на борту норвежского судна касается только нас. Соучастие Кати в обоих практически не доказано.

Петерсен молчал и ел с аппетитом, поражавшим стюарда.

Конец дня не ознаменовался никакими происшествиями. Эвйен занял прежнее место в салоне, разложил папки, сделал пометки. Встретив капитана, напомнил:

— В Киркенесе вы, как всегда, обедаете у нас. Моя жена будет в восторге... А знаете, инспектор-то оказался даже сообразительней, чем я предполагал. Он нашел в башмаке Крулля четыре тысячи крон. Этот субъект называл нам лишь пятую часть полученной суммы.

И все-таки, особенно с трех до семи вечера, когда, избавившись от морской болезни, инспектор беспробудно спал, на пароходе наблюдалось некоторое оживление.

Несколько раз Вринс выходил из каюты Кати, где заперся с самого утра, и стучался к капитану.

На третий раз Петерсен спросил:

— Вы, надеюсь, не просите больше отставки?

Молодой человек молча покачал головой.

— В таком случае могу выдать вам авансом жалованье за первые три месяца. Ваш оклад — четыреста крон, трехмесячный составит тысячу двести.

— Но это же полностью...

— Идите!

В шесть Петерсен вызвал стюарда.

— Как там инспектор?

— Все еще спит. Просил разбудить по приходе в Хаммерфест. По-моему, пора.

— Сначала принесите мне обед в каюту. Пока не пришвартуемся, Йеннингсу нечего делать.

Судно опять шло во тьме. Но волны почти не было. Подойти к причалу удалось на редкость плавно, без единого толчка.

Не успели завести швартовы на кнехты, как Петерсен выглянул в коридор, вернулся в каюту и налег на еду —

не то чтобы со зверским аппетитом, но с какой-то неестественной основательностью.

Он даже велел подать вина, чего с ним никогда не бывало и что вынудило стюарда потерять без малого четверть часа на поиски ключа от шкафа, где хранилось спиртное.

В конце концов ключ нашелся в кармане у самого капитана. Тот извинился и тут же спросил:

— А фруктов у нас нет?

Докеры выгружали товары, грузили новые.

Наконец Петерсен вытащил из кармана часы:

— Разве Йеннингс не велел его разбудить?

— Да, да. Иду.

Города было не видно, если не считать редких домиков, занесенных снегом до середины окон.

Капитан все еще обедал. Сквозь полуоткрытую дверь он увидел Вринса, вернувшегося с палубы, и на него пахло ледяным воздухом.

В ту же секунду появился Йеннингс, еще заспанный и еле ворочающий языком.

— Не выдержал! — вздохнул он. — Я, кажется, мог бы двое суток подряд проспать. Где мы?

— В Хаммерфесте.

— Давно?

— Добрых минут двадцать.

— На берег никто не сходил?

— Не знаю. Я так проголодался, что велел подать обед в каюту.

Инспектор вышел. Слышно было, как он спует туда и сюда. Через минуту он возвратился.

— Знаете, девушки, Кати Шторм, нигде не видно.

— Серьезно?

— Я беспокоюсь. Она ведь тоже способна броситься в воду. Дам-ка я телеграмму в Ставангер.

Десять часов? Одиннадцать?

Когда стоишь на мостике, а температура восемнадцать — двадцать градусов ниже нуля, течение времени как-то перестает ощущаться.

Они стояли втроем, прислонясь к ходовой рубке: Петерсен посредине; справа лоцман, чудовищно толстый в меховой шубе; слева неподвижный, слишком напряженный Вринс.

Случайность? Как бы то ни было, в момент, когда «Полярная лилия» в очередной раз тяжело перевалилась с боку на бок, рука третьего помощника нащупала руку капитана и нерешительно пожала ее.

— Уехала? — спросил Петерсен сквозь шарф.

— Нашла лапландца с санями и двумя оленями. Но ведь впереди такие горы!..

Голос Вринса звучал глухо от подавленной тоски и тревоги.

— Она не пыталась?.. — начал было капитан.

— Она запретила мне сопровождать ее.

Молчание длилось не то минут пятнадцать, не то целый час. Глаза искали огни буев. Чей-то голос произнес:

— Хоннингсвог.

Первый порт на Ледовитом океане.

Когда лоцман зашел в рулевую рубку — на ветру не прикуришь — Вринс скороговоркой выпалил:

— Знаете, она мне все сказала. У них кончились деньги. Телеграфировать отцу в Берлин они не решились. Вынуждены были остановиться в Брюсселе — там у них друг. В Гамбурге безуспешно стучались во все двери. Потом, отчаявшись, Зильберман пошел к Штернбергу, своему дяде, и наплел какую-то вымышленную историю. Это его и погубило: вскоре советник получил французские газеты. А у него пятнадцатилетняя дочь. Катя, вернее, Эльза — это ее настоящее имя — обожает свою кузину.

Бортовые огни озаряли их своими зелеными и красными лучами — динамо наконец заработали.

Лоцман чиркнул спичкой, и пламя осветило его склоненную голову в меховой шапке.

— Эльза Зильберман, — повторил Вринс и пояснил: — Родители ее матери живут в Финляндии. Она попробует...

Он вытащил папиросу из золотого, знакомого Петерсену портсигара.

— С девятьюстами крон... Вы же понимаете! Даже если они живы, им о ней ничего не известно. Ее отец женился вторым браком на актрисе.

Они стояли плечом к плечу у скользкой холодной рубки. Тяжело ступая, вернулся лоцман и проворчал:

— А гудок?

На этот раз сам капитан поднял руку и потянул за ручку, возвещая о прибытии «Полярной лилии» в

Хоннингсвог, где к причалу уже стягивались сани, груженные треской.

В зеленом свете вырисовывался профиль Вринса с оттопыренной нижней губой.

И тут в голове Петерсена веером развернулась вёреница образов: стройные ноги в черных шелковых чулках, которыми он любовался однажды вечером; увеличенный фотопортрет его жены на переборке в каюте и маленький любительский снимок — его ребятишки в белом; выпуск в Делфзейле и светлые перчатки воспитанников, самые юные из которых взобрались на рей; господин Вринс-отец в колониальном костюме за столом в стиле Людовика XVI.

— Такие, как Катя, не про нас, старина! — пробормотал он.

Но он так и не нашел слов, чтобы выразить ими новый наплыв образов: Шутрингер, делающий гимнастику на палубе; окровавленный труп Штернберга; все тот же Шутрингер, крадущий ампулы, глотающий морфий, вздрагивая от малейшего шороха и с безумными глазами прыгающий за борт; или, наконец, Петер Крулль, который когда-то владел особняком на Якобштрассе, а теперь восемь часов кряду лопатит черный уголь в черной яме.

«Ладно! Зато одним мужчиной стало больше».

И капитан отвернулся, чтобы не видеть ни грустной, чуть вымученной улыбки Вринса, ни его глаз, устремленных к белым, как больничная палата, горам, где тряские сани километр за километром приближались, должно быть, к границе с Финляндией.



СОДЕРЖАНИЕ

Э. Шрайбер.
Сименон вспоминает и рассказывает

5

Я ВСПОМИНАЮ

Повесть. Перевод Э. Шрайбер

17

ПОРТ ТУМАНОВ

Роман. Перевод Е. Кушкина

183

ПАССАЖИР «ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ»

Роман. Перевод Ю. Корнеева

317

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЖОРЖ СИМЕНОН

ПАССАЖИР

«ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ»

Составители

Кушкин Евгений Петрович и Шрайбер Элеонора Лазаревна

Ответственный редактор Е В Туинов
Художественный редактор А В Карпов
Технический редактор Л Б Куприянова
Корректоры Н Н Жукова и Л А Бочкарева

ИБ 7452

Сдано в набор 24 05 84 Подписано к печати 19 12 84 Формат 84×108¹/₃₂ Бумага офсетная №1 Шрифт литературный Печать офсетная Усл печ л 22 68 Усл кр отт 45 8 Уч изд л 23 48 Тираж 75 000 экз Заказ № 691 Цена 1 р 10 коп Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств полиграфии и книжной торговли 191187 Ленинград наб Кутузова 6 Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств полиграфии и книжной торговли 193036 Ленинград 2 я Советская 7



Сименон Ж.

С 37 Пассажир «Полярной лилии»: Романы и повесть/Пер. с франц.; Вступ. ст. Э. Шрайбер; Сост. Е. Кушкин, Э. Шрайбер; Рис. К. Швеца. — Л.: Дет. лит., 1985. — 431 с., ил.

В пер 1 р 10 коп

В сборник входит автобиографическая повесть «Я вспоминаю» и остро сюжетные романы «Порт туманов» и «Пассажир, Полярной лилии» (Библиотека приключений и научной фантастики)

И (Франц)

4803020000—118
С _____ 514—85
М101(03)—85

